

БОРИС ГОРЗЕВ
ЧЕТЫРЕ КНИГИ О СТРАННИКАХ И ИХ ЖЕНЩИНАХ

*Священно число «четыре». Душа есть странствующее число, переходящее из одной оболочки в другую.
(Из заповедей пифагорейства, VI век до н.э.)*

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. Ведьмица

Книга вторая. Армуш и Антанта

Книга третья. Морфозы

Книга четвертая. На горе

*...Тут и происходят события, о которых знают немногие, а верят в них и вовсе единицы. Если они не правы, то гореть им в костре инквизиции.
(«Армуш и Антанта»)*

книга первая
ВЕДЬМИЦА
ЧАСТЬ 1

Этим летом выбрался наконец Кир в Кяндиму.

Давно мечтал, собственно все годы, с тех пор как был там в последний раз, шесть лет тому. Вскоре после той поездки женился, появился сын, а с ним - дача под Москвой, однажды даже вывозил семейство к южному морю, потом еще мотался по всяким, уже не богоугодным делам - и где уж там север!

А не думал, что так сложится. И странно, и хорошо складывалось, а все-таки, пожалуй, не столь ожидажно. Потому и оставил там, в Кяндиме у старика Савкина, свою лодку; действительно, что ж таскать ее туда-сюда всякий раз! А растянулся этот "раз" на шесть лет. Ну да выбрался наконец всё же.

Один поехал, один. Нагрузил продуктами рюкзак, поохал, его примеривая, и так, поохав, осознал опять же, что хоть в Кяндиму, да - с ярмарки. А это значит, после сорока пяти.

Вагон был купейный, мешали мало, большую часть времени Кир пролеживал на своей верхней полке и глядел в окно. Проплыла Волга с Ярославлем, потом Данилов - всё в привычных цветах и оттенках, - а за Вологдой, уже в вечеру, небесный свет будто остановился, облака сначала разбухли, утерев добродушную курчавость и почти заправдашнюю кремовую сладость мороженого торта, а потом и налились, плоско раздутые, лиловатым капризом как предостережением. Еще проехали с час и еще - свет не уходил, закатное зарево так и стояло нетронутое, отчего пошел в цветах разнобой, золотистое мешалось с розовым, лиловым, а то и вовсе серо-черным; всё это набивалось гуще, растягивалось и вновь перемешивалось - под светом, шедшим с северо-запада, наискосок к которому, в этой прелюдии к белой ночи, мчался скорый беломорский поезд. Утром, в холодном молоке тумана, была Вонгуда; там Кир и сошел, чтобы пересесть на местный поезд, до Онеги. Ждал часа полтора; за это время туман стоял, открылось чистое, с голубоватой подсветкой небо, под ним всё было прозрачным, будто

умытым и затем начищенным, и с небольшой возвышенности перед вокзалом, откуда Кир глядел, лесистый горизонт виделся столь далеким и четким, что воскрешал старую сказку о плоской форме Земли. Только тут жил не конец света, а его начало.

От Вонгуды до Онеги еще пара часов. Проехали все три Поста, и вот мелькнул густо-синим залив Беломорья - Онежская губа с портом, белыми лесовозами и лесогрузами, - казалось, выжатая из неведомого тюбика краска и затем растекшаяся каплей среди зелени и рыжеватых скал.

Теперь Кир мыкался со своим огромным рюкзаком по битком набитым автобусам, отчего сразу вспотел, а потом и устал. День выдался жарким, "пазик" еле тащился, петляя сначала по задворкам Онеги, а за ними по растянутому один за другим прибрежным лесопильным поселкам. В раскрытое окно тянуло то морским, то древесным духом; одинокое облако недвижно повисло на полпути к горизонту, и прямо под этим облаком, точно указательным знаком на невидимой проволоке, уже виднелся, когда автобус забирался на очередную береговую возвышенность, островок в дымчатых лесах. Звался он коротко Выг, или полностью Выг-остров, и до него от Кяндимы, от деда Савкина, было два-два с половиной часа плаву... да, что-то около того - по идеально, конечно, спокойной воде и в одиночку... а в прошлые разы Кир шел туда и оттуда вдвоем со старым своим приятелем, и они укладывались в полтора... Берег постоянно округлялся, забирая к северу; островок был центральной точкой пространства, и автобус на берегу двигался вокруг нее, будто связанный с ней нитью.

Так длилось до белого вечера, когда, вынырнув из леска, вкатили в плоскую, сваливающуюся камнями в бесцветную уже воду Кяндиму.

Перво-наперво, лишь сойдя с автобуса, следовало заглянуть в местную контору и отметить у пограничников - тем более что это к дому деда Савкина по пути. Сей ритуал совершался всегда, дабы не рисковать попусту.

Кир навьючил рюкзак и пошел. Толкнул калитку, по мелкой траве обогнул почерневшего дерева дом, в задах которого, отдельным крыльцом, обитали военные. Дверь, однако, оказалась запертой, а на стук не откликнулись. Потом все-таки заскрипели половицы, сбросилась внутри щеколда, и предстал некто, совсем еще молодой, лет двадцати двух-двадцати трех, в майке, армейских брюках и тапках на босу ногу. Аккуратная стрижекка, блондин, а к щекам бритва, верно, еще не прикасалась.

Кир объяснил. Тот пожал плечами, о чем-то поразмыслил, вздохнул, потом молвил "ладно" и пропустил. Ничего не изменилось: две комнатухи - одна служебная, другая жилая.

- А где ж капитан? - поинтересовался Кир, в том числе намекая на свою причастность к данной службе, когда блондин, натянув на себя форменную рубашку с погонами старлея, сел напротив.

- А, бывший! Сменил акваторию. Теперь я тут. С полгода назад... - И спохватился: - Ну а вы-то кто? И откуда? Бывали, что ль, здесь? Давайте посмотрим, что у вас. Документы то есть.

Так Киру была завидна его откровенная молодость с этим напуском строгости, что обошелся он без иронии. Рассказал, предъявил паспорт.

- Москва, значит! - констатировал старлей со вздохом, явно не без сожаленья, что сам не оттуда. - А по профессии кто?

- Шпион.

- Ну, это вторая профессия. А первая?

- Нет, это и первая, и вторая. - Кир протянул удостоверение.

Тот раскрыл, покивал, сказал: "Ишь ты!", потом, все еще изучая, буркнул: "Что-то не помню" - и наконец вернул.

- Ладно, живи! - позволил, неожиданно перейдя на "ты". - А у кого, у кого, как ты сказал?.. У деда Савкина?.. Савкина, говоришь... - И задумался. - Нет, не помню такого. Всех здесь вроде помню, а Савкина - нет.

Пришлось объяснять, где тут дом деда. Старлей слушал, кивал и повторял свое "нет". Потом как отрезал:

- Ладно, посмотрим!.. Ладно-ладно, - вздохнул затем привычно, казалось, подумав о чем-то своем. И вдруг вскинул голову: - И на Выг, небось, пойдешь? Да, самостийное плавание на остров тут не поощрялось, тем более пришлым. Бывший капитан, однако, на подобное закрывал глаза, за что регулярно получал презент. Хотя, может, и наоборот: потому и закрывал, что изначально получал.

- На Выг? Не пойду, пожалуй... Это ж какой воды дожждаться надо!.. Вряд ли.

Старлей кивнул, вздохнув опять же:

- Ну-ну. И не надо, верно... - И вновь уплыл куда-то мыслями, а вернувшись, соорудил, могло бы показаться, не к месту, вопросец: - Так что, у тебя всё?

Кир, бросив на ходу: "Сейчас!", направился к рюкзаку, оставленному в сенцах. Вернулся, протянул:

- Держи!

- Не надо, что вы! - покраснел тот.

- Да что ты то "вы", то "ты"? - И вышло это у Кира добро и строго. - Держи, говорю! Презент. Так уж заведено: сюда и деду. Традиция. Был капитан, теперь - ты. Или не пьешь?

- Пью, - еще более смутился старлей, принимая. - Ну, иногда, - поправился. - Ладно, спасибо тебе.

Он поднялся из-за стола, чтобы проводить, и уже в сенцах вдруг засуетился:

- Так погоди!.. Так давай, что ли, тогда? Вот, пойдём в мою комнату и это, значит... ну, раздавим?.. Или ты... ну, с дороги, то есть устал, конечно?.. Так, значит, ты-то сам как?

Кир понял:

- Нет. Пей без меня. Тут у вас с этим ведь туго?

- Туго, - подтвердил старлей. - Не то слово!

- Ну вот и пей... Это спирт, кстати.

- А! - звякнуло обрадованно. - И сколько?

- Девяносто шесть. Как разводить, знаешь?

- Водой! - сдурил тот.

- Да не чем, а как! Два к трем, понял. А не чайник на чайник.

Тут старлей рассмеялся и принялся рассказывать, как разводили они в военном училище и на чём настаивали. Беседа завязалась профессиональная, но свернула она вдруг в тупик безысходного старлеева одиночества, здесь, в этой задрипанной Кяндиме, вот невезуха, куда закинули, а перед выпуском он, оказалось, женился, по глупости, теперь ясно, потому что жена - девятнадцать всего-то! - с ним сюда из Воронежа не поехала: пообещала, что вскоре, следом, а уж полгода, и не пишет почти... В общем, тоска... и, скорее всего, не приедет она вовсе - ну, какая же, скажи, молодая да красивая приедет сюда, да не на две недели, как вот ты, Кир Николаич, а черт его знает на сколько - может, годков на десяток, как у капитана бывшего тут натикало!

Так они стояли в сенцах, Кир с молодым старлеем, и тот всё говорил, говорил, и то себя ругал, то юную супругу, с которой и медового месяца-то не отлежали, не

успели, а она у него - первая (ну, и он у нее, понятно, - добавил с мальчиковой гордостью, но так, к слову), и ей - что ж? - этих четырех или пяти раз хватило, так что ль?.. а ему-то нет, хоть реви, честное слово, а баб тут молодых, прости, Кир Николаич, днем с огнем, одна есть, да и та ведьмица, а остальные - старухи, за сорок и при мужиках все почти... Ну, и что остается: попивать, когда завоз случается, и курлыкать на эту белую ночь, пропади она пропадом, вот еще несчастье, а уж о зиме тутошней и речи нет, просто выть тянет, ты здесь бывал зимой-то хоть раз, а, Кир Николаич?.. Ты вот тогда, тогда приедь - без спирта забалдеешь и драпанешь в свою столицу!

- А мне, мне драпать-то некуда, - завершил он свой монолог, а Кир сделал вывод, что, слава Богу, пить с ним не пришлось и впредь не следует, поскольку в подпитии речам этим не будет конца. И дальше поймал себя на том, что нет, не жалеет мальчишку. Так уж жизнь сложилась, столько всего выпало в ней Киру, что не жаль ему этого мальчика, нет...

Распрощались ("Ладно, заходи", - вздохнул тот напоследок), и Кир пошел. Но лишь обогнул контору, расслышал шаги сзади и окрик:

- Погоди! Сбрось рюкзак, погоди, я сейчас!

Куда-то старлей поспешил, а минуты через три возник в тишине урчащий звук мотора, и вот перед калиткой, вывернув с другого угла, тормознул маленький военный "уазик".

- Садись, Москва! Я тебя до твоего деда, коль он тут существует, сам докачу.

Кир усмехнулся и, поблагодарив, сел. «Но бди!» - прочел он в прозрачных, как этот белый вечер, глазах старлея...

Поехали - по выбеленной сыпучей дороге с валунами на обочинах, мимо дворов с высокими, нарочито приподнятыми над этой северной землей домами в один или два этажа, хлевами и сараями. Вскоре начался спуск, будто овражек, и в самом его низу, на пересечении с проулком, Кир попросил остановиться. Проулок - шагов в триста, узкий, зажатый разными дворами - шел от дома деда Савкина прямо к морю, и прежде, особенно поздними вечерами, приятно было, встав от дедова стола и подойдя к калитке, глядеть, будто сквозь прицел, сквозь этот проулок на кусочек белесого моря и такое же небо над ним, в дальних далях которого стоял, до утра не исчезая, яркий прощальный росчерк зашедшего солнца. В общем, славный был проулок, и теперь, выбравшись из машины, Кир привычно посмотрел направо, где море, а затем, удовлетворенно кивнув, налево, где дом, и тут остолбенел: не было дома деда Савкина - пустота, словно его и не существовало.

Рядом встал старлей и вдруг протянул высоко:

- А!.. Ну вот сейчас ясно! Ясно, почему я его не помню! Так, значит, ты к нему?.. Сгорел этот дом, сгорел, года два назад, мне говорили.

Не могло этого быть. Савкин дом в Кяндиме, как и сама Кяндима и, конечно, сам дед, были частью прожитой жизни - и не только прожитой, но и настоящей, будущей - всей.

- Как - сгорел?

- Ну как! Ты что, не знаешь, как это бывает?.. Да все по пьяни, небось!

- А дед? Савкин? - И внутри всё сжалось, похолодело.

- И он тоже. Вместе с домом, сгорел. Ну, так мне рассказывали. - Старлей отмахнулся, как от давно не значащего в его, да и всеобщей уже судьбе и двинулся к своему "уазу". - Я ж говорю, по пьяни, по пьяни, точно! - затыкнул на ходу.

Кир глянул ему вслед волком и пошел вверх, к дому - верней, к месту. Сам двор, обнесенный слегами, выглядел по-старому, если не считать исчезновения калитки, и справа в углу так же угрюмо чернел неуклюжий дедов сарай, в коем, кстати, шесть лет назад была оставлена лодка; еще помнилось, как тогда вдвоем с

дедом укладывали ее в мешковину и заталкивали среди всяческой рухляди на полку повыше... Да, вот лодка, подумалось вяло, лодка... если и цела, так что в ней нынче толку! Всё кончилось, всё... Теперь он стоял над уже поросшими травой останками. Несколько обугленных бревен, провал в земле, верно, от погреба. И ни тени, ни звука: был дед - смурной, малахольный, пьянчужка, говорун, до жизни охочий, - был дед и - вышел, царствие ему небесное, и без него на Кировой земле тоже образовался провал, вот как от того погреба. Дед Савкин... А не полагал, что эта смерть так потрясет. Всего-то летний знакомец, казалось. Уютный, а главное - удобный. Приехал, погостил и - пока: там моя жизнь, в Москве, там; здесь лишь отметина, промельк... Выходит, любил его. Любил не любя, так бывает. То есть не думал, что любит. Это проистекало вне разума - как с временем и пространством, куда поселен: вечные, привычные координаты, а убери хоть одну, и всё рассыпается, всё, покуда не отыщешь новую подпорку и не восстановишь... Ах, дед! Да не в тебе уже дело - во мне...

Опять возник старлей.

- Слышь, Кир Николаич! - крикнул от слег. - Слышь, иди-ка сюда!

И лишь он крикнул, вспомнилось, что рюкзак остался в машине, а затем и то, что пора решать, где переспать, уж ночь, хоть и белая, а автобус последний давно отбыл... да, вот завтра поутру придется отбывать тоже, всё к черту, в тартарары, не оставаться же здесь, на пепелище, на дедовом прахе, кончилась эта глава, этот островок в белой ночи жизни... может, отыщется когда-нибудь другой, да вряд ли... вряд ли потому, что планы были - ах, какие планы! - именно в этот раз, там, на Выге, в одиночку, сладко так сесть при керосиновой лампе и писать, писать - наконец-то! главную книгу! - ведь сложилось, услышалось, призвал шепот небесный... и вот, на тебе: сгорел дед, и всё вместе с ним сгорело, обратилось в прах!

- Так вот, - заговорил старлей, когда они встали рядом. - Знаешь, такое дело. - И понизил голос, будто их кто подслушивает. - Вон там соседний дом, - указал глазами, - там заночевать бы тебе... вполне можно.

Кир пожал плечами. Всё равно - где. Тут они во взаимном нежелании делить кров сходились.

- Пойдем, кликнем ее, - продолжил тот, почти воодушивившись, и двинулся первым. - Там женщина... или девка, не знаю, как назвать. Короче, баба. Одна живет, мать недавно померла. С придурью малость, какая-то ошалелая к мужикам... то есть наоборот: не подойди, зашибет!.. Но ты уж пожилой почти, так что, думаю, пустит. - И добавил, перед тем как толкнуть калитку, и, показалось, со злостью: - Ведьмица!

Пересекли двор, старлей направился поначалу не к крыльцу на высоких ступеньках, а к окну, поискал мелкий камушек и бросил. Дернулась цветастая занавеска, и только через минуту, верно, загремел засов.

- Анастасией ее звать, - быстро шепнул старлей и следом крикнул в тьму раскрываемой двери: - Настасья, выдь, пожалуйста, тут мы до тебя! Человек из Москвы то есть, пожилой! Тут, понимаешь... - И замолк, как только она вырисовалась на фоне провала и встала там вверху, при дверях на крыльце: черный взгляд вниз и руки в боки.

Подсознательно, профессионально, Кир схватывал внешность людей сразу и запоминал надолго. Краткого мига хватало, а дальше возникал образ, характер, и хотя нельзя сказать, чтобы последующее общение, коли оно выпадало, никогда не разрушало первичного, однако ошибки были скорее исключением, а не правилом.

С этой женщиной, Настасьей, ничего подобного не складывалось. Она явилась какой-то, показалось, вовсе несопоставимой, будто не один это человек, а несколько, но всё же как-то сопоставленные. На вид лет тридцать (хотя угадать возраст женщины тут всегда сложно), белая, почти светящаяся, несмотря на легкий

сумрак, кожа лица, и на этой белизне - черные, огромные глаза под прямыми бровями, точно тьмы колодцев или, если по-другому, не по-северному, вобравшие в себя пряный южный мрак всей тысячи и одной ночи; такие же черные волосы - прядями в обе стороны из-под платка, - густые, нездешние, аж глянцевого. Это, значит, лицо - не то что некрасивое, скорее дикое, странное и все-таки притягивающее взгляд. Но главное открывалось дальше, если следовать вниз: до талии это было одно тело - худое, по-девичьи хрупкое, узкое, - а ниже - огромное, явно другого размера, другой, давно раздавшейся бабы... да и не раздавшейся даже, а изначально какой-то неестественно широкобедрой, толстоногой, но не короткой, а приличного роста и размера стопы. Верно, создатель что-то напутал: ну ладно, не лобзиком выпиливал, а вырубал топором, но, следуя сверху вниз, дошел до талии и дальше отвлекся, что ль, или подоспело время вкушать плоды и соки неземные, но крепкие, - короче, дальше пошла иная тема, явно не здравого исполнения, а забраковать то ли рука не поднялась, то ли отвлекли опять же. Так, прости господи, появилась Анастасия... ведьмица, промелькнуло где-то в сознании Кира старлеево словцо-определение, - и следом послышался ее голос, негромкий, но ломаный, тоже из двух тембров вперемежку составленный:

- А вас я помню (Это Киру, высоким). А вы что тут опять? (Это старлею, низким).

- Человек вот из Москвы, Настасья, - заоправдывался тот. - Вишь, к деду сгоревшему приехал, а... Сама понимаешь. А куда, уже ночь. Пусти до утра.

- Никого не пускаю, знаете! - И то походило почти на орган.

- Да знаю! - мотнул старлей белой головой.

- А вас я помню, - опять услышал Кир высокое и даже благозвучное.

- Откуда?

- А у Савкина вы живали тут летом, давно, с приятелем еще. Я молодой была, потому и не запомнили. Двадцать мне было.

- Не запомнил, - сознался Кир, хотя и успел удивиться: такой-то брак Божий чтоб мелькнул перед глазами, и не запомнить - как?

- Ну, не странно, - будто заперла она на ключик это удивление. И дальше спросила, сходя на контральто: - А деда жаль?

- Да, жаль, - выдавилось всего-то.

- Ну-ну... А рассказать?

- Что?

- Как дело вышло. Как погорел.

Кир подумал, глянул под ноги.

- Нет, не стоит. Теперь - зачем?

Настасья подождала, когда он вновь поднимет голову, и затем уперлась в него чернотой глаз.

- Я расскажу. Ему не больно было, потому и расскажу.

Говорила она высоким, чистым голосом, и, конечно, о том можно было и самому догадаться. Перепил дед Савкин как-то лютой зимой, перепил, а печка его и всегда-то барахла, стал подтапливать на ночь, как любил, чтоб кости прогрело, а после в погреб домашний зачем-то полез, завозился там, а сверху уже запыхало, и то ли вход завалило, то ли ослаб дед пьяненький в погребе от угару, - в общем, не сгорел он, а насмерть там угорел, и после, когда всё выгорело с полами вместе, нашли его, почти целого, огнем в земляном погребе не тронутого, лишь одежда протлела.

- Ладно, - дорисовал Кир с этих слов свою картину, - довольно.

- Вот, а сарай его остался, - продолжала Настасья, указывая на соседний участок. - Там барахла еще всякого, а ключ от сарая при мне. Когда же, - вдруг

обернулась к старлею, и тут будто побежала неведомая рука вниз по клавиатуре, - когда же вы наконец освободите меня? Или сарай курочьте, или ключ сами храните! Сколько говорить!

- Ты знаешь ведь, это к председателю, председателю, я-то при чем! - отмахнулся тот от привычного, верно, насока.

- А там в сарае моя лодка должна лежать, - отчего-то вставил Кир.

- Во, видишь! - отчего-то обрадовался старлей.

Настасья помолчала, а затем решила почти грозно:

- А вот пошли, посмотрим! - И скрылась за ненавистным ключом.

Двинулись гуськом, с Настасьей во главе. Кир шел следом и не мог заставить себя оторвать взгляд от ее огромных ягодич, которые, подпрыгивая, переваливались при каждом шаге; ноги же она ставила чуть враскорячку, поскольку из-за толщины не могла их свести в бедрах, и оттого походка напоминала утиную. Однако, стоило поднять глаза и увидеть стройную, с мягким выгибом спину, легкие девичьи плечи, а выше - тонкую, прямо-таки взвивающуюся, словно стебель из вазы, шею, - стоило увидеть это, как опять сплетался в душе клубок разноречивых чувств: и удивление, и сожаление, и даже некоторое брезгливое содроганье, господи прости!..

Между тем, вот и сарай. Настасья неудачно повозилась с замком, после чего за дело взялся старлей, и наконец дверь отворилась. Лодку Кир увидел сразу, на том же месте. Стащил ее с полки, выпачкавшись, развязал узел на холщине. Цела вроде. Погрузил в мешок руку и пошарил там в разных местах, ощупывая. Да, целая. Старлей тоже заглянул, покивал.

- Будешь забирать? - спросил.

- Куда?! Нет, один не дотащу, с рюкзаком-то... - Подумал, вспомнил деда, свои еще вчерашние мечты - и махнул рукой. - Нет, не буду. Потом как-нибудь... посмотрим.

Настасья молчала, потом вышла. Старлей замкнул замок, отдал ей ключ. - Так что? - обратился к ней почти нежно. - Уж поздно, прими гостя на ночь, а то неудобно как-то, честное слово.

- Ладно стыдить-то! - огрызнулась она почти на басах. И Киру, повыше: - Ладно, ладно, до утра, только у меня не гостиница, без белья и вообще. - И опять перешла в прежнюю, предназначавшуюся старлею тональность: - А вы едите, едите, службу нести пора.

Кир пошел с ним к машине, взял рюкзак. Стали прощаться.

- Во стерва! Ведьмица, я ж говорил!.. Ну ничего, у нее чисто, а завтра - гляди. - И, развернувшись, уехал...

Настасьи в доме не оказалось; где-то она гремела поблизости, верно, в хлеву. Кир оставил рюкзак в сенях, разулся и сквозь ситцевые гардины пробрался в небольшую комнату. Действительно, чисто. Крашенный пол, половичок узкой дорожкой, стол, комод, диван, бок печи. Дальше, за занавеской в проеме двери, была, судя по всему, вторая комната, большая, где хозяйка топила и готовила, но туда Кир не стал заглядывать. Сначала, решил он, надо умыться, а после, перекусив, лечь - и поскорее. Извлек из рюкзака полотенце с мылом, вышел во двор, но рукомыльника не обнаружил. Откуда-то возник высокий Настасьин голос: "В сенях, в сенях ведро, берите и на траве тут и обмойтесь!" За этим занятием облепили голое до пояса тело комары - пришлось быстро заканчивать, а вытираться уже в сенях.

Дальше Кир переправил из рюкзака на стол в комнате банку тушенки, бутылку со спиртом и московский еще хлеб. Сел, начал делать своим ножом бутерброды, налил в кружку спирта и тут вспомнил, что надо сходить за водой в сени, чтоб развести. А неохота вставать уже, почувствовал: устал с дороги и от всех этих дел, устал. И

решил выпить неразведенного, бог с ним. Тут появилась Настасья, глянула косо.

- Что это вы?

- Деда помянуть. Садитесь.

- Нет, не пью. А вы помяните, ладно, - позволила, но не строго, и скрылась за занавеской. Вернулась с холодными картошками в тарелке и миской капусты. - Закусите, так лучше, чем ваши консервы.

Кир выпил. Обожгло с непривычки, но он быстро заел сочной капустой.

"Сейчас отпустит, - подумал. - Еще раз выпить - и отпустит, а потом сразу, пока хмель не уплыл, спать, спать!" Настасья присела напротив и, видимо, от нечего делать мелко зажевала, выхватывая пальцами из миски длинные капустные полоски. Говорить не хотелось; Кир ел и думал о деде.

- Сейчас я лягу, - предупредил на случай, чтобы она его не отвлекала. -

Ешьте, я не мешаю, - будто поняла она.

Он выпил вторично. Сейчас отпустит, убеждал себя, словно кого-то другого, и ждал. Не отпускало. Хмель имел место, а не отпускало, нет. "Это из-за нее, - пришло вдруг на ум. - Села напротив - будто чего-то ждет, сторожит". И вправду: когда она изредка выстреливала черным взглядом, как из засады в два ствола, неуютно делалось, настороженно. Или казалось. Кир не понимал ее, верней, не чувствовал: привычный профессионализм почему-то не срабатывал. И не отпускало по-прежнему.

Он уж изготовился подняться, как Настасья спросила, растягивая слова: - А чем же вы заняты?

Он сразу не уразумел:

- В каком смысле?

Она покачала головой и даже ухмыльнулась: дескать, непонятливый!

- Чем живете то есть!

А! Странный вопросец. Чем живете... Разве скажешь - и не ей даже, себе. Чем живете... Ведь не "на что" спросила, хитрюга, а именно - чем... Ну, чем? Может, травой, птицами, детским лепетом, памятью о родителях... чем-то, конечно, еще, да сейчас, на хмельную-то голову, разве упомнишь всё, определишь? Хотя и на трезвую подобное не удавалось.

Потому и промолчал.

- Ладно! - послышалось, как грех отпускающее. И опять ухмылка. А дальше: - Вы можете меня на "ты".

- Хорошо, - принял Кир вяло и добавил зачем-то: - Спасибо.

- Вы, небось, в отцы мне годитесь. Вон, совсем седой, и борода, как у Деда Мороза. Сколько вам? - И когда получила ответ, кивнула: - Ну, точно. Двадцать лет разницы.

- Зачем это вам... то есть тебе? - Он почувствовал вдруг, что злится, и скопился на кружку со спиртом.

Настасья повернулась к окну и сказала туда, будто прогудела:

- Да вот думаю, умнее ли вы на столько. - Вскинула густые брови, отчего лоб наморщился неприятно, а после произнесла и вовсе что-то странное: - Кто знает, где планочка-то?

Кир пододвинул к себе кружку. Что пил - что не пил.

- А ты сама-то знаешь? - выговорил с трудом, закусывая.

- Про себя - зачем, про прочих - да, - прозвучал ответ из-за спины.

"Ведьмица!" - вспомнилось снова... Посмотрел внимательно: вот так за столом, скрывающим ее нижнюю половину, выглядела она вовсе не уродливой, а только диковато-странной...

- Про прочих - всех? - усмехнулся.

- Нет. Кого приметить надо.
- И про... деда Савкина знала?
- Да, - ответила она тут же и повернулась к нему лицом.
- Ладно, - поморщился он. - А про себя я не буду узнавать, не жди.
- Боитесь?
- Или не верю.
- Боитесь! - пропела она высоко. - Зря.
- Почему?
- Вам знать надо.
- Мне? Почему?
- Всем надо. А вам первому.

Те времена прошли, когда тянуло к мистическому. Теперь хотелось точности, не правды даже, а истины, потому что правда у всякого своя, а истина - одна и всем. Настасья же будто звала в оставленные годы, а там, как виделось отсюда, было скучно... "Блаженная, что ли? - мелькнуло без особого уже раздражения. - Занесла же нелегкая!.. Ладно, завтра обратно". И чтобы сменить тему, поинтересовался - будто с высоты своих лет:

- А что ты одна? Без никого?

Долгой была пауза, и лицо Настасьи ничего не выражало. Ответ же вышел категоричным:

- Грех это. Я Христова невеста. - И вдруг низкий смех.

Кир поежился.

- Это - не грех.
- Вы не знаете, о чем я. Грех, грех!
- Ну ладно... Спасибо за стол. - И он встал.

Она поглядела на него снизу вверх, что-то сменила в лице - почти улыбнулась.

- Вы пьете и никак не разбудитесь. Вот завтра утром и разбудитесь.
- Ну, хорошо. - Подумалось, она пила, а не он.
- Разбудитесь. Пора.

Он почувствовал, что она имеет в виду нечто другое, но докапываться не хотелось.

- Ладно, - согласился делано, - так тому и быть.
- Вы ж писатель, - услышал далее и тут действительно удивился.
- Откуда это ты?..

- А дед сказывал. Ваш Савкин.

Господи, и всего-то! А о чем только не подумалось за секунду!

- Ладно, - сказал опять. - Писатель, да.

- А я вас искала в библиотеке, в городе, а - нет, - без сожаленья, лишь как факт, выговорила она.

- На части рвут, вот и нет,- сыронизировал.

Она будто не услышала и продолжила:

- Но я достала, прочла.
- Да? И конкретно - что?

Она назвала две вещи. Да, были такие. Ясно... А спросить, как в прошлые годы: ну и как? - желанья сейчас не возникло. С некоторых пор это перестало интересовать. Всё, что нужно, Кир знал и сам - про удачное и неудачное, высокое и не слишком, - всё знал, и лучше других.

- И не интересуется? - то ли догадалась, то ли просто заиграла Настасья. Но ответить не дала. - Это оттого, что главного вы не написали.

- Еще или уже? - впервые, кажется, спросил он всерьез.

Но тут она встала, развернулась по-кошачьи мягко, несмотря на огромные свои чресла, и пошла к сениям.

- Ложитесь, - прогудела оттуда. - Устали, утром вставать рано. Ложитесь, спите, я потом со стола, потом соберу...

Кир нес к дивану остатки своего хмеля, боясь, что по пути они перетекут в эфир.

Проснулся в седьмом часу утра, внезапно - почудилось даже, кто-то разбудил. Но нет, в доме пусто...

Первым делом, по привычке, встал к окну и глянул в небо. Серовато. Однако это не облачность, скорее всего, а туман; скоро растянется. С моря доносились редкие вскрики чаек, да где-то вдали монотонно гудела лесопилка... Надо собираться, решил. Натянул джинсы, прошел в сени за ведром с черпаком и на дворе, в зябком еще холоду, принялся за умыванье. Сразу пропала вялость, и вспомнилось всё вчерашнее, а затем и ночь - то есть то, что было во сне. Поначалу казалось, кто-то ходил рядом (ну, кто? наверно, Настасья эта странная со стола прибирала), а потом было сновиденье, тоже какое-то странное, и, верно, приснилось это под утро, потому что уж больно хорошо запомнилось.

Да, странное, опять заключил Кир, умываясь. Будто сидит он в своей лодке, один, среди белого неба и моря, спокойно всё, обездвиженно, полный штиль, ни облачка в небе, ни островка в море, пустота и тишина, и непонятно даже - то ли это белая ночь, то ли белый день, и так всё вокруг замкнуто пустотой с тишиною, что полное ощущение, словно сидишь внутри огромного белого шара.

Да, но главное даже не в этом, а в том, что в лодке нет весел. Будто вовсе не предусмотрена такая деталь. И значит, некуда плыть... впрочем, не некуда, а просто нет возможности плыть, и можно лишь надеяться на течение, коль оно тут есть... Но вот что удивительно: такая несуразица (что нет у него весел) почему-то не волнует, не тревожит... и сидит он в лодке, лишь посматривая по сторонам и ощущая это странное отсутствие тревоги. А вокруг так спокойна белая вода, что приходит мысль (опять же мысль странная, но в то же время какая-то улыбочатая), что стоит сойти с лодки - и пойдешь по этой воде, как по тверди, - ну что Господь по морю Галилейскому. Да, полное ощущение подобного, и уж тянет перебросить через борт ноги, но вот, та самая улыбочатая мысль и останавливает: не удавался сей номер больше никому и никогда... если вообще удавался кому-то. И потому продолжает он сидеть в лодке, один, без весел, среди моря и неба, и хорошо ему, будто именно так и должно с ним быть.

Такой вот сон. И, вспоминая его, прокручивая по которому разу, вернулся Кир в дом и увидел на столе кринку с молоком и белый хлеб нарезанными ломтями. И тут же появилась Настасья, по-утиному переваливаясь.

- Пейте, только надоила, - пропела, да так высоко, что подумалось, будто, как в сказке, ходила эта огромная баба к кузнецу, и тот ей голос на почти детский переделал.

- Спасибо. - И, сев, с удовольствием выпил, а потом зажевал.

Куда-то она вышла, но скоро вернулась и положила перед ним на стол еще пять хлебов серыми кирпичами.

- Это что - мне? - не понял.

- Вам, - выговорила, уже низко, строго.

- Зачем?

- Вы ж сейчас на Выг. Как без хлебов!

"Дурья башка! Я в Москву!" - хотел он сказать, но смолчал, и даже не приличья

ради, а потому что удивился. Да, тлело где-то в подсознании такое, тлело, теперь ясно. С утра, как встал, как посмотрел в окно. Тлело, баба несуразная, ведьмица, откуда она что возникает!

- Я в Москву, - повторил, теперь вслух.

- Нет, вы на Выг, - прозвучало, как о решенном. - Еще не услышалось до конца, сейчас услышится. Пока собирайтесь.

Оставался последний шанс:

- А вода? Знаешь, какая вода должна мне быть!

Настасья только кивнула, рассыпав жгучие черные волосы на лоб.

- Знаю. Такая и есть.

- Ты видела?

- Знаю. Еще вчера знала. Не вода - молоко. Так до полудня будет, успеете.

После ветер небольшой поднимется с губы. И волна.

- Всё-то ты знаешь! - усмехнулся Кир.

- Не всё. Что надо! - был резкий ответ. И после уже спокойно, по-деловому: - Собирайтесь. Успеете. Сейчас семь, в девять выйдете, в одиннадцать будете там, в южной бухте. - И ушла.

Кир посидел еще с пяток минут, послушал разные мысли, сплавал в свой сон без весел в лодке и затем поднялся, вздохнув. На его рюкзаке в сенях, куда он выглянул, лежал ключ от дедова сарая...

Дальше дело двигалось споро. Ну не то что азарт, как бывало в молодости, а все-таки что-то оттаяло. Лодку из сарая он перенес в мешке на плечах по проулку к самому берегу и там, выбрав место с камнями поглаже, стал собирать. Было еще прохладно и всё по-прежнему в дымке, остров даже не угадывался, но вода, действительно, стояла тихо, без намека на рябь. Собирать лодку в одиночку оказалось не просто, однако вскоре на помощь пришел местный мальчишка лет пятнадцати, и вдвоем они управились минут за сорок. Кир заладил, скрепив лопасти, одну пару весел, а вторую, в разобранном виде, засунул в багажный отсек - на всякий случай (помнил о сне все-таки!). Потом они разулись, сняли штаны и по холодным камням понесли лодку к воде. Там, уже обжигаясь холодом, зашли поглубже и поставили ее. Мальчишка уселся, качнув бортами, обещал никуда не отплывать, а Кир заспешил в дом за рюкзаком.

Настасья тут не было, хотя дверь осталась незапертой. Рядом с рюкзаком в сенях стояла сумка с утренними хлебами, а еще и литровая банка с капустой. Презент, понял, и стало ему неловко, что отблагодарить нечем: кроме тушенки и спирта, к коим Настасья относилась, кажется, презрительно, ничего для нее особенного в рюкзаке не лежало. Впрочем, и попрощаться не удалось: хозяйка не появлялась - Кир оставил ключ от сарая в тех же сенях, поплотнее прикрыл дверь на крыльце и пошел, сгибаясь под рюкзаком да с сумкой в руке, к морю. На берегу принялся засовывать продукты в капроновые мешки, чтобы потом уложить их в лодку по бортам для большей устойчивости. Покончил с этим, одел на шерстяную рубашку старую свою штормовку и, нагруженный, в трусах, двинулся к лодке. Ноги застыли, и, уже усевшись, когда мальчишка освободил место и сошел в воду, насухо вытер их, натянул носки, ботинки, а напоследок еще продел через голову резиновую юбку, чтоб не лило на ноги и сиденье... Вот и всё; глянул отсюда, с воды, через проулок на то место, где был когда-то дедов дом, и показалось, будто там кто-то стоит у слег: может, подумал, Настасья, а может, и нет - не разобрать. Мальчишка толкнул лодку, упершись в корму, Кир тихонько гребанул пару раз и, почувствовав большую воду, поплыл. Тут же развиднелось, заголубело, и Выг сквозь легкую уже пелену поприветствовал своим проявлением на свет Божий. Кир уставил туда нос лодки и заработал веслом. Было, как и предрекала Настасья, ровно девять.

В южную бухту Выга, на возвышенном берегу которого стояла защищенная лесами от северных ветров изба, Кир вплыл не через два часа, а через два с половиной, то есть в половине двенадцатого, - тут Настасья ошиблась. Недоглядела, выходит, малость.

Поначалу всё шло гладко, но было понятно, вскоре он устанет, нальются тяжестью руки, занеет спина. И что ж удивительного: шесть лет не сидел в лодке, не греб, а за эти шесть лет, именно за них, что-то переменялось в теле, завяло, потеряло упругость; и посидел именно тогда, белым стал - Дед Мороз, правда.

Значит, работал веслом, нарочито в низком темпе, но равномерно, и дал себе зарок так грести хотя бы с полчаса, а после, еще до прихода той самой тяжелой усталости, - отдохнуть, покурить, как-то освоиться. Ну, так и вышло. Натек первый пот, стало поламывать в поясице - Кир глянул на часы: точно, тридцать минут на плаву. Положил весло поперек бортов и откинулся на спинку сиденья. Потом закурил - первую тут сигарету, потому что, почти не балуясь этим в Москве, любил брать с собой в путешествия несколько пачек и получать какое-то неизъяснимое удовольствие именно на воде, во время передышек.

Курил и посматривал. Было по-прежнему тихо, только чайки сзади, с берега, покрякивали изредка да еще недавно побурчал-побурчал долгим проходом из губы на Кяндиму какой-то невидимый отсюда катерок... Истекли минуты, и Кир взялся за весло. Сначала вновь медленно, но вскоре, кажется, поймал нужный ритм и пошел. Еще через какое-то время, почувствовав темп, остановился на минуту, снял из-под штормовки шерстяную рубашку, а потом даже перчатки, хотя весло оставалось таким же холодным. Да, распарился от движений, а тут и солнце стало заметно греть, и капли от весельного плеска, когда ударяли в лицо, уже не обжигали холодом, как прежде. В общем, плыл, о времени теперь не думая, загребая не слишком часто, но с усиленной оттяжкой, раскачиваясь в поясице, отчего лодка шла заметно быстрее. Остров приближался, вскоре на сизоватом фоне уже различались отдельные деревья, а когда стал заметно нарастать возвышенный берег, обозначилась и сама бухта. Было около половины двенадцатого. До полудня, значит, до предвещенного Настасьей ветра с последующей волной, успел.

Через десять минут он уже подплыл к берегу. Разулся в лодке, снял джинсы и, сойдя в воду, повел лодку вдоль свай полуразрушенного причала. Приткнулся к береговым камням, стал разгружаться. Потом оделся и закурил. Блаженство, подумал. Впрочем, еще одно блаженство ждало где-то через полчаса: перетаскать вещи наверх в избу, вынести на камни и перевернуть лодку - и искупаться наконец, смыть пот!

Изба встретила сухим древесным духом. Всё по-старому, будто и не уезжал отсюда. В подполе обнаружилась, конечно, пачка соли, спички, свеча, пара почерневших кастрюль и сковородок, ведро, да еще мешочек с черными сухарями. Во дворе под широким навесом, прилаженным к крыше, так же стоял очаг, где обычно готовили или просто сидели, покуривая и глядя в белые дали; сбоку от него, дополнительно перекрытая мешковиной, - канистра с керосином и кучка сосновых дров, аккуратно напиленных. То же самое предстояло Киру сделать перед отъездом отсюда - для последующих пришельцев, искателей уединения, или изредка заплывающих сюда кяндимских любителей порыбачить.

Вторая половина того дня прошла в делах. Перетаскал снизу вещи, разложил их где надо по избе, опять спустился, с трудом перенес на берег пустую уже лодку, перевернул, отнес под навес весла, вновь сошел, искупался (а ветер, и верно, поднялся, погнав мелкую волну!), потом отправился в лес за дровами, чтобы впрок

подсохли под навесом на случай дождя, потом, еще через час, наверное, сходил к ручью в небольшом распадке и притащил полное ведро хрустальной водицы, потом принялся за готовку и только около шести вечера, как выяснилось, сел наконец есть.

Еще в Москве, сладко предвкушая, составил себе на этот первый вечер меню: овощной суп из прихваченной в банке заготовки со специями, на второе - отварная картошка с мясом, а в качестве закусочного лакомства - маслины и парочка хрустящих соленых огурцов. Вот оттого и был слишком тяжел рюкзак, что тащил в нем ради гастрономических утех много лишнего для нормального похода. Ну да ненормальным складывался поход, если не забывать про вчерашнее, - ненормальным, теперь это ясно; так что, и вправду, всё одно к одному.

Он выпил сразу полкружки загодя разведенного хрустальной водицей спирта и захрустел огурцом. И тут же - полминуты не прошло - отпустило. Вчера, когда сидел с той самой странной Настасьей, не отпускало вовсе, а сейчас - будто какую кнопку нажали. Чуть поплыла голова... да дело не в ней, голове дурной, алкоголем прирученной, а в том, что душу отпустило. Ну, подошли, расстегнули, сняли ошейник и сказали: пасись, дух из тебя вон! Травка зеленая, облачка белые, небо шелковым парашютиком, в синем море волны плещут, всё верно, - и беги, куда хочешь, или плыви, куда сможешь, - одна твоя воля, твоя...

Потом Кир долго, медленно ел, выпил еще пару раз, а том числе опять в память деда Савкина, потом, насытившись, курил, усевшись под навесом с видом на море, а потом еще долго пил чай, а некто спущенный с поводка, со свободной шеей, бегал по траве, подлетал в белесые уже белоночные небеса, затем плюхался в белесое утихшее море и плыл куда-то к горизонту, где лежали шлейфы золотистых и розовых огненных полос, а вернувшись, кричал нечеловеческим голосом: "Тишь-то какая, царица небесная!" - и Кир буркал ему: "Да не ори ты, сам слышу!", а тот продолжал: "А красота-то какая вокруг, глянь!" - и опять Кир морщился: "Да не вокруг и не красота, балда, а сам я это и есть, я. Куда ж глядеть-то, брысь!.."

Шла ночь, в избе, когда он отправился спать, плавал свет, без спросу вваливаясь в окна, от нар исходил сосновый дух - всё жило, действовало, и потому подумалось, уже в спальнике на нарах, что лучшее в языке - глагол, ибо, по сути, он единственный не только отражает, но и, должно быть, определяет саму жизнь, какую-то вечную тайну ее истока и дальнейшего постоянства, действия... вот только не всегда он, этот нужный и самый верный, отыскивается... вот знаешь будто, что есть нечто главное, им определяемое, но не можешь его найти, и лишь чувствуешь, чувствуешь, мучась, ждешь - этот самый глагол и то, что таится за ним. Уж не истина ли, а?..

ЧАСТЬ 2

А было это в самой середине лета конца очередного тысячелетия от рождения Христова, а можно и сказать, ближе к концу года очередного тысячелетия от сотворения мира.

Что-то где-то происходило, разрушалось и возникало, а на острове в белом море тысячелетия катились легко, на вид ничего не изменяя. И прежде не раз казалось, что есть некий круг, и этот остров - его центр, главная точка пространства, столь малая, что время, обтекая ее, здесь не существует; казалось, тут некое "всегда", бесконечное, которое невозможно измерить, и, значит, бессмертное.

Оттого и тянуло сюда, с возрастом всё осознанней: не просто отдохнуть от сует бытия, а именно причаститься. Думалось: сначала было это, и перед тем, как сотворить всё остальное, Он здесь отдыхал. Думалось: здесь живут невидимые

следы. Место, где Его следы, и есть храм. К чему храм ставить? Храм - то, что Им оставлено, разве не ясно!

Значит, здесь и писать, здесь. Не потому, что покойно, а - услышать можно. Ведь как угадала баба эта несносная, Настасья, ведьмица, сказав: "Главного вы не написали!" А он еще спросил, что-то в ее верных словах страшное почуяв: "Еще или уже?" - и она не ответила, чертовка, не ответила... Так еще или уже? Ведь за этим еще и ехал. А гляди, что-то рушиться взялось с самого начала: дед помер, дома его не стало. Ну да вывезла все-таки на остров кривая. Настасья то есть. Она ведь вывезла, она! Впрочем, теперь, оказавшись на острове, Кир о Настасье не думал: всё это промелькнуло первой ночью в отуманенной голове и вместе со сном сгинило. Пора было садиться и писать, но странно - откладывалось и откладывалось, день, второй, третий.

Следующий после приезда день прошел все-таки в хлопотах, хоть и приятных: устраивался, напилил еще дров впрок, аж на неделю. Назавтра захотелось прогуляться по острову, далеко, вглубь, - и так разохотился, что проскочил его до конца, до узкой северной оконечности, а это, если от избы, около семи километров, да не по ровной дорожке, а через лес, по камням. Там, выйдя на высокий острый мыс, стоял под напором ветра и глядел в отливающее сталью море, бесконечное, скатывающееся откуда-то с полюса; шли легкие волны, кое-где вспениваясь, и эти белые кляксы тут же еще и вспыхивали под солнцем, а через секунду-другую исчезали. В глазах рябило - от игры цветов, ветра, промелючка легких дымчатых облаков. Всё было движеньем - движеньем неодушевленного, вечного, чему не дано стариться и умирать... Что это? - в очередной раз поразился Кир. Или мне, наделенному душою, такое вовсе не дано понять? Лишь чувствовать?..

Дома же, в южной бухте, ветра почти не ощущалось, стояла белая тишь, и каждый новый день походил на предыдущий. С утра туманило, разобрать, где небо, где море, было невозможно, потом туман таял, все голубело, наливалось ярким светом, после полудня море оживало рябью, а следом - легкой волной, прибежавшей с северной оконечности, но к вечеру стихало, устанавливался покой, уходили за горизонт последние облака, и вот воцарялась белая ночь, беззвучная, бесцветная, но светная, и этот шедший с небес свет отражался от белесого зеркала воды и плавал, не остывая.

В третью, кажется, по счету такую ночь Кир решил выйти в море. Захватил спиннинг, поставив вместо блесны обычный крючок, стащил лодку в воду и поплыл. Дошел до конца бухты и там долго сидел недвижно. Падала с поперек лежащего весла редкая капля, и этот краткий звук был единственным напоминанием о реальности мира... Потом, тихо загребая, двинулся к себе, в середине бухты опять встал, забросил в воду крючок с наживкой, и минут через пять, действительно, клюнуло - какая-то дуреха, граммов на триста, черт знает, как ее звать, похожая на сельдь. Кир полюбовался голубоватым наливом ее чешуи и, осторожно высвободив крючок, бросил в воду. Он чувствовал, что еще через день-два явится настоящее желанье порыбачить (да и стол разнообразить тоже будет пора), и вот тогда он наловится всласть и уж никого не отпустит.

А чтоб сесть к ночи за стол в избе (при керосиновой лампе, как мечтал) - никак не получалось. Не то что руки не доходили - душа. Всякий раз откладывал, находя разные занятия, и радовался, что вот, дело все-таки есть. Понимал, что обманывает себя, но смирялся. То опять дрова таскал и рубил, то рыбачил подолгу и готовил уху по всем правилам, в три перемены, то еще что-то по мелочам. Так истекли дни, и однажды Кир обнаружил, глянув в окошечко календаря на часах, что завершилась первая неделя его робинзонады. Это неожиданно взволновало - он завалился на нары и, положив руки за голову, стал думать. Припомнил давние свои сюжеты, в том

числе один заветный, ради которого и ехал сюда, - припомнил, просмотрел, как кино, прослушал - и вдруг заключил, что нет, не то это всё: плоско, темно, вяло. Для него, не для кого-то. Кто-то примет, конечно, даже, не исключено, похвалит, но это - для кого-то, не для него. Ему надо иное: главную, вечную вещь. Другое уже не интересно, это пройдено, прожито, и в том прожитом - что ж поделаешь! - не оказалось, не случилось, не услышалось главного, нет... Значит, как: опять ждать? Ну да, ждать: не писать же, повторяясь!.. Да, если протянуть еще годков пять-десять, то услышится, придет. Да-да, лишь бы протянуть!..

Так вот подумал - и расстроился поначалу (что пустым вернется), а затем и обрадовался (что насиловать себя уже не надо: ведь душа-то противилась, теперь ясно, а он всё не понимал, почему). И вот в сей момент - когда обрадовался - расслышал вдруг какой-то звук, равномерный, хлюпающий. Прислушался еще, всё лежа, и понял: весла! кто-то гребет!

Было это около десяти вечера, в наступившей уже обездвиженности и тиши. Выйдя из избы, Кир ясно различил медленно приближающуюся лодку, точнее, небольшой рыбацкий баркас, из тех, которыми пользовались местные на побережье. В лодке сидел кто-то один (хоть так - слава богу, подумалось), но минут через десять это относительное "хоть так" обернулось поминанием черта: сидела там Настасья, баба дурная, принесла же нелегкая, только ее не хватало!

Кир сошел к берегу, услышал ее высокое: "А вот я, не ждали?", ответил, что не ждал, и помог вытащить баркас на камни. "Далеко не надо, - упредила она, - завтра уплыву". Он молча вынул из уключин весла и понес их наверх, опережая Настасью, чтоб не видеть ее огромного зада и толстых неуклюжих ног. - Ужинать будешь? - спросил из вежливости, уже у избы.

- А что у вас?

Он показал на остатки того, что готовил.

- Ладно, перекушу, - кивнула. - А очаг не взгревайте! - остановила его. - Я сама, дело нехитрое. Вы отдыхайте, отдохайте.

- Наотдыхался! - буркнул он, но все-таки взялся за костер. - Чаю попью, - поймал ее протестующее движение и добавил, чтобы сгладить впечатление от такого своего гостеприимства: - С тобой... за компанию.

Потом компания молча перекусывала и пила. Настасья дула в кружку и при том, кажется, усмехалась. Черные ее волосы совсем пали на лоб и образовали с бровями и глазами единую тьму, в то время как вторая половина лица матово светилась. Так сидели долго, с час, должно быть, пока она вдруг не подала голос, баснув утвердительно:

- Не пишется.

Он вздрогнул от неожиданности, раздражился этим ее всеведением и сказал неопределенно:

- Посмотрим... - Затем поежился (стало действительно прохладно): - В избу пойду, спать, пожалуй... Ты в спальник мой ляг, я тебе постелю, а сам в куртке, она теплая.

Его желаньем было, чтобы Настасья посидела тут еще, но она поднялась, прошла с ним в избу, отыскала в подполе свечку, пока он готовил ей нары напротив, зажгла ее и поставила на стол, между ними. В избе от свечного света стало как-то глуше, даже темнее, свет из окон поблек, отступил, качнулись легкие тени.

- Зачем это ты? - начал Кир недовольно, но Настасья тут же перебила, запричитав:

- Ах да, ах да, свечку запалила к чему-то, а ночь и так белая, ну да я сейчас, скоро, а вы ложитесь, ложитесь! - И после короткой паузы заключила так же высоко: - Только вы не хотите спать-то! - Глаз ее было не различить - один черный провал. -

Не хотите, - повторила. - А обманываете.

Он разозлился, хотел возразить, даже одернуть ее, но кое-как с собой справился.

- Не слишком хочу. Какая разница!

- Правда-неправда - разница, - прозвучало назидательно. - И что пишется - не пишется, тоже обманываете!

Странно: противиться вдруг более не захотелось. Куда-то подевалось раздражение - сгнуло враз, будто и не было. Какую-то струнку задела она, баба эта чертова, - самую тонкую, тайную.

- Да, ты права: не пишется. Правда. - И уж прямо потянуло добавить, почему, но все-таки хватило сил сдержаться.

Впрочем, она и досказала - только по-своему:

- Это потому, что ты не имеешь глаголы вечной жизни.

Он даже не обратил вниманья на это "ты", а весь напрягся, почувствовав, что ей удалось выразить главное. Хотя и что-то знакомое послышалось в ее словах.

- Ты не имеешь глаголы вечной жизни, - возникло еще раз, но теперь не как приговор, а с сожаленьем.

- Откуда ты это вытацила... эти слова? - Он не любил, когда его жалеют, и добавил в голос яду.

Она вдруг рассмеялась:

- А от Петра, Петра! Святого, апостола. Только у него было наоборот: «Ты имеешь глаголы вечной жизни», сказал он.

- Кому?

- А ты не знаешь, поди? - И опять обдала высоким смехом. - Грех, грех! Кому же такое сказать-то можно? Одному!

- А, вот как! - с ехидцей протянул Кир. - Так что ж ты тогда удивляешься, что я эти глаголы не имею, я?

- А хочешь? - Она вдруг посерьезнела, да так внезапно, что он почти испугался. (Лишь бы не пошла шизофрения, подумал. Хотя не похоже.) - Ну, ты хочешь? - повторила она почти уже шепотом. - Ты ведь думал об этом, думал, а я - могу.

- Ты?! Ты хочешь сказать, что - знаешь? Знаешь то, что, как только что утверждала, имел один Он?

Настасья тряхнула головой, отчего волосы ее разлетелись, засверкав под свечным светом желтоватым глянецом, и в черных зрачках повисли, закачавшись отражениями, такие же желтые огоньки. "Кошка! Или ведьма, да!" - пролетела мысль.

- Там, в Кяндиме, когда ты сидел у меня со своей водкой...

- Спиртом, - поправил он, перебив.

- Ну, спиртом... я подумала: он старше на двадцать лет; умнее ли на столько?

- И что же решила?

- Тогда не решила - сейчас.

- И что?

- А времени-то ма-а-ло! - опять возвысила она голос.

- Да, припоминаю: что-то ты говорила - про сроки, про то, что знаешь, у кого какой. И про мой, конечно.

- Знаю.

- Ну и храни это при себе, если не лень! - почти огрызнулся он. Но затем смягчился: - Потому что это грех, как ты часто повторяешь. Грех, понимаешь? Человеку это нельзя знать! Он такой груз не выдерживает.

- Человек человеку рознь.

- Да, конечно, но... но существует нечто общее. Всечеловеческое!

- Ты - другой.

- Ой, брось! - Кир даже сморщился. - Ты что-то надумала обо мне. Я мутно-прозрачен, как бутылочное стекло. Да, я хочу дойти, но не дойду. Я только чувствую, что они есть, эти... как ты сказала?.. эти глаголы вечной жизни. Только чувствую, но не знаю, не слышу их, нет!

- Услышишь, - утвердила она спокойно, как само собой разумеющееся. И повторила, заполняя его молчанье: - Услышишь. Ты - услышишь. Только поторопись.

Кир закурил. Настасья поднялась, прошла по избе, запряталась куда-то в угол, во тьму ("Да, темно-то как стало!" - отметил он вдруг удивленно), и, невидимая, оттуда еще проговорила:

- Ты услышишь! Здесь, на острове. Еще здесь всякое будет! Услышишь. А напишешь или нет... ну, поглядим.

- Ты где? - позвал он, вглядываясь.

- Тут, тут... Я хлебов привезла тебе, кстати. Те-то, небось, съел?

- Один остался.

- Ну, хорошо, вот еще будут. Поживи, поживи на моих хлебах! - И вернулась к столу, но не села.

- Ты что-то надумала обо мне, - принялся он за свое - и искренне. - Я стал сдавать. Может, ты и права, что впереди немного. Глухонемею потихоньку. Она опустила на стол локти и приблизила к нему лицо. Огоньки в зрачках качнулись, налились яркостью.

- Это потому, что на тебя давно не глядели влюбленными глазами.

Кир медленно кивнул.

- И ты многое забыл, - продолжила она.

- Пожалуй, - согласился он опять.

- На тебя давно не глядели влюбленными глазами, - прозвучало снова. Или так показалось?

- Ну вот ты и погляди, - расслышал Кир собственный голос и удивился. Он увидел, как Настасья вскинула брови, потом закачалась на месте, потом повернулась, пошла к нарам, так же покачиваясь и на ходу стягивая через голову свитерок, потом села там к нему лицом, выставив на свет небольшие упругие груди, и наконец поманила его легкой рукой:

- Ладно, иди, ладно, попробуем, ладно, давай...

А наврала, наврала Настасья, что Христова невеста. Уж если и была она чьей невестой, то определенно другого...

Была у нее удивительно гладкая, упругая кожа - и верно, как атлас, - к подобному он никогда не прикасался. К тому же эта кожа прямо-таки светилась, на ее фоне чего волосы будто образовывали черные провалы. Тело же вело себя в полном соответствии со своей невесть как сопоставимой двойственностью: нижняя часть двигалась жадно, неостановимо, а верхняя явно принадлежала другой - и впрямь, девушке еще, тихой, нежной, почти воздушной. И пока ноги выделявали черт знает что, руки этой девушки мягко скользили по Кировой спине, плечам, голове, вплетались пальцами в его волосы, а губы все время вышептывали что-то, тоже нежное, тихое, и в один из моментов, прислушавшись, он догадался, что это молитва, только какая и кому, не понял.

Длилось долго, но вот кончилось - она тут же повернула его на спину, прижалась боком, положила голову ему на грудь и принялась гладить, шепча: "Совсем седой, белый - везде..." Нет, не поверил бы Кир, будь он ясным, что это у нее в первый

раз!..

После он начал задремывать. Настасья же поднялась и, светясь телом, вышла. Вернулась с влажным полотенцем и стала обтирать. Кир тихо постанывал от удовольствия, а она будто баюкала: "Ну вот и хорошо, хорошо, а теперь спать, спать!" - "А ты?" - через силу подал он голос. "Спать, спать!" - послышалось то же, и он поплыл, поплыл - на ватном облаке, к каким-то дальним горизонтам, в вечное никуда... И вдруг проснулся.

- Симон, а Симон! - позвал кто-то женским голосом.

Кир резко сел на нарах и опять удивился, что так темно... Сентябрь уже, что ли? - занедоумевал. Так тут бывает в сентябре, в конце...

- Настасья! - шепнул, а после еще раз, громко: - Настя, ты где? Свеча была потушена, а спички куда-то запропастились. Он чертыхнулся и зашарил вокруг. Ни спичек, ни Настасьиной одежды, валявшейся прежде на табурете... Не уплыла же она обратно! - решил. И тут услышал ее голос издали - ее и какие-то еще голоса, будто девичьи. Казалось, вели беседу, но кто и где?

Он натянул джинсы, оказавшиеся, спасибо, на месте, и подошел к окну. Черно, точно южная ночь, лишь какие-то всполохи метались сбоку, там, где под навесом был очаг. И оттуда же доносились прежние речи... Не иначе, понял, пока он спал, приплыл еще кто-то, и Настасья их кормит. Только как же они приплыли по такой-то тьме?

Надел куртку и, осторожно приоткрыв дверь, скользнул наружу. Сразу обдало холодом - сыроватым, с запахом морской воды. Обошел избу и, встав за углом, выглянул. Перед ярко горящим очагом сидели в кружок трое, Настасья и две совсем еще юные девицы, все голые. О чем-то они вели беседу вполголоса, Кир не разобрал, да и не пытался, потому что обомлел.

Настасья им что-то внушала, а те покачивали головами и изредка отвечали на высоких нотках. Одна из этих молоденьких была пухлой и грудастой, явно на вид дуреха, а вторая, напротив, худая, плоская, по-мальчишески еще угловатая, но с длинными пышными волосами. Всполохи огня пробежали по их лицам (Настасьино было видно не было, только затылок), по голым телам, выхватывая из тьмы то одно, то другое.

Он простоял в оцепенении минут пять, наверное, а очнувшись, стал перебирать варианты. Ни один не проходил, если опираться на логику. Приплыть сюда ночью эти юные создания не могли; на острове, он знал, больше никто не живет и других изб тут нет - значит, и прийти сюда просто неоткуда. Что остается? Уже вне логики: то ли с неба, то ли из моря. Мистика... И голые. Почему? А ведь холодно: вон, сам он в куртке, в штанах - и то зубы стучат! Зубы действительно стучали. Кир подергал головой, пытаясь избавиться от наваждения, и тихо, боясь привлечь к себе внимание, прокрался обратно в избу. Там сел на нары и почувствовал, что его знобит. Одел свитер и лег, завернувшись в спальник. По-прежнему доносились приглушенные голоса. Озноб не проходил; Кир сжался, как мог, и укутал голову. Теперь голоса пропали... Встать бы и выпить аспирина, подумал: простудился некстати!.. Так лежал и всё уговаривал себя подняться, но сил не было. Сколько прошло, неизвестно, и он уснул. Потом объявилась Настасья - шумно, разбудив, - присела к нему на нары, потрогала голову.

- Заболел! Ну ясно, началось! - вздохнула, но почему-то без сожаленья. -

Ладно, ладно... - И тут будто заиграла: - Так и знала, что нельзя тебе!

- Что - нельзя? - не понял он и придержал холодную ее ладонь на своем лбу.

- Что? - усмехнулась. - Так напрягаться на девушке-то!

- Ну что ж ты дуришь, Настасья! Разве тебе нехорошо было?

- Хорошо, хорошо, - закивала она. - Правда, хорошо, ты молодец еще, ты

пестун, из немногих.

- Кто-кто? - И он даже рассмеялся.

- Пестун, - четко выговорила она. - От глагола пестовать, понял? Тебе женщину пестовать дано, а не просто так.

- Да откуда тебе что известно? - изобразил он удивление, но с какой-то уже легкостью, даже довольством, потому что чувствовал, как постепенно уходит из тела жар. - Ты ведь говоришь, что до этой ночи...

Она взяла его руку, спрятала в своих маленьких, сильных ладонях.

- Я до этой ночи жизнь прожила. Долго жила - тебе и не снилось, сколько.

- И сколько ж?

- Тебя тогда на свете не было. Тебя - такого - когда еще только задумывали, я уже долго жила и про всё знала. И про любовь людскую с этой вашей постельной гимнастикой, и про то, о чем ты думаешь всё последнее время, над чем мучишься... про глаголы эти твои, тебе покуда не известные. - Да-да! - вспомнилось ему тут же. - Глаголы вечной жизни, которых я не имею. Так?

- Так, так, мой старенький! - кивнула Настасья, рассыпав по лицу и плечам тьму волос. - Ты спи, спи, еще услышится, поимеешь. Тебя таким задумывали, я помню, знаю... Тебя, полагаешь, что, ко мне случайность завела? - И хохотнула. - Ты к деду зачастил, а с ним лишь зелье хлестал, да сюда на Выг-остров жировать с дружком катался! А тебе гоже ли? Не-е-ет, ошибочку твою исправить надо было!

Кир с трудом высвободил руку, которую Настасья все еще сжимала в своих маленьких ладонях, и сел на нарах.

- Ты хочешь сказать, - заговорил ей прямо в глаза, - что... что это ты деда Савкина уморила? Ты?

- Ой, грех! - дернула она головой. - Что городишь-то, грех! Не умаривала, нет, только зелье ему носила. Много зелья. Остальное, знала, он сам. Печка-то его всегда барахла. Так и вышло. А я-то при чем?

- Ведьма! - простонал Кир и откинулся на спину. - Ты понимаешь, что натворила! Ты понимаешь, что это, получается, из-за меня!

- Из-за тебя, старенький мой, из-за тебя! - утвердила она низкой нотой. - Тебя задумывали не таким, и вроде раньше с тобой всё по-задуманному шло... да-да, вон куда тебя сплавляли, и ты выдерживал, молодец, хоть и натерпелся, но ведь не просто так, а для чего-то! И что ж потом? Заглох, заглох, стал жиром сочиться, а за то платить, платить надо. А как же! - поддала голосом жару. - Вот и дед Савкин на тебе. На тебе - ну не на мне же! Я что, я волю исполняю... - И вздохнула затем: - Да, подневольная я!.. Хотя, вишь, - уже усмехнулась довольно, - и с радостями: ты люб мне, люб, ты пестун, хорошо было, хорошо это, оказывается, и не думала... Ладно, спи! - приказала, опять вздохнув. - У тебя важное впереди, а у меня - свое. Спи, сейчас совсем легко станет, погорело малость, так надо... сойдет хворь - и без твоего аспирина. Спи!

- Господи, Настя, что ж ты наделала! - простонал он, закрывая глаза. И вправду, натек легкий сон, и, сваливаясь в него, Кир с усилием проговорил:

- А с кем это ты общалась, беседовала? Там, у очага?

И услышал ее тоже почти сонное, сквозь зевоту:

- А! Да утопленницы то были две молодые! Одна из-за мужика - что на нее супротив ее желанья лег, а вторая - из-за родителей чумных, крадущих... от стыда за них то есть. Вот и разбирайся с ними теперь, препровождай!.. Ладно, старенький мой, все, спи!..

Явилось, как ни в чем не бывало, утро, и Кир встал здоровым - будто и не трясло его ночью. Оделся, выглянул из избы: Настасьин баркас отсутствовал, а в море, сколь охватывал глаз, стыла привычная белесая пустота. Уплыла, значит.

Он обошел свое хозяйство и понял, что она не перекусывала и даже чаю не пила. Ну, пусть так, решил и занялся обычными делами... Ел, пил чай и всё думал, что же произошло. Казалось, это было не с ним... да и вообще - было ли? А было, не сомневался. Ну, не спятил ведь он: подобного за ним не водилось... В общем, сидел и перебирал в памяти, что помнилось. Глаголы вечной жизни, глаголы вечной жизни...

К полудню это облеклось уже в некое потрясенье. Чего-то ждал. Прислушивался. Выстраивал про себя диалоги - то с Настасьей, то с кем-то еще, а кто этот "кто-то", сам не представлял. Потом залег на нары и уставился в черный бревенчатый потолок. Заново просмотрел, как кино, свои сюжеты. Нет, пусто, пусто и вяло, заключил опять. Всё то же: только чувствую - не знаю. Не имею - как сказала бы Настасья, повторяя за апостолом этим... как его?.. Петром, да... А, черт! - озарился внезапно и даже привскочил. Так не его ли звала она ночью к своим девчонкам-утопленницам? Тогда, когда слышалось: "Симон, а Симон!"

Тем не менее через некоторое время он по привычке и постепенно отделил от себя случившееся. Оно еще будто существовало, но где-то в сторонке. Сам же занялся обычной своей жизнью, прикинув, что побывает тут еще день-два - как раз под десять дней наберется, вполне достаточно.

К вечеру решил выйти в бухту - посидеть в тиши, закинуть пару раз спиннинг. Оделся потеплей, пошел под навес за веслом и - не обнаружил. Нахмурился и, уже предчувствуя недоброе, стал искать его в разных местах, хотя и знал, что больше нигде оно быть не может. "Зараза! - выругался. - А, что напридумала!" Но тут хмыкнул ехидно, прошептал: "Во тебе!" - и заспешил в избу, где рядом с рюкзаком лежала запасная, несобранная пара весел.

Там не было... Пошарил еще, слазил даже в подпол, потом сел на нары. Всё, понял, искать бессмысленно. Увезла. Ведьма! Когда захочет, тогда привезет. Если захочет. А если захочет - когда?.. День-два! - вспомнил свои планы. И расхохотался...

Ближе к ночи (белой - будто вчерашняя тьма сюда и не заглядывала!) приготовил себе обильный ужин и, заедая им, обильно выпил. Опьянев, долго полемизировал вслух с Настасьей, но оставшись при своих (то есть сорока градусах), побрел спать. Провалился - и ни в каких сновидениях ролей не исполнял. А утром проснулся с мыслью, что сдаваться и быть в зависимости от придури своей ведьмицы не намерен. И после завтрака отправился в лес искать подходящий ствол - для весла.

Конструировал он его в голове долго, в результате чего сделал заключение, что сборный вариант не годится - только цельный, из единого дерева. Выточить с концов лопасти, а между - утончить ствол, соблюдая, главное, разумный предел: и чтоб не тяжелым был, и чтоб не слишком тонким, дабы не треснул от нагрузки при гребке.

Ходил, выбирал, охватывал, постукивал, пробовал, сколь влажен или сух ствол. Нашел, кажется, подходящий, спилил, приволок к себе, отмахнул ветви с сучьями, сточил кору и затем стал аккуратно вырубать.

Ювелирная эта работа оказалась долгой и тяжелой. К вечеру, когда пора было все-таки прерваться для готовки, он продвинулся только наполовину, и сделанное напоминало скорее болванку, хотя контуры уже проглядывались. В целом, однако, можно было испытать некое подобие удовлетворенья, а главное - подпитать явившуюся утром надежду. Подпитывалась она разведенным по всем правилам

спиртом, то есть два к трем. Затем, уже сыто-пьяно, подлился ставший традиционным диалог с Настасьей, в рамках которого Кир позволил себе многое высказать; Настасья же в основном кивала и ничего грандиозного не сообщила. Ну а заключительный акт ознаменовался тем, что весло - верней, болванка - отправилась ночевать вместе с хозяином в избу. Во избежании драматических случайностей, так сказать.

С утра, лишь позавтракав, господин Робинзон, как стал обращаться к себе Кир вслух, принялся за весло снова, да так увлекся, перейдя в середине дня с топора уже на нож, что пропустил шестичасовой свой обед и завершил дело только к восьми. Завершил, поднял, полюбовался, затем поимитировал гребки, растянув руки пошире в плечах, и гордо отметил, что получилось совсем-совсем неплохо, даже с хитринкой - то есть нарочито укорочено, чтобы уменьшить риск надлома: ничего, что придется пораскачиваться в поясице, зато надежности больше; правда, лодка бортовой качкой заиграет, но полной гармонии не бывает, как известно.

Наскоро сготовил бутерброды, вскипятил воду в котелке, выпил разведенного, закусил, наглотался чаю, пообщался с невидимой Настасьей и, прихватив с собой гладкое, ошкуренное весло, пошел спать. А утром, открыв глаза, обнаружил, что весло исчезло.

В ту секунду он услышал в себе зверя. Медведя, конкретно. Медведь, ревя, шел напролом по лесу, почему-то на задних лапах, а передними сшибал направо-налево попадавшие стволы. Шел он к Настасье, сидящей на валуне, сжавшейся от испуга, и оба они уже знали, что сейчас он изорвет ее в клочья - ничего не оставит, ничего!

Как был босой и в трусах, Кир выскочил из избы и закричал. Грохнуло в ответ эхо, растянута возвращая ему собственную ругань: "Сука-а-а!.. Зараза-а-а!.. Жопа-а-а чертова-а-а!.." И еще, после передышки: "Ведьма-а-а! Ведьма-а-а! Ведьма-а-а!"

Потом эхо иссякло - Кир опустился на лежащее возле очага бревно и охватил голову руками. Так сидел некоторое время, вышептывая прежний набор определений, пока не почувствовал, что окончательно замерзли голые ступни. Встал, побрел в избу, оделся, обулся, вышел, вновь сел. И вроде бы успокоился, стал думать.

Где-то она тут, решил, где-то на острове. Не уплыла после той ночи, а отошла на пару километров и причалила... Да-да, вспомнил, именно в двух километрах отсюда, если плыть вдоль восточного берега, небольшая бухта, там всегда еще клев был отличный, туда нередко плавали на вечерок. Вот там она, стерва, небось и остановилась... да, там, поскольку других удобных мест тут больше не сыщешь: скалы, обрывы. И пошел туда скорым шагом.

Пошел по лесу еле приметной тропкой вдоль берега, перескакивая с валуна на валун. Через полчаса выбрался на скалу, откуда хорошо проглядывалась та самая бухточка, но ничего там не увидел: ни баркаса, ни других признаков посещения. Пошукал еще вокруг - и то же.

Других разумных вариантов не существовало. Конечно, могла она, ведьма, схорониться и в каком-нибудь ином месте, да иди-свищи: этот Выг-остров хоть и не огромен, а все-таки семь в длину и где полтора, где два в поперечнике. Бесполезно!..

Ладно! - отмахнулся. Ладно, подумаем: что она хочет? Просто погубить? Погубить, как до того деда Савкина? Глупо: зачем? Или чтоб он сидел тут и что-то слушал, ждал? Писал? А если ему не пишется? Верней, не то что не пишется, а

нечего, нечего ему писать!.. "Вот такой расклад, слышишь, стерва?.. Слышишь! - закричал опять, встав. - Я только чувствую это, но не знаю!"

Загудело эхо, продублировало его слова - растягивая, будто смакуя. "Вот именно. Именно так!" - произнес Кир уже спокойно и принялся за костер, вспомнив, что даже и не позавтракал. Но есть не хотелось: поковырял кашу и бросил ложку. "Надо выпить, - сказал себе. - Выпить и завалиться. К черту всё, надоело, устал!"

Так и сделал. Развел - специально покрепче, поглубже, "чайник на чайник", - выпил всю кружку в два захода, закусил капустой (Настасьиной, кстати) и хлебом (ее же, подвезенным). Охмелел как-то тяжело, будто по голове стукнули, но за минуту до того, пока еще соображал, вдруг наткнулся на мысль: потому и отбирают у него весла, что не с чем ему плыть ко всем, не с чем возвращаться. Не с чем и, значит, незачем... Что ж выходит? - явилась мысль следующая, но теперь в вопросительном облиии. Выходит, там, где все, нужно от него что-то другое, новое? А кем он был и есть - это уже так, пшик?.. "Ну, спасибо, сестры и братья, - усмехнулся уже пьяно, - спасибо!.." Потом мысли разлетелись, обнажив серую пустоту. Осталась, правда, одна, плавающая по кругу, как на карусели: "А сон тот помнишь? У Настасьи, в ее доме еще? Как сидишь в лодке без весел посреди моря - и будто хорошо тебе. Помнишь? Помнишь?"

Вскоре он побрел на неверных ногах в избу, разделся и закутался в спальник. Кажется, познабливало малость, но сон уже засасывал в свою черную воронку. За избой же стоял день, и море с небом играли в золотистый пинг-понг.

Затем он все-таки заболел. "Это Наська, Наська хворь на меня наслала, проклятая!" - подумал, очнувшись ночью. И позвал тихо, со стоном: "Настасья, где ты, жарко, положи руку на лоб!"

Никто не ответил, не пришел. Кир скинул спальник, подставил тело прохладе, чтоб высох липкий пот... Под сорок температура, не иначе! - определил, а следом протянулась вялая мысль: «Ну вот и помру тут - и ладно!»

Через час или два (хотя Бог знает, через сколько: время будто остановилось) опять затряс озноб, а вскоре измочило проливным потом, после чего, однако, стало чуть легче. Охая, Кир присел, спустил ноги с нар и нашарил полотенце, чтоб обтереться. И только тут до него дошло, что вокруг - темь, глухая, какая-то завершенная, абсолютная, будто белых ночей и вовсе не существовало... А, ну вот опять, опять, закачал головой. Наська, ее проделки!.. И постанывая, отвалился на нарах... Полотенце бы мокрое кто принес! И аспирина выпить бы все-таки...

Никто ничего не приносил. Снова нашел жар, за ним проливной пот, и так повторялось несколько раз. Кир то ли спал, то ли пребывал в неясной полудреме, проносились какие-то виденья, с кем-то он говорил, кому-то отвечал. Потом показалось, что будто бы свет (утро уже, что ли? - удивился), потом вновь тьма, и сколько времени истекло - день, два? - разобрать было невозможно, да он и не пытался, потому что такая возможность ему не представлялась. Один раз вроде он пил - жадно, большими глотками, - но откуда появилась эта кружка с солоноватой почему-то водой, Бог знает, а может, только прибрелось: уж больно измучила жажда. "Наська!" - зазывал, но ответа не было.

В какой-то момент, обильно пропотев и почувствовав затем облегченье, вспомнил прошлую такую же черную ночь и кликнул на всякий случай:

- Симон, а Симон! - А потом уже себе, безысходно: - Господи, тут человек помирает, а они все как вымерли!

Тот уселся напротив, лысый, в хламиде, свечку зажег, протянул кружку. -

Попей, попей!

Кир приподнялся, выпил, обливаясь, и затем привалился спиной к бревенчатой стене. И вдруг заговорил злобно, ясным голосом:

- Дурак ты, Симон. Я давно хотел сказать тебе это, да случая не было, а ты все мотаешься Бог знает где!

Тот поглядел молча, качнул лысиной и после долгой паузы изрек наконец - тихо, без укоризны:

- А тебя, писатель, задумывали не таким.

- А тебя - таким? - огрызнулся Кир.

Тот опять кивнул:

- И меня. Но меня и не задумывали - в том смысле, как это я разумею. - А, брось! Софистом ты был, им и остался. Глупым софистом! - Кир перевел дух и продолжил: - Ты дурак, говорю я тебе, потому что ты ничего не понимал, а ходил рядом, в очи заглядывал, уши распахивал!.. Ты ни-че-го не понял!

- А ты бы понял? - улыбнулся тот, но тут же вскинул руку, как бы забирая свой вопрос обратно. - Не то я сказал, верно, так нельзя: из одного мира в другой переселять человека и ждать пониманья... Да, ты прав: я не понял - тогда, но тогда никто не понял, ибо еще невозможно было понять. В человеках - тех! - дух еще не вызрел, чтобы проникнуться и принять. И разве достойно поэтому всех представлять дураками, писатель?

Кир уже несколько раз пытался его перебить, поскольку всё заранее понял:

- Я ж говорю: ты - софист! Вы все софисты, действительно, он был прав... Ты, что, со всеми с твоими на иной планете жил? Да вокруг - и среди вас! - мир разумный существовал: цивилизации, эпохи! Две тысячи лет всего-то!.. Тебе, что, назвать имена тех, кто и тогда, и до того сотворил такое, что вошло в музей человеческий?

- Я не из тех.

- А из кого, кого?

- Из толпы. Я рыбарём был, и мыслью моей было, как наловить больше рыбы, писатель. Но явился Он, и призвал меня, и мой подвиг состоял в том, что я... как, кстати, и ты, писатель: ты ведь часто лишь коришь себя за то... в том состоял подвиг мой, повторяю, что я почувствовал Его. Не понял поначалу - да. Но дал Бог - и почувствовал. И не глуп я был, как ты зря полагаешь, а - предуготовлен... А тебя, - он опять улыбнулся, - тебя, такого именно, как ты теперь, там не могло быть. А был бы там, так тем же, кто и мы (да и был там один такой похожий), и, дал бы Бог, ходил бы ты за Ним, и в глаза Его глядел бы, и ловил бы каждое слово Его - то есть, как ты странно выразился, уши распахивал. И ничего не изменил бы, потому что ничего изменить было нельзя.

- О! - усмехнулся Кир и даже заерзал на нарах. - Это мы слышали!.. Глупости! - крикнул. - И изменить можно было, если б вы... не как послушное стадо. Да, и изменить (Он ведь вас просил, просил почти, а вы не услышали, дурни!)... и изменить, и вникнуть, понять! Понять не только, как (это Он оставил), а для чего! Что за этим! Для чего мы, я, например, я - смертный! - Ты бессмертный, - качнул лысиной Симон.

- О господи! - простонал Кир, откидываясь на нары. - Жар опять, кажется... Дай попить!.. - И позвал: - Настасья!

- Нет ее, не зови, - услышал.

- Где она?

- У Него, другого.

- А, знаю... Что ж долго-то так?

- Потерпи.

Кир опять застонал, а Симон встал, поднес ему воду.

- Почему соленая? - удивился Кир. - Морская?

- Пей, пей, - вздохнул тот, потом принял кружку, а остатки воды вылил Киру на грудь. - Потерпи, скоро легче будет. Кровь перемоеется, перегорит и перемоеется. С тобой иначе уже нельзя было.

- А все-таки ты дурак, Симон! - еле прошелестели Кировы жаркие губы. -

Ладно.

- Дурак! Недаром Он тебя Петром нарек. И сам об себя спотыкаешься, и об тебя же другие.

- Думай так, ладно.

- И глаголы - вечные, помнишь?

- Помню.

- Ты-то их слышал? Глаголы вечной жизни.

- Слышал. Но Он их имел.

- Ну так скажи!

- Потом. Перегорит, перемоеется... потом.

- Когда же потом? Ты, поди, опять по свету замотаешься!

- А ты восстанешь и сам, сам! - тихо сказал тот и отошел.

- Настя! - позвал Кир.

- Ее нет, потерпи, - донеслось.

- Ах да! У Него, другого!.. Ладно. Стерва!.. Послушай, Симон, ты еще здесь?..

Так вот... Да где ты?.. Так вот: тебе не показалось... ну, тогда... то есть именно тогда... тебе не показалось, что Он... ну, как бы тебе сказать? ты ж дураком был, ничего не видел!.. Что Он... Симон, ты здесь?.. - Кир приподнялся на локтях, но уперся лишь в тьму: ни свечи, ни этого лысого в хламиде. - О господи! - вздохнул и отвалился. - Ты знаешь, Симон, скажу я тебе по секрету... Мне давно уж кажется, что Он... Да нет, не скажу: тебе всё равно не понять, только выпучишься... Так вот, давай о другом, действительно важном. Знаешь, Симон, я вообще стал думать, что это надо понимать теперь иначе. Разумеешь? Две тысячи лет... ты же сам признал. Мы уходим - кто вперед, кто вбок. Надо догонять и объединять. Не ждать нового пришествия, это сказка для слабых, а догонять, то есть достраивать, додумывать, дописывать - ты разумеешь? Симон!.. Вот отчего я мучусь, жду эти самые глаголы! Ведь есть они, есть. Потому что всё - всегда, но это "всё-всегда" - движется, ты понимаешь! Нужна уже не сверхценная идея для всех, а каждому - идея, но ценная, а цена, в конце концов, одна - добро. Не совесть, а - добро, потому что совесть - рычаг, чтобы поднимать человека из грязи, а добро - когда грязи нет вовсе. Ты слышишь, каких глаголов я жду! И это не утопия, а - религия. То есть не устройство всех, а только - каждого! Чтобы всякий мой грех разъять и объяснить - почему. Может, это и не грех вовсе? Понимаешь? Надо не отделять, а объединять. Белую власть и черную. А до того - в человеке белое и черное. Да и не черное даже - потому что это не черное, а сущее, такое же мое! Надо признать, что черное - такое же мое, не греховное, а - мучительное. Мученическое! Оно имеет право жить с человеком. И потому надо дописать так, чтобы объединить. Всё, всё принять и так повести дальше! Ты слышишь, Симо-о-он? Ты подумай, подумай. Не окончательно же ты дурак вообще-то...

Наползла прохлада - Кир накрылся спальником и положил поверху голые руки... Легче, кажется, почувствовал. Жар спадает вроде... И вспомнил Симоново: "Ты бессмертен". Это как понимать?.. Да, везло прежде, случалось. Выскочил однажды из-под пуль, в другой раз чудом уцелел в землетрясении и, голодный-оборванный, четыре дня в одиночку брал снежный перевал - и выжил, хотя и обморозился, и не говорил потом две недели, когда его подобрали, и плакал, когда

наконец оказался дома и сын запел, и жена говорила потом, что в этот момент, плача, он и поседел: жена села за инструмент, заиграла "Ave Maria" Каччини, а сын запел тонюсеньким чистым голосом (он значился тогда подготавлишкой в хоровом училище) - и вот тут Кир заплакал и поседел... и до того был с проседью, а тут - как лунь.

Да, везло прежде, случалось - выживал, хотя, кстати, мелькала пару раз мысль, что это как чудо, что будто кто выводит, подсказывает, помогает... сначала для чего-то забросит на очередную бойню, а потом помогает: то шепнет "ложись! голову не поднимай!", то, наоборот, "беги! в окно прямо! сейчас рухнет!", то в голодном пути каравай хлеба подкинет, а после, уже на краю истощения-замерзания, человека подставит, который обогреет и накормит... Да, думал об этом, думал, что неспроста такое везенье, неспроста. И вот теперь - то же? Выживу, значит? И дальше? И - страшно подумать! - что, вообще? Симон, за что?!

Горела опять свечка, выхватывая из тьмы дощатый стол и часть стены напротив. Кир очнулся, спустил ноги на пол. Долгим был сон, спокойным - уже здоровым. А время уплыло куда-то, остановилось: часы, когда глянул на них, не шли, и в окошечке календаря ничего не значилось - пустота... Батарейка села, решил привычно, а следом и уразумел, что - выздоровел, выздоровел, всё прошло, всё!

Вот только тьма та же - странно. И ни звука. Будто изба эта выпала не только из времени, но и привычного пространства... А может, подумал, и вправду, уже сентябрь? Сентябрь, ночь - осенняя, не белая? Поди разберись!.. И почувствовал голод. А похудел-то как! - ахнул, разглядев обвисшую вдоль рук кожу и прямо-таки впавший живот. Да, согнал жирок, согнал, как давно уже мечтал... Натянул джинсы, свитер и принялся шарить в углу, где стояли консервные банки. Нашел, прихватил хлеб (не зачерствел, смотри-ка!), нож, банку с подарочной капустой и начал есть - жадно, похрустывая. Напротив уселась Настасья и протянула кулек с кусками сахара. Он вздрогнул от неожиданности, сглотнул, чуть не поперхнувшись.

- Ты что так... как с луны, черт бы тебя побрал! Заикой сделаться можно!

- А что, я сюда стучаться должна? - хохотнула она, блеснув зубами. - Ладно, кушай, миленький! - сменила контральто на сопрано. - Кушай, не отвлекайся.

- Мерси! - съязвил он, но беззлобно, и опять принялся за еду. - А где тебя носило, между прочим? Я тут чуть... А всё ты, ты, конечно, накликала! - А исхудал-то как, миленький! - запричитала она, не обратив вниманья на его слова. Подперла подбородок руками и закачала головой. - Исхудал, кожа - ну прямо висит! Скулы выперли! - Она смотрела ему в глаза, и, хоть не посмеивалась больше, он был уверен, что все это лукавство.

- Ведьма ты, Наська! Старлей прав. Ты и на него, не сомневаюсь, порчу напускала.

- А чтоб не приставал, кобеляка! У него еще молочко, наверно, там, а в душе даже не завязь. Да ладно - тьфу на него! Вот ты - другое дело... Приболел ты, приболел, - принялась опять за свое, - исхудал, ругался зачем-то, человека обидел.

- Пстой! Ты...

- Ладно уж, шучу, шучу! Не обидел, это я так. Другой бы обиделся, да что ж на тебя обижаться-то ясновидящему. Чего-то ты намолол в бреду, а он и задумался - смехота! Они, знаешь, как вот и ты: все думают, думают!.. - И поднялась вдруг, подмигнув: - Ты вот что. Ты наедайся давай побыстрей. А то нам пора.

- Куда? - насторожился он. - Ты и я? Ночью - куда?

- Давай, заканчивай, - будто не расслышала она и добавила уже серьезно, скрываясь за дверь: - Так я тебя жду!

Ждет, значит. А зачем, куда? Отобрала весла, а сейчас что, отдаст? Ночью? Ах, ведьма: не иначе, задумала какую-нибудь новую пакость! Странно лишь, что не страшно. Почему?

И опять вспомнил тот сон - еще у нее дома. Как сидит посреди моря в лодке без весел - и хорошо ему... Да, это она, она, Насья, тот сон ему наслала! А до того, вечером за столом, что-то намекала про планочку, про то, что у всякого свой срок и она про всякий срок знает. Да, так, а он, балда самоуверенная, принял за мистику, не внял, не понял, и ладно не понял - даже не почувствовал! А ведь Симона ругал, называл дураком, хотя сам еще хуже оказался: тот ведь все-таки свое почувствовал, а он, Кир, - нет. А что до понимания, так о том вообще лучше не говорить... Вот так, Симон, хмыкнул зло, мы с тобой стали бессмертными, что не поняли ничего в нужный момент! Ты в свой и я в свой. Глупцы!

- Настасья! - позвал, выйдя в ночь.

Откуда-то она прокричала снизу тонким голосом, и Кир стал осторожно спускаться по камням к берегу.

- Ну, идешь, старенький мой? - улыбнулась, когда увидела его уже вблизи.

- А что ты тут делаешь?

- Да тебя жду. Давай лодку вертать - и на воду.

- Ты с ума сошла? В такую темь?

- Давай, давай! - помыкнула она грубовато и взялась за корму. - Заходи, вертай!

- А весло, весло-то где?

Она не ответила, и Кир различил с трудом, как корма поднялась в ее руках, зависла. Он взялся за нос, и следом лодка плавно перевернулась.

- Заноси бортом и ставь! - скомандовала Настасья. - Я разулась, в воду зайду, а ты сядешь потом.

Он пару раз оскользнулся на влажных камнях и скорее по слуху, чем зрением, определил, что берег кончился. Лодка тихо плюхнула днищем о воду и застыла.

- Там свая старая, помнишь? - послышался Настасьин голос. - Вот с нее и сойдешь, я подплыву.

Сумасшедшая! - подумал. Зачем?.. Но выполнил, как она сказала, зашел на сваю, не совсем ловко спрыгнул и тут же уселся, схватившись за борта, потому что лодку резко качнуло. Затем, перегнувшись, взялся одной рукой за эту сваю, с которой только что спрыгнул, охватил ее всю и подтянул к ней лодку, с собой и Настасьей.

Ничего не было видно: что море, что небо - всё черно. И ни звезды, тьма. Лишь кожа Настасьино лица слабо подсвечивала. И тихо: вода стояла не шевелясь. Он всё еще обнимал свою сваю, боясь ее отпустить. Вся связь с прошлым и настоящим заключалась теперь в этом. Настасья же покачивала головой и усмехалась. Потом ей это надоело, и она сказала:

- Да сколько ж тебе костыль будет нужен, а? Ну, брось, брось!

- Ты соображаешь, Настя? Без весла?!

- Брось, - повторила она, но не строго уже, а почти ласково. - Порви пуповинку, порви! Не бойсь: это взаправду хорошо.

- Да? - поверил он слабо.

- Да, миленький. Да.

Кир разжал пальцы, а потом опустил руку. И вдруг сильно, как мог, оттолкнулся от сваи, продолжив движение резким наклоном спины. Лодка дернулась и плавно скользнула, захлупав передними бортами.

- Вот! - произнес он потрясенно. - Всё?

- Ну, зачем "всё"? - пропела Настасья. - А может, всегда?..

То ли они плыли, то ли стояли - не понять. Нет, наверное, все-таки плыли, потому что, когда Кир изредка опускал руку в воду (теплую почему-то), чувствовалось легкое сопротивление. По-прежнему ничего не было видно, точно внутри огромного черного шара. Даже Настасьино лицо поблекло, сравнялась с тьмой. Лишь оттуда, где она сидела, слышалось ровное сильное дыхание да изредка привычная усмешечка.

- Куда мы, Настя? - позвал Кир, но она не ответила, и он вопросов больше не задавал. Действительно, зачем?

Так сидели - то ли плыли, то ли нет, Настасья замурлыкала какой-то неясный мотив, пробуя разные тональности, Кир закурил и вдруг поймал это: отпустило. Без спирта, без прочего. Отпустило. И хорошо... Потом - минут через десять (или Бог знает, через сколько) - вдруг рассмеялся.

- Ты что? - откликнулась спереди Настасья.

- Знаешь, - все еще смеясь заговорил он, - задницу я отсидел!

- Что-что? - не расслышала она.

- Задницу отсидел, говорю! Сколько мы тут с тобой - сидя? А я под нее ничего не подложил, как делаю обычно в лодке. Вот и ноет. Отсидел!

Настасья расхохоталась - сначала тихо, а затем в голос, высоко, низко, снова высоко, - и Кир - тоже, откидываясь, причитая:

- Так... тут - так!.. а я... задницу! - выдавливал по слову и в конце даже смахнул набежавшую слезу.

- А ты - выдь, походи! - тоже еще давясь, булькнула Настасья.

- Куда? Туда?

- Выдь, выдь! - повторила она, отсмеиваясь, но, кажется, уже серьезно. - Выдь, разомнись!

- Да ты соображаешь? Ты что? Я же...

Но она перебила - мягко, вкрадчиво:

- Не бойсь, старенький мой миленький. Я ж истинно. И ты так же. Ты ведь столько про нее, истину, думал-говорил, а? Ну, давай! Может, теперь тебе это будет не так сложно - дойти. Посмотрим, авось получится.

- Настя!.. - начал он, холодея.

И она ответила:

- Да! Да! - И тут же осветила его вспыхнувшими на мгновение зрачками.

Странно: Кир почти успокоился. Глубоко вдохнул, задержал дыхание, подтянул к животу ноги, а затем перебросил их через борт. Настасья спереди протянула руку.

- Вот, обопрись на нее, - зашептала, - и толкнись. Не бойся, вперед! - Да? - спросил он напоследок, уже ощущая ее узкую сильную кисть. И услышал:

- Да, миленький! Да!

книга вторая
АРМУШ И АНТАНТА

Павлу Черносивову

Всё смешалось в этом богоугодном мире, чего совсем не предвидел Владыка, да простим ему.

Люди - как птицы: в осеннее безвременье, почувствовав беспокойство, они мигрируют в поиске очередной своей вечности. Кто с юга на север, кто, напротив, с севера на юг. А некоторые влекомы не по меридианальным указкам, а исключительно вдоль параллелей. Хотя есть и такие, в жизненном коде которых не записано строгое направление; их судьба - подчиняться всеильному числу "четыре": в одну эпоху - на се вер или запад, в другую - на юг или восток.

А кто они? Ну да, пифагорейцы! Это их души переселяются туда-обратно, что и получило название «метемпсихоз». Красиво, но верно, как и многое у античных греков, тем более среди почитателей чисел. Теперь они редки, но всегда среди остальных прочих. Они слышат гармонию сфер, и число "четыре" для них есть призыв к поиску своей вечности. Это - магический треугольник, и надо только его найти, где "четыре" - одна из сторон, но определяющая. Тогда и построится треугольник прямоугольный (три-четыре-пять). Тогда и отыщешь необходимое: куда лететь-спешить, где кого-что искать. Сие есть знаковое место в нашем повествовании.

Край, который решил дебютировать в нашем повествовании как некая преамбула, теперь выхолаживается рано, и уже в середине сентября набирает силу большой перелет. Вдоль Онеги, Двины, Мезени и других тугих северных рек, к их верховьям и дальше на юг, тянутся стаи журавлей, красавок, аистов, уток и прочих пернатых, а им навстречу, в Приполярье, тяжело волоча на крыльях вату туманов и мелкую изморозь облаков, отмахиваются от земного притяжения большие серые гуси; эти последние уже преодолели большую часть пути, начавшегося из Африки, или Ближнего Востока, или Средиземноморья, и теперь их, усталых, оголодавших, тех, кто выдержал тяжкое странствие, ничто не сможет отвернуть от цели, от вечности.

Они летят навстречу друг другу на разных высотах, и значит, никак не пересекаются. Одни на юг, другие на север. Это непересекающееся переселение птиц, эта строгая геометрия их маршрутов (все-таки скорее стереометрия), еще в юности заставила Армика, тогда жителя Архангела, задуматься о главном.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЕРШАЛАИМ

Старый Армуш уже издавна в Ершалаиме, и его дом - это шук. Шук, или сук по-арабски, значит базар, рынок, а вообще-то, если точно, круг. Геометрия снова! Ровное пространство меж всякими постройками, и на нем с раннего утра до захода светила - столпотворенье. Разноязычные местные, какие-то пришлые торговцы, редкие паломники из всеми забытых земель, но более всего теперь здесь толкаются те, кого называют туристами: европейские бездельники в легких шляпах от палящего солнца и, как правило в шортах, даже старухи, вовсе не стесняющиеся своих жирных дряблых ляжек. Они галдят, кричат, нелепо торгуясь, и Армуш, сидящий на шуке в центре своего ковра, сразу отворачивается, чтобы не видеть эти противные голые ляжки и не подавать виду, что он понимает речи на английском, немецком или итальянском. Он многое понимает и многое знает, и потому главное - не подавать

виду...

Старый Армуш с раннего утра сидит на шукке в центре своего старого ковра, и кто из них старше, ведомо только ветхозаветному Владыке, с коим, между нами, Армуш в непростых отношениях. Но это деталь. Чуть поодаль от ковра стоит опять же старая одинокая повозка (одинокая - то есть без осла), на днище которой всяким вечером Армуш укладывает предметы своей небожкой торговли древностями - все, кроме одного. Ковер пустеет, и еще через пару часов, отужинав за полдрахмы в ближней лавке горячей лепешкой с кружкой овечьего молока, Армуш прямо там же, где торговал, на остывающей каменистой земле, завертывается в свой старый ковер. Владыка, да простим ему, указал вечному Ершалаиму построиться не у теплого моря, а вдалеке от него, в трех днях пути (в трех, если, конечно, в повозку впрячь осла), да ладно, что вдалеке, а вот еще и на высоте восьмиста метров, на холмах, а это значит, что, начиная с месяца кислев и до месяца нисана, город окутан сырým холодом.

Старый Армуш завертывается в старый ковер, и чем более холодает, тем всё больше оборотов делает вместе с ним; в конце концов, ближе к нисану, в центре шукки значится свернутый в рулон грязный ковер, а то, что внутри него спит человек, знают только ночующие здесь же местные торговцы.

Но в этом рулоне, будто в коконе, Армуш ночует не один. Выше сказано, что, закончив очередной торговый день, старик укладывает на днище кривой повозки все свои древности, кроме одной. Да и древность ли она - поди теперь определи ее возраст? Ну да ладно. Короче, это подсвечник. Бронзовый, несомненно, на высокой витой ножке, с четырьмя чашами для свечей, три с боков, одна будто бы в центре. Вот это и странность: поставлены эти чаши явно несимметрично, будто с намеренным перекосом, но тем не менее подсвечник упорно не валится, несмотря на странную вертикаль всей этой выделки на небольшом треугольном подножии.

Значит, сложив древности в повозку, старый Армуш забирает подсвечник с собой, ужинает и, готовясь в центре притихшего ночного шукки совершить почти цирковые кульбиты вместе с ковром, крепко сжимает сей странный предмет в левой ладони. Потом крепко спит. По зиме над ним проплывают белесые рваные облака, низко, грозя задеть, и порой сеет холодный дождь. Однако скоро очередной нисан, а после - очередная огнедышащая жара, особенно в хамсин, весной и осенью, когда из каменной пустыни Негев, что южнее, приплывают раскаленные потоки воздуха. В такие дни шукки пустеет, и Армуш дремлет в тени под повозкой. А в другое время он пытается торговать, сидя в центре пыльного выцветшего ковра, и это длится уже не одно столетье...

На большом ковре расставлено множество предметов, да так, что свободного места между ними, кажется, не сыщешь. Тут есть чему подивиться, особенно знатоку. Но последние приходят на шукку крайне редко, не в пример горланящим туристам, ну а местным или паломникам Армушевы древности совсем не нужны. Что до туристов, то им следовало бы объяснять, какие сокровища перед ними, - тогда торговля пошла бы бойче, но хозяин ковра неразговорчив: он многое знает, и потому главное - не подавать виду. Он все ждет одного человека, однако тот не появляется.

Жарко, душно, лучи светила дробятся, выплясывая на поверхностях бронзы, позолоты, почерневшего серебра, камней, и под прикрытыми веками Армуша плавают бесчисленные радуги. Эта - от фрагмента нагрудной пластины мумии Тутанхамона, эта - от перекупленной у Шлимана горсти монет из сокровищ троянского царя Приама, эта - от нитей ажурного ожерелья несомненно знатной скифской дамы, эта - от алмазной пуговицы русского графа Орлова, которую он и не вздумал поднимать с пола, когда, будучи с посольством где-то в Европе, намеренно резко дернул на груди полы кафтана. И так далее, и так далее. Монеты, бусы,

ожерелья, оклады, части амфор и даже целые амфоры, мелкая античная керамика, луковицы старинных часов, бронзовые пепельницы, всяческие женские безделушки, шкатулки с инкрустациями, портмоне с нитями жемчуга... Где все это собрал Армуш - не нашего ума дело; прожил он уже предостаточно, и для него что одна эпоха, что две или пять - дело привычное, хоть и тяжкое, и нам, зациклено бегущим по узкоколейке быта всего-то шестьдесят-семьдесят лет, можно глядеть на него как на вполне мифическое создание.

Да вот незадача: покупают у него редко. То ли не верят, что на ковре разложены отнюдь не подделки, то ли смущает сам вид неразговорчивого старика, похожего на мумию. Однако когда вдруг объявляется достойный покупатель, эта мумия довольно ловко вскакивает в центре своего ковра и так же ловко, но отнюдь не подобострастно, с достоинством, следует к заинтересованному гостю. Остается лишь дивиться, как ловко старый Армуш делает это, то есть пересекает ковер по диагонали, чтобы оказаться рядом с клиентом: за считанные секунды, будто балерина на пуантах, а то, если угодно, как юноша-газель, он совершает сей маршрут, ни разу не наступив на разложенные древности, хотя там, на ковре, и места-то свободного нету. В общем, уму непостижимо - ведь совсем старик все-таки!

Достигнув края ковра, Армуш всегда встает к покупателю боком. Нет, это не презрение или неуважение: одним глазом он видит подошедшего к нему человека, а другим - свой драгоценный подсвечник, оставшийся стоять в центре ковра среди прочих соблазнов. Подсвечник дороже всего, и без присмотра хозяина ему никак нельзя.

Впрочем, однажды случается странность, не имеющая отношения к предмету, о коем речь. В некий день, среди жаркого сиянья, в тяжком мареве, Армуш видит подошедшую к его коврику пожилую женщину, и она сразу привлекает внимание. Кажется, местная, без паранджи и чачвана, в невзрачной кофте с длинными рукавами и длинной же, до пят, юбке-размахайке. Вот то, что без чачвана, - тут важно: несмотря на марево, Армушу удается разглядеть ее старческое лицо, и он силится вспомнить, где и когда его видел. Нет, не год или два назад, а много-много раньше, когда эта женщина была ослепительно молодой, а то и совсем юной. Дело в том, что еще в молодости Армуш обнаружил в себе странную особенность, да не просто странную, а неприятную, навязчивую: случайно разглядев лицо юной женщины, и именно красивое лицо, он тут же представлял себе, каким оно будет в старости, причем во всех мелких деталях. Однако и наоборот: лицо попавшейся на глаза старухи преображалось в ее портрет ранней молодости. Эта навязчивость поначалу выводила Армуша из себя, но потом он смирился с этим, как и со многим.

А тут, вот странно, не выходит, причем впервые: лицо старухи никак не преображается в юное или молодое. Проходят две секунды, три (вполне достаточно, чтобы случилось привычное преображение во времени, в данном случае - назад), но нет, никак! И будто разочаровавшись в этой самой Армушевой способности, старуха резко поворачивается к нему спиной и исчезает. Армуш только крикает и в сердцах шепчет по-северному: "Шайтан попутал!.."

Однако вернемся к покуда главному. Раз пять или шесть за последнее столетие, да и прежде, подсвечник привлекал внимание. Начиналось привычное: "Хозяин, ну-ка дай посмотреть эту вещь, иди сюда с ней, иди, чего сидишь!" - но Армуш только поводил головой, рассеянно глядел в слепящие небеса, моргал и утирал влагу в углах глаз. Однажды, как по волшебству, из воздуха образовался средних лет перс и, тыча кривым пальцем в подсвечник, а потом на ковер, заговорил на фарси. "Старик, это у тебя что - ковер-самолет? Я покупаю его, сбрось с него все, оставь только вот ту штуковину, которая у тебя под коленкой. Много даю и сразу улетаю". - "Иди своей дорогой, фарс, - на том же наречии ответил Армуш, не изменив позы. -

Ты обознался: это не ковер-самолет, а под моей коленкой ничего нет". Глянул в спящие небеса и больше не проронил ни слова.

Этот подсвечник не продается. Он стоит в центре ковра рядом с сидящим хозяином, а по ночам покоится в его ладони. Армуш ждет - долго ждет, несколько жизней прошло, - что когда-то за подсвечником, нарочито выставленным напоказ, явится вполне определенный человек. Но тот не является.

Вместо него является другой человек, к вечеру, когда Армуш уже убирает свой антиквариат в повозку. Быстро темнеет, шук почти опустел. Пожилой господин в потертом камзоле и низкой черной шляпе, опоясанный черной же муаровой лентой с маленьким значком в виде буквы «О» в центре, сразу же привлекает внимание. "Ага, середина семнадцатого века, флот королевы... или короля... кто тогда управлял Англией? Память, память! Все смешалось в этом богоугодном мире!"

Кряхтя, Армуш совершает очередную ходку к повозке (подсвечник уже у него в руке) и как бы ненароком оказывается возле пришельца.

- Фигурка, что на вашей шляпе, она из золота, сэр? - вопрошает на английском. - Тот в ответ только кивает. - Но этим знаком, если он из золота, насколько мне известно, - продолжает хозяин ковра, - удостаивались только избранные. У остальных - серебро с позолотой, а то и медь.

Пришелец вновь кивает, а Армуш ждет. И наконец слышит на английском, но с явным акцентом:

- Хотите купить? Нет, сей знак не продается. Это единственное, что у меня осталось.

- Понимаю, понимаю, - теперь кивает Армуш. - Единственное, да, это мне знакомо... Значит, сэр, вы - избранный?

- Я был приближенным адмирала. Не по чину, а по сути. Он мне доверял.

Армуш чувствует, как вокруг него сгущается воздух, хотя жара спала. А тут еще его гость указывает на зажатый в ладони подсвечник и вопрошает спокойно, даже безразлично, да нет, скорее устало:

- Это он? Если так, значит, я его нашел наконец. О, Господь, ты все-таки есть!

- Вы уверены, сэр? - шепчет Армуш.

- Три, четыре, пять, - будто заученно проговаривает странный англичанин. - Прямоугольный треугольник, магический. Подсвечник покойного адмирала Генри Моргана.

- Покойного? - чуть ли не вскрикивает Армуш.

Они сидят под навесом в открытом кафе позади шука. Армуш мелко попивает апельсиновый сок, а его гость справился уже со второй кашкой кофе. Через голову Армуша перекинут ремешок холщовой сумки, в коей покоится драгоценный подсвечник.

- Это моя, может быть, последняя слабость - крепкий сладкий кофе, - вздыхает сосед в потертом флотском камзоле. Только сейчас, оказавшись в освещенном помещении, Армуш разглядел, насколько нездоров цвет его морщинистого лица и высохших ладоней: какой-то желтоватый, шафрановый. - Да, крепкий сладкий кофе, - явно с удовольствием повторяет желтоватый старик, - а еще, простите, пососать кубинскую сигару. Как хорошо! Я пристрастился к этому после экспедиций под английским флагом, а точнее, пиратских набегов на Кубу, Венесуэлу и прочие тамошние страны. Воевали с испанцами за господство в Вест-Индии и южнее. Да вы, конечно, все знаете и так.

- Более или менее, - отвечает Армуш.

- Не скромничайте... Ладно, пора мне и представиться вам, уважаемый господин. Моя фамилия - Довер, я француз. Вы говорите по-французски? Да? Ну и пусть, что не слишком хорошо, но окажите милость, а то я истосковался по родному языку за эти чертовы столетия.

- Значит, я буду называть вас месье? Месье Довер, так?

- Спасибо, весьма признателен, - Довер сразу переходит на французский и затем машет официантке: - Еще чашечку кофе с сахаром! А ром у вас есть, ямайский? Ну, тогда две капли рома в кофе. - Это звучит на иврите, а потом вновь возникает французская речь: - Э, начало моей истории...

- Погодите! - перебивает Армуш: его будто что-то осенило. - Ваша фамилия... я где-то ее слышал. Нет, все смешалось в богоугодном мире моей памяти!.. Довер... Стоп! Это имеет отношение к медицине?

Сидящий напротив старика Армуша старик Довер улыбается:

- У вас все в порядке с памятью, милейший, хотя, как я догадываюсь, вы куда старше меня. Только одна деталь: это имеет отношение к медицине не светской, а пиратской.

- Все, молчу! Извините, что перебил.

- Не стоит извинений, месье. Спасибо, что вспомнили... Хорошо, слушайте. Я - из среднего сословия, окончил Сорбонну, бакалавр, а затем и магистр медицины по курсам хирургии и фармакопеи. Пару лет пытался организовать частную практику, но без толка. В общем, не то что бедствовал, а все-таки нужда. И еще влюбился без памяти, но денег даже на свадьбу не хватило бы. Что делать? Решил пойти на флот, врачом, а контракт предложили хороший. Два-три года, думал... В ходе первого же плавания мой фрегат прибыл на Канары, а там залечивал раны испанский галион после стычки с англичанами, и его капитан пополнял команду. Короче говоря, тихий француз Довер стал врачом у драчливых испанцев. Причина? Глупец, дурак! На море, особенно в Вест-Индии, не утихало англо-испанское противостояние, и значит, риск преогромный, но деньги предложили какие! Ах, деньги! Глупец.

Меня взял в плен сам Морган - спасибо Пресвятой Деве, хоть тут повезло! Галион взорвали, я бросился в воду, но пираты выловили меня, как и прочих, и кинули к ногам победителя. Его не интересовали жизни пленных, его интересовали их деньги. Красавец, тридцатипятилетний адмирал на службе Ее величества на Ямайке, предводитель всего пиратства на Карибах и в их окрестностях. А у меня мелкие гроши за душой. "Но перед вами врач, причем хороший врач, - гордо ответил я, глянув в его нахальные глаза". - "Ампутировать умеешь?" - "В том числе. Но это не главное. Главное - вылечивать раненых, Ваше превосходительство", - кое-как удалось мне выговорить на корявом английском. Морган криво усмехнулся и махнул рукой в сторону трюма: "Заковать пока, а там посмотрим". Остальных же повесили на реях...

Он спас мне жизнь, а я платил ему усердным врачеванием и, простите за похвальбу, много в том преуспел. Черт побери, я себя хорошо чувствовал! Как это? Знаете, когда еще студентом я жил в Латинском квартале, одна миленькая проститутка мне сказала: "Я знаю, что это грех, но мое дело мне нравится". Вот так же и я: нет, никого не убивал, но жил среди пиратов и, значит, был пиратом, порою пользовался пленными женщинами, естественно, без их на то встречного желания. В общем, был грешником, однако дело мое, мое отчаянное врачевание, мне нравилось. Я, правда, много преуспел.

Сначала плавал на одном из кораблей флота Моргана, а вскоре адмирал перевел меня к себе на флагман. Год, два, три, и мы стали, нет, не друзьями, потому что он никогда никому не доверял и друзей у него не было. А к тому же я для него еще,

считайте, юнец, десять лет разницы все-таки. Но между нами возникли отношения деловые и спокойные. Хотя я несколько приврал: когда я его лечил, он мне доверял. Ведь мало ли чего я в декокт подмешаю! Ан нет, пил спокойно и сразу. В общем, я стал его личным врачом, помимо того, конечно, что всеми возможными способами лечил моих пиратиков на нашем флагмане и участвовал с ними в королевских экспедициях в Мексике, Никарагуа и опять на Кубе. Тяжело это было - экспедиции, но деваться некуда, а деньги я уже не считал: десять раз жениться было можно, да как-то я потерял к этому интерес. Вот еще и такой мой грех, милейший.

Да, забыл вам сказать, что адмирал Морган, этот беспощадный хитрый пират, наводивший ужас на испанцев, к тому времени был уже губернатором Ямайки и имел в своем распоряжении очень сильный флот. Понятно, какие деньги е нему текли? Да и не только деньги - сокровища, клады! Но о них позже.

Вот вы вспомнили обо мне, потому что, врачуя и забыв, что, по сути, пленный, я кое-что изобрел. Это "кое-что" действительно вошло в историю медицины. Пусть мелочь, но все-таки. Да и не мелочь по тем временам. «Доверов порошок», помните? И не хлопайте себя по лбу, милейший, это и впрямь его изобрел я, имею честь представиться - перед вами именно тот самый Довер собственной персоной!.. Да, обезболивающее средство, аналгетик, легкий наркотик, но не вызывающий зависимости. Сколько жизней я спас, выхаживая почти безнадежных моих пиратиков! А в чем заключалось дело? Найти такое растение, сок которого способен обезболить. Я знал, что такое растение существует, не может не существовать в природе, иначе человечество еще в древние времена не выжило бы.

И я его нашел - на горных лугах Южной Америки, в ходе одной из наших экспедиций. Конечно, интуитивно, пробуя на раненых то одно, то другое - то есть сугубо эмпирически, вы понимаете? Млечный сок, в котором содержатся некий опиат... А далее - дело аптекарского искусства: высушить, смешать с другими составляющими, приготовить порошок. Pulvis Doveri - именно так это название вошло в фармакологические учебники прошлых времен, в том числе на медицинском факультете моей Сорбонны. Вот уж уронили бы слезу тамошние "профессорен", узнав, что сей порошок изобрел их питомец врач-пират!

Ну и наконец, вот об этом, чтобы перейти к главному. - Тут Довер прихватывает желтоватыми пальцами шляпу, уложенную им на соседнем стуле, и ласково оглаживает сверкающий на черной муаровой ленте значок в виде буквы «О». - Действительно золото, - кивает он привычно. - И какое золото! Из сокровища ацтеков. Ну, одного из их кладов. Это в Мексике, там наша братия во главе с адмиралом удачно поживилась в тот год. Эти золотые знаки он вручил близким ему подчиненным, мне тоже. А ваш подсвечник - оттуда же, но он из бронзы. У вас, милейший, подсвечник Моргана, но это - подсвечник ацтеков. Ну, так сказать, ацтеков, то есть взятый у них. И с ним связан один секрет, главный, да...

В ночном кафе, что позади шука, повисает тишина. В черном небе выпирают библейские звезды. Через пару минут Армуш говорит:

- То, что это подсвечник Моргана, я знаю, а про ацтеков - нет. Хотя можно было и догадаться старому дураку.

- Не корите себя, месье, это теперь лишнее. Мы остались одни, ни тех ацтеков, ни Моргана уже нет. - Довер вздыхает, но вдруг улыбается: - Я хоть и старый пират, но и старый врач, потому спрашиваю: мои речи еще не утомили вас, на ночь-то глядя?

- А что, вы устали?

- Догадались. Я все эти годы на ногах с утра. Почему, ну и прочее, главное, давайте отложим на завтра, хорошо? Я приду опять же к вечеру. Вот и славно, что не возражаете. - Он тяжело поднимается, надевает шляпу и протягивает руку. - Рад был познакомиться, искренне рад. А кстати, - удивляется вдруг, - вы так и не

представились, вот забавно-то! Как вас величать?

- Армуш, - отвечает Армуш.

- Армуш? Что за странное имя?

- Да нет, не странное, просто всеми позабытое. Мои давние предки - Армуши, или Арамуши, жили на склонах Аарарата. Может, выходцы из Ковчега, кто их знает.

Главное, ничему не удивляться и не подавать виду, убеждает себя Армуш на шукке, уже завернувшись в свой ковер. Потому что Морган должен быть жив. Как это - его нет на свете? А для кого я веками храню подсвечник? Хотя многое из того, что наговорил Довер - про карибское пиратство и про свой знаменитый порошок, - это правда. А вот про ацтеков... Они не знали бронзы, и как же среди их сокровищ могла оказаться бронзовая вещь? Золотая, да, из серебра, да, но никак не бронзовая! Э, меня не обманешь, тут что-то не так... Ладно, посмотрим. Конечно, не мешало бы спросить, где этот месье остановился в Ершалаиме, но нет, никаких лишних вопросов! Ведь и он не спросил, где я тут ночую. Что ж, посмотрим, что он расскажет завтра...

Назавтра, уже в сумерках, они сидят в том же кафе за тем же столиком. Через голову одного из стариков перекинут ремешок холщовой сумки, в коей подсвечник, а черная шляпа другого с золотым значком в виде буквы «О» покоится рядом на стуле. Довер опять пьет сладкий кофе с двумя каплями ямайского рома, а в промежутках между мелкими глотками посасывает кончик давно потухшей кубинской сигары.

- Не сомневаюсь, месье Армуш, - начинает Довер, - что ваша история не менее интересна и драматична, чем моя, но о вашей истории я не спрашиваю, потому что должен успеть поведать вам свою. Поскольку это, да-да, и ваша история, в чем вы убедитесь, - добавляет он, покивав, как обычно.

- Рассказывайте, месье Довер, я весь вниманье и доверье.

- Спасибо. Я очень надеялся, что если все-таки найду... что этот человек будет мне доверять... Так вот, чтобы вы мне доверяли.

Много позже (к этому я еще вернусь) мне стало известно, что подсвечник Моргана, который сейчас при вас, к ацтекам не имеет никакого отношения - ну, разве кроме самого факта изъятия у них этой вещицы в числе прочих сокровищ, когда Морган орудовал в Мексике. Подсвечник-то действительно бронзовый, а ацтеки бронзы не знали. Артефакт, черт побери! Не сомневаюсь, месье Армуш, вы еще вчера об этом догадались. Да?

Армуш даже смущается. Дело не в похвале, дело в том, что этот Довер ему почему-то симпатичен.

- Ну, точно! - И француз эмоционально хлопает в ладоши. - Но это, то есть про бронзу, артефакт номер один, а вот второй... Второй в том, что у ацтеков не было подсвечников. Оп-ля!

- То есть? - явно недоумевает Армуш.

- О, вот об этом вы не знали, так? Так, так, вам всё известно про драгоценности, но не всё про историю человека. Я и сам такой же дилетант, и то, что вы сейчас услышите, узнал, повторяю, много лет спустя, а от кого - потом, потом... Значит, повторяю: у ацтеков не было подсвечников, потому что они не знали свечей. Все-то! Пользовались факелами и масляными светильниками, как и прочие народы в Новом Свете. Свечи же стали выделывать европейские монахи в раннем средневековье, отливая их из растопленного сала. В общем, этот подсвечник - и как предмет назначения, и как материал, из которого он изготовлен, - сугубо европейского происхождения, и попал он в Америку либо вскоре после Колумба, либо... ну, теперь

ведь почти доказано, что кто-то пересекал Атлантику и до него.

- А Морган знал обо всем этом? - не выдерживает Армуш.

Довер кивает, затем поднимает указательный палец:

- Знал, хотя и не сразу. Потерпите, я дойду до этого места. - И улыбается грустно. - Надеюсь, теперь вы во мне не сомневаетесь? Это действительно подсвечник адмирала Моргана, мечущуюся душу которого, надеюсь, упокоил Господь, и я таки нашел сей предмет, наконец-то нашел, но... но, месье Армуш, я никак не претендую на него. Ни покупать, ни, о Господи, выкрадывать не намерен. Во-первых, потому, что, хоть и был пиратом, никогда не брал чужого, а во-вторых, теперь он, подсвечник Моргана, мне уже не нужен. *Finita la comedia!* К сожаленью. Да нет, к счастью: сколько ж можно!

- Можно долго, - вздыхает Армуш. - Но я слушаю вас дальше.

- Дальше. Вы прекрасно знаете, что история человечества полнится легендами, вымыслами, иногда преднамеренным враньем, а правда встречается куда как редко. То же относится и конкретно к адмиралу-пирату Моргану. Поверьте, я тому пока еще живой свидетель! Отсюда: многое из того, что написано про него в разных современных книгах и справочниках, это если не полная чушь, то что-то в этом роде, особенно когда речь идет о последнем периоде жизни адмирала.

Это началось, как сейчас помню, в 1672 году. Англия внезапно заключила мир с Испанией, и Моргана срочно отозвали из Вест-Индии в метрополию, где, по тайным сведениям, его намеревались бросить в тюрьму как пирата. Воистину, от королевского трона или кресла губернатора до эшафота - всего один шаг.

Вот с этого момента и начинается чистейшее историческое вранье, которое, несомненно, было выгодно двору, а именно: будто прибывшего в Лондон Моргана действительно ожидала казнь, но лишь вмешательство короля спасло жизнь опальному адмиралу и, мало того, по совокупности заслуг перед короной, он получил рыцарское звание. Как теперь говорят, *happy end*. Чушь, никакого счастливого конца не было!

Хитрый лис, Морган имел осведомителей где угодно в Вест-Индии и даже в метрополии, щедро оплачивая их усердие. Получив вызов из Англии, он уже знал, что его ожидает, но сделал вид, что подчиняется. Об этом я догадался через некоторое время, а пока... Пока он погрузился на корабль с небольшой, но отобранной командой своих поделывиков и взял курс на восток. Я был среди этой команды и, честно говоря, поначалу недоумевал, зачем понадобился адмиралу: ведь последний, кто уже вскоре будет при нем, - вовсе не врач, а палач.

Мы плыли через Атлантику, но все более отклонялись к юго-востоку, и вот вместо английского Портсмута перед нами замаячила ненавистная Испания. Морган, я понял, как всегда, задумал нечто такое-эдакое, чтобы обдурить всех. Именно! Потому что тогда адмирал и приоткрылся мне в первый раз: никакой Англии, раз, войти в Средиземное море, два, и там, где-то среди пустыющих побережий, спрятать сокровища ацтеков, это три. Вот они - и Морган указал мне на окованные сундуки под койкой в его каюте. А дальше, спросил я? Он спокойно ответил: уплывем хоть на край света, а через годы, когда наш король предстанет перед Господом, вернемся, отроем сокровища, все разделим, как тому положено, - и домой, в Англию; я не знаю куда ты, Довер, усмехнулся он, наверное, в свою задрипанную Францию, а я к себе в Уэльс. Покою захотелось, навоевался, стану банкиром, черт возьми... А в то время ему было лишь под сорок.

Кстати, о тех двух сундуках под койкой. В одном из них был и ваш... простите, моргановский подсвечник. Но тогда я не думал о каком-то подсвечнике! Эта вещь всплыла в моей жизни существенно позже - как теперь говорят, в следующей серии нашего кино. Да уж, кино!.. Ладно, теперь дальше.

Глухой ночью мы прошли Гибралтар под носом у испанцев и взяли курс на Мальту. Там запаслись провизией, пресной водой, быстро отплыли и вскоре, держа в виду пустынные побережья, стали дрейфовать по Адриатике. К Венеции Морган и не думал приближаться - он искал береговую глушь, поэтому мы смещались на зюйд-ост. Впереди была Греция, а между ней и Италией - будто бы ничейная земля. Один из наших героев, тогда исполнявший роль лоцмана, сказал Моргану: "Адмирал, сэр, у меня нет точной карты этого побережья, но на той, которая есть, обозначен, глядите-ка, полуостров, а как он называется, если как-то и называется, известно только Господу, потому что никаких городов". - "Вот и иди вдоль него и ищи глубокую лагуну", - приказал адмирал-беглец...

Я вас еще не утомил, месье Армуш? - вдруг прерывает свое повествование Довер. - Ну, тогда еще чашечка кофе и последуем дальше... А дальше, - продолжает он, отхлебнув принесенного напитка, - дальше, конечно, самое интересное.

Этот полуостров, если вы заглянете в современную карту Средиземноморья, называется... Нет! - он вдруг поднимает желтоватый палец и усмехается: - нет, не скажу пока, а то исчезнет интрига, а главное, задача моя не будет решена. Ну, некий полуостров «икс», договорились?

Нам таки удалось высмотреть подходящую лагуну, достаточно глубокую. Оказалось, она образована вытекающей из ущелья рекой, тоже глубокой. Мы осторожно вошли в ее устье, бросили якорь, и Морган отправил вверх по ущелью нескольких людей для разведки. Они вернулись через день и сообщили почти невероятное. Это не ущелье, а самый настоящий каньон, высоченный, на дне которого - эта самая река, причем ее глубина на большом протяжении вполне достаточна, чтобы кораблю продвигаться по ней вглубь материка. Сбросы каньона - лесистые, а позади них - горы, горы, и никаких признаков людей или их поселений. В общем, нечто необитаемое.

Так и оказалось. Делая пусть и не более пяти узлов и постоянно промеряя глубину ручным лотом, мы двигались только в светлое время, и на четвертый день Морган высмотрел очень удобное место. На высоте около ста пятидесяти футов - горизонтальная проплешина, вполне достаточная для того, чтобы там разбить удобный лагерь. Что мы и сделали. Побег с Ямайки взял тайм-аут. Кругом никого, только горы и сверкающая внизу река. Можно надежно спрятаться, и надолго.

После обильного ужина, когда впервые за последние недели Морган позволил команде осушить несколько бутылок рома, я сказал ему: "Сэр Генри... - Довер по привычке приподнимает палец: - С некоторых пор он приказал мне обращаться к нему не "адмирал", а именно "сэр Генри"... Сэр Генри, - сказал я ему, - а не построить ли нам здесь надежный форт? Перетащим пушки с судна - и сам черт нам не страшен! Людей нет, вроде бы ничья земля, лесу кругом полно, пресной воды тоже, ну а что до еды, так можно заняться охотой". Он усмехнулся: "Довер, почему все французы скудны умом, только мастаки по женщинам? Через неделю у команды не останется рома, а женщин тут нет вовсе. Команда пиратов без рома и женщин - это уже через месяц страшнее самого сухого пороха. Нельзя сей скот доводить до смертоубийства капитана - я это понял еще двадцать лет назад. - И тут он вдруг посерьезнел. - Вокруг никого, ты сказал, ничья земля? Ты скуден умом, повторяю! Свято место пусто не бывает. Это исхожено-перехоженное место сейчас опустело лишь временно. А вскоре с севера придут италийцы, или с юга толстозадые греки, или славянины в востока. А у нас всего десять пушек, десять, Довер! Нет, у меня другой план, я тебе уже говорил. Надежно спрячем сокровища - и на край света. Вот там и затаимся до времени, а потом... ну, ты понял, кажется? И я в тебе не ошибся, а?"

Я понял, и Морган во мне не ошибся. Однако все происходившее в каньоне далее,

текло как бы мимо меня. Я только видел, что люди Моргана постоянно куда-то уходят на разведку, и однажды в их руках оказались окованные сундуки, которым, как нетрудно было догадаться, нашли надежное тайное место. Эти люди вернулись через день уже без сундуков, а Морган долго сидел перед своим шалашом и все вертел в руках... знаете, что? - тот самый подсвечник. Именно его! Помнится, в моей глупой голове мелькнула и тут же испарилась шальная мысль: и что это адмирал оставил подсвечник ацтеков при себе, не схоронил его со всем прочим? Если б я знал! Но сия тайна открылась мне, повторяюсь, в следующей серии нашего кино.

Через несколько дней наш корабль благополучно вышел по реке из каньона, и Морган взял курс на Марсель. Там нам предстояло разделиться. Я и еще десяток членов команды, пожелавших начать оседлую жизнь в Европе, получили от адмирала неплохие подъемные и сошли на французский берег, в надежде, что через несколько лет Морган вернется за сокровищами и всем раздаст поровну, а ему, как мало кому другому из пиратских предводителей, свято верили. Сам же бывший адмирал вместе с оставшейся командой отплывал - не догадаетесь! - в Австралию! Я был поражен его решением, но на прощанье он мне сказал:

- Довер, поверь, там, в мелких колониях, надежнее всего. Отсижусь, а придет срок, вернусь, возьму свое из каньона и людей не забуду. - Он помолчал, а потом я услышал следующее - внимание, месье Армуш! - Запомни, отыскать эти сокровища ацтеков смогу только я - я, и никто другой! Даже если кто-то из моих людей, - тут он понизил голос, - втайне от меня вернется в каньон, он их не найдет. - И Морган вдруг захохотал по-сатанински. - Никто, только я! Я нашел способ, как надежно засекретить это место, и только мне известна тайна, понял! - Он успокоился и затем даже подмигнул мне: - Тут, Довер, без высших сфер не обошлось и, да, вычислений, геометрии конкретно. Я ведь еще и в навигации разбираюсь, и в топографии, иначе бы не попадал на море и в экспедициях именно в нужную точку... Ладно, а теперь давай договоримся, куда тебе слать почту, только чтобы наверняка. А как меня найти, когда настанет время, ты узнаешь. И умней, умней, француз! - рассмеялся он. - Ты хорошо служил, и мне жаль, что ты меня покидаешь. Ты отличный врач и вполне разумный месье. Руку!..

Честно скажу вам, месье Армуш, я был уверен, что вижу Моргана в последний раз и, поверьте, почувствовал в глазах влагу, тем более после этого рукопожатия. Однако уж не знаю, к счастью или к сожаленью, я ошибся...

Довер приподнимает с соседнего стула свою черную шляпу, нежно оглаживает указательным пальцем золотой ободок в виде буквы «О» и затем, вздохнув, водружает шляпу на голову.

- Да, - как бы подтверждает он этот жест и встает, - да, расстанемся до завтрашнего вечера, месье Армуш. До следующей серии, заключительной.

- Как говорится, то же и те же, - улыбается Довер новым вечером.

- И там же, - вторит ему Аршуш, - там же, если иметь в виду Ершалаим.

- Да, Ершалаим. К этому я еще вернусь... А где мой кофе, черт побери?

Мадмуазель, эй, я жду! И еще: принесите мне полную рюмку рома, ямайского! Бэсэдэр?

Теперь улыбается Армуш: все-таки перед ним старый пират - точнее, врач пиратов. А смотри-ка, на иврите кое-что знает!

- Это я потому - про ром, - что сегодня мы с вами окончательно распрощаемся, месье Армуш, - кивает Довер. - Поэтому позволю себе напоследок. Мне уже не повредит... Теперь слушайте, продолжаю.

Из Марселя, где часть нашей команды рассталась с Морганом, я прибыл в Париж,

нашел там, слава Богу, давнего приятеля по Сорбонне и упросил его: первое - в университетском архиве медицинского факультета отыскать мое свидетельство о звании магистра, снять с него копию и переслать мне, а куда, я дам знать; второе - раз в месяц наведываться в главный почтовый департамент Парижа и узнавать, нет ли для меня письма от некоего господина из Австралии и, если есть, сообщить мне.

Я прожил у того приятеля всего два дня и покинул Париж. Знаете, побаивался, что меня арестуют. Документов при мне никаких, в том числе об ученом звании и договоре о службе на море: все это разом погибло в волнах после взрыва испанского галиона и пленения людьми Моргана. Теперь я стал фактически никем и, наверное, где-то значился погибшим в сражениях.

В общем, некоторое время, пока были деньги, врученные мне адмиралом при расставании, я странствовал по маленьким городкам, чтобы не привлекать внимания, и в конце концов обосновался в бельгийской провинции, в Шарль-ле-Руа. А вскоре мой драгоценный приятель прислал из Парижа заверенную копию моего врачебного звания. Благодаря этому я получил необходимые документы, а затем и главное - частную практику, то, о чем мечтал. Потекла вполне сносная, хоть и одинокая жизнь (мысли о женитьбе меня уже не посещали), и все выпавшее мне за прошедшие десять лет казалось каким-то странным сном, а каким - дурным или прекрасным, я понять не мог.

После побега с Ямайки и последующего поселения в Шарль-ле-Руа прошло, страшно сказать, еще более десяти лет, а Морган не давал о себе знать. Я вспоминал о нем все реже и в эти моменты недоумевал: беспощадный пират, хитрый дипломат, но по-своему справедливый человек, он был точным, даже скрупулезным и слов на ветер не бросал. Значит, что-то с ним случилось. Если так, то жаль, и дело было вовсе не в предназначавшейся мне по уговору доле сокровищ, зарытых в каньоне на Адриатике. Поверьте, месье Армуш, деньги никогда не составляли смысл моей жизни - и до сих пор тоже.

Значит, я спокойно жил, спокойно практиковал, купил скромный, но очень уютный дом и стал в маленьком Шарль-ле-Руа вполне уважаемым человеком. Бурное прошлое вспоминалось, но изредка. И вот как гром среди ясного неба: в 1687 году пришло сообщение от парижского приятеля, что в почтовом департаменте меня ожидает письмо из Австралии от некоего господина. В тот момент мне было сорок два года, Моргану на десять лет больше.

Я тут же отписал в департамент, чтобы корреспонденцию переслали мне по такому-то адресу, и приложил положенную доверенность. Недели через три получил небольшой пакет со странными печатями и королевским штемпелем, ну да Бог с ними, этими англичанами, потому что, вскрыв пакет, узнал почерк Моргана; я знал его почерк, поверьте.

Очень дипломатично составленный текст без подписи. Автор письма просил в самое же ближайшее время прибыть к нему в Австралию (точный адрес прилагался), а все сделанные на то расходы будут компенсированы.

Черт возьми, как-то странно я относился к этому человеку! Он взял меня в плен, но не повесил, а спас мне жизнь, а еще через пару лет между нами возникли вполне приличные отношения, и адмирал доверял мне, а он, как я уже сказал, никому не доверял. Странно. Странно и то, что, грабя и убивая, он всегда держал слово перед командой и эти головорезы боялись его, да, но и боготворили, а потому шли за ним до конца. А я? Я честно делал свое лекарское дело, и теперь ясно, со временем даже не отдавал себе отчета в том, что Морган мне... как бы это выразить? - симпатичен. Ну и личность, конечно! Такого нельзя не уважать.

Всё это всколыхнулось во мне, едва я дочитал его письмо, его призыв. Призыв - вот что сейчас главное, стало понятно. Потому что, кажется, что-то случилось все-

таки. Он взял меня в плен, но и спас жизнь, и теперь я не имею права отвергнуть его призыв...

Осушив рюмку с ромом, Довер видимо прикидывает, не заказать ли еще одну, но вместо этого берется обсасывать кончик сигары.

- Переходим к финалу, месье Армуш? А то и к эпилогу, если иметь в виду Моргана. Слушайте же.

Утомлять вас подробностями не буду. Мой корабль оказался в Мельбурне через три месяца после начала этого авантюрного путешествия, а как я туда доплыл - теперь совсем не важно, хотя упомяну одно: огибая юг Африки, на траверзе мыса Игольного, мы попали в такую трепку, что думал, все, конец! Но Бог упас... Ладно, Австралия. Дело было уже в начале 1688 года, в январе, то есть в разгаре тамошнего лета. Жара несусветная! А мне еще предстояло сухопутное путешествие к северу этого континента в Новый Южный Уэльс, в городок Олберн на берегу Муррея. Вот такой парадокс: на север в Южный Уэльс! Ну так это ж Австралия, черт побери! Но я подумал, что Морган, родившийся в английском Уэльсе, выбрал место обитания именно там не случайно: глухомань, но пусть какая, а почти родина.

Там, в Олберне, отыскав его, я увидел, что он состарился не на пятнадцать лет: этому пятидесятитрехлетнему человеку можно было дать все семьдесят, а то и больше. И я сразу все понял, поскольку все-таки не такой уж плохой врач: его лицо было то, что называется "маска Гиппократ" - показатель смертельного заболевания брюшной полости, маска смерти.

Он принял меня спокойно, сохраняя прежнее достоинство, но было видно, с удовлетворением, может быть, даже скрываемой радостью. На столе - всегдашний наш ром, всякая еда, но он не пил и почти не ел. Насыщался оголодавший за время странствия я. Но потом Морган закурил-таки сигару и начал свой рассказ. Собственно, за этим он и вызвал меня из далекой Европы... Вы опять весь внимание, месье Армуш?

"Дело печальное, Довер, но ты врач, тебе не привыкать. Я серьезно болен и, кажется, долго не протяну, а самая подлость в том, что силы меня оставили - еле хожу. Но я позвал тебя не как врача или даже священника, а как... как наследника. Не скидывай брови, а лучше еще глотни рому и слушай.

Мы зарыли сокровища ацтеков в том каньоне, и только я точно знаю, в каком именно месте, хотя люди, бывшие со мной, приблизительно могли бы уставить туда свои корявые пальцы: вон за той дальней вершиной, на каких-то там склонах. Приблизительно! Это ж сто лет копать не перекопать!.. А вся тайна в том, что есть... вернее, был прибор, с помощью которого я мог бы указать совершенно точное место. Да это даже не прибор, а именно указатель, так я его и называл. Мистическая история.

Помнишь нашу экспедицию в Мексику за золотом ацтеков? Ну нашли, ну взяли, вернулись на Ямайку. Большую часть, как и положено, я отправил морем в королевскую казну, а кое-что, и немалое, оставил у себя. Среди этого "кое-чего" был и странный бронзовый подсвечник - вещица менее дорогая, чем золотые украшения, но... Еще в Мексике мне поведал один местный старик (кстати, уверявший, что сам ацтек), будто этот подсвечник - священный, поскольку "много знает", как он выразился. Три чаши для свечей, если их условно соединить, образуют фигуру прямоугольного треугольника, стороны которого равны или пропорциональны числам 3, 4, 5. Скажем, три дюйма и четыре дюйма - это катеты, а гипотенуза - пять дюймов. Или 6-8-10, и тому подобное, вернее пропорциональное. Это и есть магический треугольник - гармония сфер, как сказал тот старик.

Мне было плевать на его лепет, но я взял подсвечник и стал рассматривать. И тут старик добавил: этот подсвечник магический потому, что он указательный; он может

знать нужное место и указать на него. Что за место? - спросил я старика. Тот пожал плечами: то, которое нужно владыке подсвечника; одному владыке - где сокрыто истинное знание, другому - где несметные сокровища. Мне подходит последнее, ответил я ему и прихватил подсвечник с собой.

Хитрый старик! Я оставил его в живых, а он меня обманул. Точнее, не поведал об очень важной детали - о том, что подсвечник может выполнить свое главное предназначение только в содружестве с главным знаком в пространстве. То есть вселенским знаком. Знаешь, что это? Полярная звезда, главный знак Северного полушария, центр нашей сферы. Именно Северного, и именно тех широт, где Полярная звезда стоит почти в зените, что к Мексике уже не относится. Вот так! Потому что, во-первых, этот подсвечник отнюдь не ацтекский, а - не удивляйся - европейский! Да-да, каким-то чудным образом он попал к ацтекам именно из Европы. Слушай, как я это узнал..."

Довер берет паузу, потом усмехается:

- Нет, все-таки я закажу еще рюмочку. Да, разволновался, простите. Ведь я, месье Армуш, веками так долго не разговаривал, отвык. Эй, мадмуазель!.. Так вот, - продолжает он, уже отхлебнув, - после этого Морган и рассказал мне то, о чем я вам поведал вчера, а именно: почему сей подсвечник, так сказать, европейского производства. Однако тайна-то в нем есть, есть, как оказалось!

Был у Моргана на Ямайке очень ценный для него человек. Действительно очень ценный, и именно для Моргана. Средних лет еврей по фамилии, как сейчас помню, Ротфилд. Ювелир и антиквар в одном лице. Едва лишь став губернатором Ямайки, Морган выписал его из Лондона, где, несмотря на упорный антисемитизм, всегда пользовались знаниями и деловой сметкой осевших в Англии иудеев.

Этот самый тихий Ротфилд не плавал с нами по бурным морям, а сидел на Ямайке в Кингстоне и ожидал очередного вызова адмирала. Когда в руках Моргана оказывался стоящий товар, то есть драгоценности, Ротфилд по вызову являлся во дворец и оценивал. Оценщиком он был, конечно, высококлассным. Благодаря этому Морган отделял "самое-самое" и оставлял его при себе, а остальное, и в большом количестве, отправлял через Атлантику ко двору, в казну.

После нашей мексиканской экспедиции Морган призвал Ротфилда, чтобы тот оценил драгоценности ацтеков. Иудей честно сделал свое дело, указав на "самое-самое", но в числе прочего покрутил в руках бронзовый подсвечник и вот тут-то, к удивлению адмирала, поведал ему, что сей изящный предмет никак не может быть по происхождению ацтекским. Почему - вы, месье Армуш, уже знаете, а я узнал это только в Австралии.

Морган, по его словам, был в ярости, однако тихий Ротфилд попросил еще раз пересказать слова старого ацтека про то, что этот подсвечник "много знает". Успокоившись, Морган пересказал. Ротфилд молча крутил-вертел в руках бронзовый предмет.

В общем, месье Армуш, оказалось, что этот подсвечник не только (и не столько!) красивая вещица для свечей, а действительно инструмент. Я тогда далеко не все понял из того, о чем мне говорил Морган, поскольку совсем не мастак в топографии, однако вот какая штука! Ну ладно, прямоугольный треугольник, но благодаря Ротфилду выяснилось, что у подсвечника есть подвижные части - чашечки для свечей, которые, поворачиваясь, могут подниматься и опускаться. Чтобы это продемонстрировать, Ротфилд на глазах у Моргана приложил к тому определенные усилия: подсвечник-то уже старый! А на дне средней чашечки через ее центр нанесены две пересекающиеся под прямым углом риски. Короче говоря, понял Морган, с помощью этих хитростей, ну и ориентации одной из чашечек на Полярную звезду, этот самый подсвечник можно использовать для точного определения какой-

либо точки на местности. То есть у вас в руках все пространственные ориентиры... Да, штука старинная, уж лет двести ей тогда было, а компас и примитивный секстант-угломер в то время повсюду использовали на море и на суше, поэтому кому бы пришло в голову, что этот бронзовый подсвечник - топографический инструмент? Да никому! Вот только тихий иудей Ротфилд догадался: никак пару раз видел подобные поделки, копаясь в средневековых драгоценностях... И вот после этого, месье Армуш, давайте я снова передам слово Моргану. Слушайте.

- Ну, ты все понял? - спросил он. Я сделал вид, что понял, хотя, повторяю, никогда не был силен в вычислениях. - А где искать, тоже понял?

- Адриатика, каньон... - начал я, но он перебил:

- Черт тебя дери, эскулап! Да, Адриатика, но полуостров, полуостров! Истрия называется, запомни! И там тот каньон, и там река, и там та самое место - наша поляна, где ты, помнится, предлагал мне построить форт. - Он рассмеялся. - Смотри, это для скудоумных.

Морган тяжело поднялся и извлек из бюро сложенный пополам лист мягкого картона. Я глянул в него. Рисунок. Северная дуга Адриатического моря, на восточном исходе которой, среди изрезанных побережий, довольно крупный полуостров; почти в центре его западной части - впадающая в море река; к этому самому месту рукой Моргана пририсована жирная стрелка со стороны моря. И все, если не считать мелкой строчки внизу: 1688, Олберн.

- Понял? - повторил он уже не в первый раз. Я опять кивнул. - Истрия, Истрия, вдолби себе в голову! - И сел, часто дыша...

Поверьте, месье Армуш, в тот момент я больше думал о его заболевании, а не о каких-то ацтеках с их драгоценностями. Но Морган думал именно о последнем - навязчиво, как человек (больной человек), обязанный выполнить определенный, может быть, главный, долг. Ему было важно все, даже мелкие подробности.

- А вот послушай еще, Довер, это очень существенно, - заговорил он, когда у него стихла одышка. - М-да, как точно я сделал!.. Нет, плесни-ка мне рому на дно рюмки. За такое можно и выпить... Так вот. Значит, мы нашли хорошее местечко на дальнем склоне, почти у вершины, сделали лаз, внутри расширили его и там припрятали сундуки. На эту работу ушел целый день. А теперь мне надо было правильно и четко зафиксировать это место - где спрятан клад. Как зафиксировать? С помощью подсвечника, конечно.

Отгоризонтировав положение его основания, я взял засечки через центральную чашечку на две ближайшие вершины. Затем покрутил две другие чашечки и выставил их на нужную высоту. Ночью взял засечку через третью чашечку и центр на Полярную звезду. Однако теперь возникла новая задача: как все эти углы и высоты закрепить на самом подсвечнике? Ты меня понимаешь? Да не кивай - по глазам вижу, что нет!

Дело в том, эскулап, что все детали на подсвечнике следовало зафиксировать, причем намертво! Ведь если, не дай Бог, хоть какая-то деталь случайно повернется даже на небольшой угол или изменится высота чашечек - все пропало! Скажем, завтра я несу подсвечник, вдруг спотыкаюсь и задеваю по нему коленом. Все, конец!

Но нет, меня не обыграешь, вот так! Прямо у места захоронения клада я приказал моим людям развести небольшой костер и в тигле-пулелейке расплавить порцию свинца. Что и было сделано: пули-то при нас всегда. А дальше я залил жидким свинцом все подвижные детали подсвечника. Все! Теперь его можно было хранить вечно и где угодно, потому что изменить в нем ничего уже нельзя. Понял, француз!..

Кажется, я что-то понял. А по лицу Моргана разлилось довольство, он даже улыбнулся, как-то расправив свою "маску Гиппократову".

- Наутро мы двинулись в обратный путь, на нашу поляну. Уже немного

спустившись, я высмотрел ее через подзорную трубу. Да, долго идти и сложно, по крутизне, но оказалось, наша поляна и склон с местом, где, замаскировав его, мы спрятали сокровища, все-таки на одной прямой. Но это меня не взволновало: мало ли тут склонов и вершин, которые с поляной на одной прямой! Нет, координаты, координаты, а они - это мой подсвечник!

Но вот в чем главная печаль. - Морган поморщился и даже сплюнул себе под ноги. - Рисунок - Бог с ним, по нему никто, кроме меня, ничего не найдет, а вот подсвечник, подсвечник, который и есть единственный указатель! Этот подсвечник у меня украли. У меня! У которого ни шиллинга, ни песо никто не смел взять!... Это случилось здесь, в этом доме, лет десять назад. Со мной жил один человек из старой команды, и мы все ждали, когда отдаст концы наш мудрый король, чтобы еще через некоторое время вернуться в Европу за сокровищами. Но наш король оказался крепким малым. Короче говоря, этому ублюдку Енсену, похоже, надоело ждать, он обчистил меня и пропал. Взял, в общем-то, сущие мелочи, потому что свои драгоценности я поместил в ценные бумаги и все храню в банке. Но он утащил подсвечник, понимаешь, подсвечник! Я с ним не расставался и прятал в тайнике, но... Вот так. Поэтому я тебе, Довер, и не писал все это время. О чем писать? О том, что мой план лопнул?

Лопнул? Нет, меня не обыграешь, хоть теперь я одной ногой уже в могиле. Не обыграешь, повторяю! А значит, слушай дальше, француз.

Этот Енсен, беспалый Енсен, ты должен его помнить, потому что не кто иной, как ты, ампутировал ему пальцы после сражения за панамский Порто-Бело.

- Ошибаетесь, сэр Генри, - не преминул вставить я, поскольку во врачебных делах люблю точность. - Этому Енсену я ампутировал три пальца правой руки - да, *amputatio tre dextra*, - а потом два оставшихся образовали как бы клешню, которой он исправно пользовался на потеху всей команде.

Морган хохотнул:

- Ты прав, эскулап, помню... Ладно, дальше. Этот беспалый Енсен, как мы его звали, утащил мой подсвечник и сгинул. Дурак, он ведь не догадывался о предназначении магического предмета, однако лишил меня возможности поиска. Меня и себя, между прочим. Воистину дурак!.. Понятно, думал я, он продаст подсвечник на каком-нибудь базаре, получит неплохие деньги - старинная штука все-таки и из бронзы, - а потом будет пропивать их. Да черт с ним, с Енсеном, дело-то в подсвечнике! Возможно, думал я потом, он опять станет предметом торговли и его можно будет найти на одном из рынков Европы, или Востока, или... Но я никак не мог вернуться в Европу по понятной тебе причине. И ждал. И вот дождался этой моей болезни. И вскоре понял, что уже никуда и никогда не двинусь.

Знаешь, такому человеку, как я, непросто смириться. Несколько лет ушло на это. Но настал день, и дошло: меня не обыграешь, да, но теперь... теперь должен быть кто-то, кому я открою эту тайну. Да нет, завещаю ему - и вовсе не подсвечник, поскольку он только указатель, а сокровища, остающиеся в каньоне. Конечно, это ты, Довер. И я вызвал тебя. И ты приплыл. Молодец. Держи мой рисунок!

- Сэр Генри, - начал было я, но он махнул рукой:

- Слушай и не перебивай адмирала!.. Ценные бумаги, которые в банке, я тебе их завещаю, обернешь в деньги, операция не мудреная, расскажу. Похоронишь меня, это теперь скоро, и вернешься в Европу. Ты сказал мне, что имеешь частную практику. Вот, продашь ее, тоже немалые деньги. И еще ты сказал, что не женат, - опять же удачно. Одиноким человек - это свободный человек, а свободный человек - это странник. Именно таким подвластно понимание мира, его сути. Поэтому ты, Довер, обязан найти подсвечник! Ты начнешь странствовать по рынкам, базарам, по странам Европы, потом Восток, ну и так далее, если удача не придет к тебе уже

вскоре. Отыщешь его, купишь, а затем... затем, ты понял - в каньон. Все, что там, - твое, и распорядись им, как считаешь правильным. Это мой тебе завет. Все! И никаких слов благодарности!..

Сказав это, Довер смолк. Но через минуту продолжает свой рассказ.

- Вот так, месье Армуш, вот так. Дело было в январе, а в августе того же 1688 года Моргана не стало. У него был рак, знаете ли. И Доверовы порошки уже не приносили ему облегчения от сильных болей. Все мы, бывшие пираты, помираем от рака. Какая-то кара Господня. Хотя, да, не все ли равно, от чего. Но все-таки в пятьдесят три года...

За несколько месяцев до смерти он принялся упорно учить меня топографии и картографии, в том числе тому, как с помощью подсвечника, если я его отыщу, найти клад ацтеков. Учил и злился, если мне не удавалось что-то запомнить сразу. В общем, навязчивость очень больного человека, простим ему. Но во многом я разобрался, как ни странно. Да только зачем?..

Я похоронил его там же, в Олберне, на небольшом англиканском кладбище. Заказал и поставил скромную плиту, на которой, как просил Морган, всего три слова: "Адмирал волею Англии". И все, представляете, и все!

Есть ли там теперь это кладбище, не знаю - полагаю, вряд ли: ведь более трех столетий прошло. Небось сплошные коттеджи, площадки для гольфа. Но кости Моргана там целы, уверяю вас как врач. Кости людей, да и прочих животных, не подвержены тлению. Так и лежат в глубине. Поэтому под нами - земля костей. Да, мы с вами живем на планете костей. Планета костей! И никакая вселенская сила этого не изменит...

Довер коротко кидает взгляд вверх, потом спокойно говорит:

- Желаете знать, что было дальше, если коротко? Я выполнил наказ Моргана: вернулся домой, продал свою врачебную практику и все это время странствовал по разным землям, по рынкам и базарам, но везенья мне не было. Ну что Агасфер! Много претерпел, а того самого подсвечника так и не нашел. Состарился. Да нет, не то что состарился, поскольку стариком стал давно, а вот силы ушли, будто усохли. И в конце концов я пришел сюда, в Ершалаим. Почему в конце концов? Потому что недавно почувствовал, что во мне тоже завелась серьезная болезнь, последняя, а где умирать христианину, как не в городе Господа нашего? Я пришел сюда и - о чудо! - увидел мой... наш подсвечник. Морган, как всегда, оказался прав: этот подсвечник - такой же странник, и надо, чтобы один странник нашел другого. Хотя теперь нас трое: подсвечник, я и вы, дорогой месье Армуш.

Вот и вся моя история - простите, если утомил. И мне недолго осталось. Я хороший врач и уж кому-кому, а себе поставить диагноз могу без труда. У меня рак печени, а еще и с блокадой желчных протоков. Видите, как пожелтел? Скоро стану совсем желтым, как золото ацтеков, ха-ха! Вероятно, это месть за наши грехи. И потому золото не досталось ни Моргану, ни мне... А вы грешны, месье Армуш? - вдруг спрашивает Довер.

- Да, грешен, - после паузы отвечает Армуш.

- Ну, визнавать не буду, дело интимное... А я, я хочу быть похороненным здесь на католическом кладбище. Оно тут есть, мне сказали.

- Тут все есть. У большой базилики, что напротив северной стены Старого города.

- Да, я католик, а вы, простите за деликатный вопрос, вы кто по вере?

- Порой мне сложно дать определенный ответ, - тихо говорит Армуш. - Мои древние предки, Арамуши, чтити единого бога, Владыку, но он нередко изменял себе и своим чадам. Потому у меня к нему непростое отношение. Мне кажется, мы соседствуем. Я не имею права его судить, а уж он меня тем более. Да-да, мы соседствуем. Как два жильца в одном доме, но нам желательно не пересекаться в

подъезде.

Довер только разводит руками:

- Что ж, это ваша проблема. И значит, напоследок. Вы уже поняли? Я вам открылся, моя история, моя тайна перед вами, у меня теперь нет ничего, кроме злосчастливого рака и скорой смерти, а у вас есть подсвечник. Но вот что еще. - Довер прячет руку за полый сюртука и извлекает оттуда сложенный вдвое лист мягкого картона. - Это тот самый рисунок Моргана. Я отдаю его вам, месье Армуш. Теперь только вы - владелец тайны, подсвечника и этого рисунка. Вы обязаны отыскать те самые сокровища и затем распорядиться ими по своему усмотрению. Ну, негоже им столько лет томиться в земле!

Армуш молчит, и так длится, верно, с минуту. А Довер, как ни странно, улыбается.

- Я никогда не брал и не беру чужого, - наконец проговаривает Армуш.

- Не сомневаюсь. Но с давних пор это уже не чужое, это ничье. Как сказал Морган, и ацтеков тех нет. Берите и владейте. Я знаю, что вы этим достойно распорядитесь. Договорились? Спрячьте, спрячьте рисунок, месье, все-таки рука самого Моргана, раритет! Вот и чудесно.

- Странно, - говорит Армуш.

- Что странно?

- Всё. Как задал Владыка, мы - это непересекающиеся маршруты: кто с севера на юг, кто наоборот. А вот мы пересеклись. Зачем? Или исходное опять неверно? Вы мне отдаете тайный ключ к поиску сокровищ, а зачем? И что изменится в мире, если я их отыщу?

- В мире ничего, - чуть напрягает голос Довер, - в мире - ничего, изменится в вас.

- Это интересно! - усмехается Армуш.

- Не иронизируйте, прошу вас. Давайте выполним завет Моргана. Он знал, кому отдавать тайну. Он - мне, я - вам... И кстати: ну ладно, пусть я хороший врач, но в точных науках, увы, не разбираюсь, поэтому уроки Моргана по топографии осилил едва и кое-как. А вы, вы поняли из моего рассказа, как воспользоваться подсвечником?

- Вполне. Я хорошо учился по математике и географию обожал. К тому же потом плавал немало.

- Ну, слава Богу!..

В ночном кафе тихо, если не прислушиваться к голосам у стойки бара; оттуда же звучит ритмичная мелодия, но спасибо, едва-едва. "Похоже, пора прощаться", - думает Армуш, однако уже не в первый раз за эти вечера с Довером ловит себя на одной мысли. Хотя и неловко как-то. Но вот наконец решается.

- О том, чтобы не доверять вам, и речи нет. И то, что писаная история людей полна вранья, знаю тоже. Но я не провидец или всезнайка, хоть не столько участник, сколько наблюдатель, но знаете, стереотипное мышление порой подводит. Конечно, услышав от того человека с клешней... от вашего Енсена, что купленный мной у него подсвечник - это подсвечник самого Моргана, я потом кое-что узнавал: ну, интересно все-таки. По сведениям, которые мне попались, Моргана с Ямайки вызвали в Англию, посадили в тюрьму, да, его ожидала казнь, но после вмешательства короля опального адмирала не просто простили, а вернули на Ямайку в качестве военного советника губернатора. Вот! А вы, месье Довер, живописали мне совсем другой сюжет: вместо Англии - побег, Средиземное море и затем Австралия, где Морган скончался и вы его похоронили. А Енсен убеждал меня, что Морган - вечный и когда-нибудь явится за своим подсвечником, и я не сомневался в этом, потому хранил его и ждал хозяина, ждал и ждал. Согласитесь, эти два сюжета не так-то просто совместить в одной бедной голове.

- Соглашаюсь и, более того, понимаю. Я ведь и сам кое-что узнавал про, так

сказать, дальнейшую жизнь Моргана. О, Пресвятая Дева! Надеюсь, вы убедились, что я не сумасшедший? Повторяю вам: все случившееся с Морганом... вернее, вокруг Моргана после 1672 года, после его внезапного побега, было выгодно королевскому двору. Ну, высочайшая милость, ну, почти триумфальное возвращение на Ямайку. Он был им еще нужен, очень нужен! Он - точнее, его образ. И тогда они придумали... да, двойника. Придумали и создали этого двойника, причем очень убедительного двойника - такого, кого признали как истинного Моргана не только чиновники в Кингстоне, но главное, его пираты. Удалось. Кстати, в мировой истории подобные номера проходили неоднократно. Хотите доказательств - ну, про Моргана, конечно?

- Нет, не хочу, - отвечает Армуш, - я вам верю.

- И все-таки. Нет, не для вас, для себя, дайте высказаться! Этих доказательств три: первое и третье - прямые, второе косвенное. Первое прямое - рисунок Моргана, который теперь у вас: там его рука и выписанные им дата и место - 1688 год, Олберн. Такое сфальсифицировать, поверьте, мне было никак не под силу. Третье доказательство, тоже прямое: вот вы найдете тот наш каньон, а там, благодаря подсвечнику Моргана, узнаете точное место и отроете сокровища ацтеков - и что же еще доказывать? Этого более чем достаточно.

Но есть еще одно доказательство - да, косвенное, но очень важное, как я уверен. По официальным британским данным, Морган в 1674 году вернулся на Ямайку, и главным его заданием как военного советника губернатора по приказу короны было знаете что? Очистить воды Карибского моря от пиратов! В чем адмирал-пират очень преуспел всего лет за десять. Последнее - правда, как правда и то, что этого не мог сделать Морган, истинный Морган, или, если вам угодно, Морган-1. Морган-1, хоть с совестью у него были проблемы, никогда на такое не пошел бы. У пиратов существовал свой непререкаемый кодекс чести, уж поверьте мне: брать чужое - только пальцем помани, а гробить своих - никогда. Поэтому утверждаю: гробил своих не Морган-1, а Морган-2. Вот вам три моих доказательства, - и тут Довер тихо усмехается: - ну, не пять, как в случае доказательства бытия Божия, а три, но этого вполне достаточно.

Армуш только кивает и поднимается.

- Жаль, но будем прощаться, что ж.

- Да, конечно. Однако еще один вопрос, уж простите любопытного француза. Где и как вам достался этот подсвечник?

- Так я уже сказал об этом! Купил на большом развале базара в Александрии у упомянутого вами человека с клешней на правой руке. У вашего Енсена. Такого нельзя было не запомнить. Тем более что, получив деньги, он вдруг зашептал мне, будто сумасшедший: "Я болен, я страшно болен, у меня неизлечимая болезнь! Это проклятие Моргана, того самого адмирала-пирата! Он явится за этим подсвечником, явится, поверьте, сударь, хоть через двести лет, он вечный, если не бессмертный! Это вещь его. Уж вы ему отдайте. А я избавляюсь от нее, все, все, теперь я чист перед Господом!.." Вот так этот предмет и попал ко мне. И я все ждал, что Морган явится за ним. Я ошибся: не знал, что он вскоре умер, как вы мне поведали.

- Значит, и бандит Енсен умер от рака! - вздыхает Довер и поднимается из-за стола. - Вот так всех нас, вот так!.. Да сопутствуют вам здоровье и удача, месье Армуш.

Они выходят из кафе. Ночь. Сверху выпирают библейские звезды, в траве и мелких кустах оглушительно стрекочут цикады.

- Простите за деликатный вопрос, месье Довер, - кашлянув, говорит Армуш. - Вам нужны средства?

- Нет, теперь совершенно нет, поверьте. Мне ничего не надо, я очень устал за

столетья странствий, а еще и смертельно болен. Вот этого, - тут Довер снимает шляпу и привычным жестом оглаживает золотой значок, - этого мне вполне хватит на последнее. Продам. Уж вы-то знаете цену золоту древних. Поэтому делайте свое. Sum qui que – каждому свое, как говорили латиняне. Честь имею.

- Цобэ, цобэ! - покрикивает Армуш, сидя в повозке-развалюхе, но та, вот чудеса, нормально катится, да и осёл вполне хорош, торговец не обманул. Вот только жарко очень, а на повозке нет ни тента, ни, понятно, крыши, не то что у мчащихся здесь же автомобилей. Впрочем, этим же не могут похвастаться всадники, колесницы или двухколесные арбы. Иудеи, арабы, римляне, тюрки, странники и паломники, европейские наглые туристы - кого только нет тут, на Святой земле, в частности вот на этой прекрасной дороге, называемой шоссе, которая ведет из Ершалаима в Хайфу, и именно туда, в порт, Армуш держит путь уже третий день. Воистину все смешалось в этом богоугодном мире, чего совсем не предвидел Владыка, да простим ему.

Повозка, спасибо ослу, бойко катится, а Армуш вспоминает, как покинул Ершалаим.

- Хай, - представился он, явившись на Армянское подворье в Старом городе.

- Хай, - спокойно произнес черный монах, но видимо удивился. Хай - так называли себя древние армяне.

Армуш любил это место. Тут всегда было тихо и как-то отрешенно ото всего, что происходило буквально рядом за невысокими стенами обители. И зелено. В кипарисах выпевали дрозды, и кедр, будто птица кондор, изредка и мягко, неслышно кивал опахалами длинных горизонтальных ветвей.

Миновав башню Давида, Армуш прошел сюда сквозь приоткрытые ворота и позвал пальцем молодого монаха в черной сутане.

- Хай, - сказал, когда тот приблизился.

- Хай, - ответил черный монах, но видимо удивился.

- Позови мне настоятеля, сынок, - продолжил Армуш по-армянски и чуть приподнял увесистый кожаный мешок, который держал в руке.

Монах смутился:

- Настоятель не выходит к прихожанам, простите, отец. А в чем дело?

Армуш и виду не подал, отступил на пару шагов и присел на широкую мраморную скамью.

- Так ты скажи ему, сынок, что пришел старый Армуш и кое-что принес для Храма.

Монах покрутил головой, затем направился к церкви, на ходу подбирая длинные полы, взошел по белым ступеням и исчез за кованой дверью. Армуш сидел на прохладной мраморной скамье и слушал пенье дроздов в кипарисах. Минут через десять из двери вышел настоятель в белом, а за ним пристроился черный монах. Кряхтя, Армуш поднялся, прихватил мешок, проследовал по аккуратной дорожке, выложенной из плоских камней среди травы, и остановился в шаге от ступеней церкви. Настоятель стоял наверху у двери. Его седая борода поблескивала под игрой светотени.

- Мир тебе! – спокойно произнес Армуш на северо-арамейском.

- И тебе, - услышал в ответ на том же наречии.

- Я покидаю этот город и обязан оставить Храму вот это. Ты, конечно, понимаешь, о каком именно Храме я говорю. О том самом. - Армуш опустил кожаный мешок на первую ступень белой лестницы, выпрямился и глянул в глаза настоятелю. Тот смотрел неотрывно, безо всяких эмоций. Армуш понял:

- Да, это ценные вещи, а некоторые очень ценные, но все они приобретены мной

лишь праведным образом. Это так, арамуши никогда не лгали.

Настоятель огладил бороду и опять коротко глянул на мешок у ног гостя.

- Я давно не слышал речей на северо-арамейском.

- И думаю, вряд ли теперь услышишь, - усмехнулся Армуш. - Мир тебе, - повторил. - И твоему народу, - добавил, уже повернувшись.

Он не увидел, как настоятель перекрестил его в спину, а затем кивнул черному монаху: дескать, подними мешок и ступай за мной...

Да, вот именно так Армуш простился с Ершалаимом. Теперь он держит путь в Хайфу, в порт, сидя в повозке-развалюхе за лоснящейся спиной бойкого осла. Там, в порту, сказали ему, он найдет нужное. И еще через день это и происходит, хотя выбор не мал: большие железные корабли (один из них даже куда выше башни Давида), корабли поменьше, но тоже современные, всякие одномачтовые яхты, шхуны, но вот у дальнего пакгауза Армуш вдруг замечает пришвартованный туда парусник типа бригантины. Выясняется, что завтра на рассвете это судно отваливает курсом на остров Родос, а оттуда в Пирей. "Это мне подходит, - решает Армуш. - Значит, Греция. Значит, путь домой начинается на паруснике".

Заплатив, сколько ему сказали, он поднимается на только что отдраенную, еще пахнущую морской водой деревянную палубу. Лениво хлопает почему-то до конца не убранный парус на фокке, в борт так же лениво бьет мелкая волна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОТЛАС

Он приходит в Архангел, но уже не на паруснике, а на вполне современном судне: что-то изменилось во времени, пока длилось долгое плавание. Ищет и ищет Антанту, однако безрезультатно. Неделя уходит на поиски. Кто-то советует: "Может, она ушла выше по Двине, в Котлас, пошукай там..." Что остается? Сесть на выдавший виды колесный пароход - и туда, в Котлас.

А здесь уже сентябрь, большая осень. Одни птицы летят на юг, другие на север. Встречные, но непересекающиеся маршруты, никаких пробок и ДТП. Серые клокастые небеса, по берегам Двины стынет молчаливая тайга, изредка дождит, и не исключено, со дня на день закружат белые мухи. Истошно орут чайки, паря за кормой в ожидании дармового корма. Это мы уже проходили, все помним.

Пар изо рта. Спасибо, в каюте включено отопление, а на нижней палубе аж до полуночи работает буфет, где дают бутерброды и жидкий кофе в картонном стаканчике. Он приятно обжигает пальцы. Время от времени подходит очередной мужик в засаленной куртке и предлагает соединиться - то есть выпить на троих. "А второй уже есть, есть, - уверяет, - и шмот сала при мне, пошли!.."

Так три дня. Потому что от Архангела до Котласа три дня. Ничего не изменяется. Тот же губошлеп, например. Шлепает и шлепает лопастями по студеной воде, и этот ритмичный звук то навеивает тоску, то придает уверенность, что ты еще существуешь в реальном мире.

После Верхней Тоймы и особо за Красноборском на Двину падает сплошной туман, отчего даже днем, при зажженных бортовых и габаритных огнях, пароход еле продвигается к цели, но ночью встает вовсе, регулярно подавая гудок. Трубный звук разносится по плененной туманом, невидимой реке. В такую ночь даже звери не выходят на охоту.

Однако к утру все меняется. Туман клоками утягивает вверх, уже проявились, будто из небытия, очертания берегов, заработали лопасти колеса, и, стало быть,

скоро Котлас, еще часов пять. Так и выходит...

От пристани - крутой подъем по деревянной лестнице на высокий берег; далее - грязная после осенней ярмарки рыночная площадь с пустыми каруселями; далее - автобусная станция. Надо ехать в центр, где, сказали, есть гостиница.

В автобусе почти никого. Подходит контролерша - пузатая тетка с пузатой кожмимитовой сумкой - и хрипло предлагает обилетиться. А вслед за этим из-за спины контролерши возникает звонкий голос, полный удивления и радости:

- Армик!

Как складывается судьба человека, знали только древние египтяне, но это не спасло их от исторического исчезновения. Праотец Авраам и его род ничего не знали о судьбе, однако их потомки до сих пор населяют те же и близкие земли, а еще так сложилось, что и некоторые дальние. Где тут справедливость? А нету ее, и все: справедливость никак не плывет по реке времени. А что по ней плывет? Закон Владыки.

Армуш тоже ничего не знал о судьбе, а сейчас о ней не знает сидящей в автобусе Арам, или, как ему крикнули, будто из детства, Армик. Он вскидывает голову и видит: Антанта! Вот и нашлась - считай, сама, без его очередных поисков. Лет двадцать пять ей нынче, а тогда было семнадцать. А ему?

- Садись, - говорит он, сглотнув комок в горле, и кивает на свободное место рядом. - Садись, Антанта. Что-то мы не виделись давненько, - усмехается, уже взяв себя в руки.

Она усаживается, прихватывает его за локоть и трется кончиком носа о плечо. Будто в детстве.

- Армик, ты как тут оказался? - шепчет-мурлыкает довольно. - Я так рада!

Неужели она обо всем забыла?

- Вот, приехал... с тобой повидаться, - выговаривает он с трудом, но искренне.

- Ну, молодец! Наконец-то! - И вновь трется кончиком носа о его плечо. - А кстати, эй, куда ты путь держишь на этом автобусе?

- В центр, снять номер в гостинице.

Антанта чуть не подскакивает:

- Ты с ума сошел, какая гостиница! Если бы ты видел нашу гостиницу! Да дело не в этом. Какая гостиница, когда тут я? У меня своя комната и своя кухня, понял! Ты что, Армик? Нет, бери сумку и за мной, скоро моя остановка.

Неужели она обо всем забыла?

- А ты тут кто, кем? - спрашивает он, когда они уже идут по тихой улочке.

- Я? - Антанта растягивает губы в озорной улыбке. - Я - старшая! Старшая медсестра в больнице, в хирургии. Вот так, о! - И теперь хохочет. - Все в порядке, - говорит, отсмеявшись. - Потому и комнату получила после житья в общежитии. Все хорошо... А ты сам-то кто, кем?

Законный вопрос, а как ответить?

- Я... Законный вопрос, но... давай потом, попозже.

- А как хочешь. Потом так потом, я не любопытная. - И указывает на длинное, почерневшее дерево, двухэтажное строение в проулке. - Во, этот мой Хилтон-отель! Зато почти все удобства.

- Почти - это как?

- Много будешь знать, скоро состаришься! - опять улыбается Антанта. Заметно, что ей хорошо.

- Я уже состарился, и очень давно, - говорит он, но, странно, она его не слышит.

- Значит, так, - слышит он, - у меня еще час, я ушла на обед, сейчас перекусим с

тобой, а потом я в больницу, сегодня у меня ночное дежурство. Приду завтра утром, часам к двенадцати, зато весь день свободен. Роскошь!..

Уже у нее в комнатке, поедая пельмени, он несколько раз украткой бросает взгляд на ее лицо, Сколько ей? Ну, двадцать пять. А когда он уехал, ей было семнадцать. Что-то изменилось, но и будто ничего. Это как? Ведь века прошли!.. Арам чуть прикрывает глаза, и там привычно совершается это его навязчивое перевоплощение: вместо озорного лица Антанты вдруг возникает лицо сидящей напротив старухи. Да-да, именно той самой, которую он однажды разглядел сквозь марево на шуке, - в парандже, но без чачвана; она вдруг оказалась у края ковра, и Армуш еще попытался представить, как она выглядела в юности, но ничего не вышло, а старуха тут же исчезла, словно испарилась.

Арам трясет головой, сбрасывая наваждение, и говорит:

- Отличные пельмени, сто лет их не ел, да нет, много больше. Наверное, сама готовила? Ну да, ну да. Просто молодец!.. А скажи, Антанта, только не удивляйся... ты никогда не бывала в Ершалаиме?

Она едва не поперхивается:

- Где, где?

- Есть такое место на Ближнем Востоке, очень древнее. Там Старый город, разные люди, разные религии, базары всякие, роскошь и бедность...

- Погоди, погоди, Армик! - перебивает она и приподнимает руку, чтобы ей не мешали. - Э... То ли год, то ли два назад мне приснился странный сон, до того странный, что я его до сих пор помню. Будто я оказалась в каком-то, да-да, древнем городе, явно не нашем, не русском, кругом горланят не по-нашему, а вокруг множество товаров. В общем, да-да, рынок, пыльно, жарко, перед глазами что-то мелькает. И тут вижу: большой ковер на земле, со всякими на нем сверкающими вещицами, несомненно очень дорогими, а в центре этого ковра сидит старик. Я только поглядела на него, и он стал таять, но мне показалось... Ну, ты же понимаешь, что это сон! Но мне почудилось, что он - это ты, Армик, только очень-очень старый... Нет, честное слово, бред! Я ведь о тех краях ничего и не знаю. И какой-то старик, будто похожий на тебя! Ты ведь совсем еще молодой, тебе столько же, как и мне, двадцать пять, только, вижу, серебряные ниточки у тебя в шевелюре на висках... Ладно, я пошла в больницу, а ты тут хозяйничай, я тебе все показала. И спи спокойно. Буду завтра к полудню. Пока. Как славно, что ты приехал!..

Неужели она обо всем забыла?

Это из области патопсихологии: говорят, что преступник рано или поздно возвращается на место совершенного им злодеяния. Навязчивость опять же.

Арам (или Армик, как его звали в детстве) совершил злодеяние в семнадцатилетнем возрасте, и не где-нибудь, а в городе, где рос, где жил с семи лет. Место преступления - город детства; вот такой здесь расклад. Это - Архангел. Потому и приехал туда искать Антанту. Столько веков прошло, а пересеклись неведомые небесные маршруты - и потянуло. Арам (впоследствии старик Армуш), разглядел в потемках души указующий перст судьбы, когда в Ершалаиме расстался с неким тоже стариком, который перед смертью поведал ему о невероятной тайне. Может быть, тайне последних столетий. Теперь разгадка этой тайны оказалась в руках Арама-Армуша, и его неминуемо повлекло в Архангел. На место преступления, к Антанте. Хотя нашлась она выше по течению Двины, в Котласе, но это мелкая деталь: большой осенью он уже успел здесь надышаться...

Этот чернявый мальчик и эта желтоволосая девочка познакомились 1-го сентября, когда пришли в первый класс. Школа в Архангеле, куда они пришли, находилась

почти в центре города, на высоком берегу Двины над портом, за широкой спиной "банного Ломоносова" (последнее - старая шутка жителей Архангела: корифей всевозможных наук представлен на памятнике с облаченным в тогу мощным голым телом, но, поскольку античные намеки скульптора никак не взволновали северян, они быстро и сугубо по-русски смекнули, что это - простыня, которой оборачивают тело в бане после парной; поэтому в иные праздники на постамент к голым ногам бронзового исполина ставили несколько бутылок пива, которые, однако, благополучно исчезали утром, когда приходил час похмелья).

Итак, худой чернявый мальчик и желтоволосая девочка-худыха, чем-то похожая на улыбающегося Буратино, объявились в первом классе школы за спиной "банного Ломоносова". А особенность этой школы состояла в том, что она была десятилеткой. Вот так наши герои и проучились там в течение всех десяти лет, причем сидя за одной партой. Никто их не принуждал к подобному постоянству: случайно сложилось еще в первом классе, а дальше... вероятно, их вполне устраивало сидеть вместе.

А ведь контраст явный: он - чернявый, не слишком подвижный, спокойный, разговорчивый в меру, все схватывавший буквально на лету, не отличник, но устойчивый "хорошист"; она - блондинка с, к сожалению, вскоре пропавшими веснушками, хохотушка, заводила, обостренно честная, но в успеваемости неровная, поскольку не без приступов лени - то пятерочница, то троечница. Нередко бывало так: тихонько, но настойчиво она стучала локтем вечного соседа в бок и шептала: "Убери руку, чтоб я видела, дай списать!" Сосед всегда повиновался и потом был рад, что за эту (очередную) контрольную они получили по четверке.

Его, Арама, все называли Армиком, а вот он ее... Классе, кажется, в пятом, когда проходили историю СССР и добрались до Гражданской войны, училка-историчка поведала в том числе про Антанту - союз агрессоров-империалистов, против которого доблестно сражалась наша Красная армия. Поведала и добавила: «Вообще-то, ребята, чтоб вы знали, слово "антанта" значит согласие, но эти господа понимали под той Антантой "сердечное согласие". То есть вместе всем сердцем». Армику это вдруг понравилось - не про ту Антанту, а про свою соседку по парте, и с тех пор он стал называть ее именно и только Антантой - Сердечное согласие. Странно или нет, прозвище прижилось - все в школе только так к ней и обращались.

Армик и Антанта. Классе в восьмом их называли уже женихом и невестой. Ну а возможно ли иначе, если они всегда и везде вместе, не только в стенах школы? Именно так. А они и в голову не брали: время еще не пришло. В общем, друзья-приятели, не разлей вода.

Но время уже зашептало: она, Антанта, не только рубаха-парень, она, погляди, - женщина. Армик невольно бросал косые взгляды - и отворачивался, краснея душой. Им было по шестнадцать, когда летом, в редкую для Архангела жару, они пошли искупаться на Двину, и Антанта предстала в купальнике, едва скрывавшем нечто для Армика новое, завораживающее. Нет, он, конечно, знал, что подобное есть у женщин, но это ведь Антанта! Худыха-буратинка с острыми локтями и вечно пораненными коленками!

Так прошел их последний год, десятый класс. По-прежнему сидели за одной партой, и ничего не изменилось, если не считать того, что теперь чаще помалкивали, особенно Армик, а Антанта уже не прижималась к нему боком и не стучала в бок острым локтем. Спросить бы его: "Ты ее любишь?" - и он пожал бы плечами, добавив: - Это как?" Спросить бы о том же Антанту, и она... А вот что ответила бы она, оставим на скорое дальнейшее.

Скорое дальнейшее явило себя, когда им было по семнадцать. Конец июня, сдали последний экзамен, предстоял выпускной вечер. Все счастливы. Как и прочие девицы, Антанта мастерила себе бальное платье. Днем пришел Армик, они

перекусили, решив к вечеру прогуляться. Он сидел на кухне, слыша, как в комнате строчит швейная машинка. Потом звук стих, и Армик открыл дверь в комнату - как всегда, по-свойски, без всякой задней мысли. Антанта стояла перед зеркалом, и на ее теле не было даже того купальника, скромные размеры которого так поразили Армика год назад на пляже. В руке - лифчик, на кресле рядом с зеркалом разостлано только что законченное бальное платье.

Она увидела его через зеркало, зажмурилась, одновременно прикрыв себя этим самым лифчиком, этой эфемерностью, и спокойно, но властно произнесла: "Выйди!" Он повернулся и уже спиной услышал: "Как же это, Армик, без стука?" Какой стук! - помнится, шарахнула дурная мысль, потому что за долгие годы общения с Антантой не выработался в нем сей элементарный рефлекс взрослой поры жизни. Все детство, отрочество, игры, контрольные всякие - вот так, знаете ли!..

Он вышел с этой самой дурной мыслью в дурной голове, и тут что-то с ним случилось. Потом много веков пройдет, и он так и не поймет - что. То ли настало время разыграть южному темпераменту, то ли на еще немой клавиатуре души прозвучали первые звуки любви, то ли сам Владыка повелел: "Вернись, возьми ее, люби ее, это она, она, истинно твоя!" Но мог ли так повелеть Владыка без ее на то соизволения? Ведь грех, грех!

Дальнейшее был грех. Физически сильный, рослый Арам и астеничная, к тому же вся голая Антанта. Он ее почти растерзал за эти пять минут. Она не кричала, лишь стонала, прикусив палец. Потом сбросила Арама с окровавленного покрывала и проговорила тихо, явно только себе: "Не отстираешь. Значит, выбросить придется". И, забрав покрывало, скрылась в чуланчике, где висел старый рукомойник, а под ногами вечно гремели всякие тазы. Арам тупо сидел на растерзанной постели. Надо что-то сказать, когда она вернется, упорно повторял себе, надо что-то сказать, но сказала Антанта.

Вернулась, присела рядом, бок о бок, а лицо каменное. Где ты, хохотушка-буратинка?

- Я тебя люблю, давно люблю, с первого класса, а ты совершил преступление. Нет, не грех - преступление. Потому что я любила тебя с тех пор и всегда мечтала о тебе, особенно в последнюю пору, понимаешь? Эх, как мечтала! Уже знала: вот окончим школу, ну еще, может быть, годок, и поженимся. Но только так, чтобы я стала женщиной, твоей женщиной, именно в первую брачную ночь. Ни днем раньше. А зачем раньше-то? И через девять месяцев я рожу нам ребеночка. Только так... А ты все испортил, исковеркал, искромсал меня, изгадил мою мечту. Ты преступник, оказывается, а я-то думала, что сижу за одной партой с любимым, почти святым... Уходи. Уходи, исчезай. Чтобы тут тебя не было и я тебя больше не видела...

Он исполнил ее повеление. Не явился на выпускной вечер, а через недолгое время и вовсе пропал. В Архангеле его больше не видели. Ходил слух, что он подрядился матросом на рыболовецкое судно, порт приписки которого Мурманск. Ну а дальнейший маршрут следования Арама во времени и пространстве (Zeitraum'e, если в одно слово, как придумали большие любители словесных соитий немцы) с трудом поддается пониманию, если вы упертый реалист.

Он вернулся на место преступления, а она что, всё забыла?

Нет, конечно. Однако ее "всё", ее время, уместилось лишь в восемь лет, а пространство и вовсе копейное: вверх по Двине от Архангела до Котласа. Но это ее, Антанты, данность, ее правда.

Она - временная, а Арам - странник. Таких мало. Например, тот самый Довер, вдруг объявившийся в Ершалаиме. Или упомянутый им пресловутый Агасфер. Или

небезызвестный Мерлин. И еще кое-кто. Их Zeitraum - совсем другая категория, и это уже иная правда.

И как теперь ему, Араму, общаться с Антантой, с этим бенгальским огнем? Вспыхнула, рассыпалась, очаровывая холодными звездами, но пара мгновений - и каленый огарок. Это ее правда, и поди разберись, чья лучше.

Чья лучше, повторяем, если он, Арам, не только странник, но и преступник? А и обратно: преступник - потому и странник? Что там тот Агасфер! Хотя, возможно, первый и главный странник, не раз думалось Араму, это сам Владыка: создаст и уйдет в безразличии, а тут у тебя сердце о ребра набивает мозоли...

Эх, вздыхает он, что ж, пора! Пока Антанта не вернулась с ночного дежурства - тихо уйти, скрыться. Она жива, это главное, такая же симпатичная, устойчивая. Старшая! - хохотнул он. Даже свою квартиру в коммуналке получила!.. Встретит приличного мужчину, выйдет замуж, родит раз-другой, проживет еще лет шестьдесят. И забудет его, мальчика Армика из школы за спиной "банного Ломоносова". Хотя это вряд ли: первый мужчина, тем более преступник, не забывается. Вот несчастье-то!..

Он перекидывает через голову ремень холщовой сумки, где подсвечник и кое-какие другие важные предметы, сверху запахивает полы теплой куртки и выходит в большую осень. Но судьба не отпускает его отсюда, потому что уже через минуту видит Антанту. Она спешит с дежурства. Машет ему рукой, а приблизившись, говорит иронично-улыбчато:

- А, ясно, сбежать надумал! Ну-ка, кругом и марш домой! Кстати, возьми пакет у женщины, там продукты всякие, рука аж усохла. Джентльмен!..

Потом она готовит пышную яичницу с предварительно обжаренными кусочками сала, и Арам поедает это одним махом. Вдруг хорошо ему. Антанта сидит напротив, жмурится.

- А теперь - сюрприз номер раз! Кофе я раздобыла. Знаешь, какой кофе? Редкость, им-порт-ный! Сейчас сварю тебе. Никак соскучился по кофю-то, странник?"

Арам даже вздрагивает: странник, сказала она! Но успокаивается.

- Спасибо, сварю, очень хорошо. А хочешь, я сам сварю, - предлагает, - это у меня вполне здорово получается - кофе по-восточному.

- О! Ну давай, никогда не пробовала. А я сейчас - три-четыре минуты.

Она возвращается в халатике и в тапочках на босу ногу. Арам понимает:

- Устала с ночи, да? Ложись, поспи.

- Ни капли не устала, - слышит в ответ. - Но... действительно лягу, вот только твой кофе допью, вкусно-то как!.. Лягу. Это мой тебе сюрприз номер два, а вообще, конечно, главный. Понял? Выйди на минутку, я разденусь и лягу, а ты ко мне...

Потом Арам часто вспоминал эти часы, этот день. Чтобы задать контраст событию, в оконное стекло загрохотал дождь, стекали струи, стуча о жесть подоконника, - в общем, небо истерично рыдало, а Антанта смеялась. Не стонала, прикусив палец, как тогда, восемь лет назад (ее восемь), а тихо смеялась, а потом мурлыкала, выгибая спину. Странное дело: Арам понял, как истошно любит ее и как они далеки друг от друга, не духовно, а именно физически. В какой-то момент он даже испугался, что сейчас рассыплется, подобно извлеченному из египетской пирамиды папирусу, и только кучка мелкого праха останется на кровати Антанты. Тогда - кровь, теперь - прах. Вот такие контрасты.

А еще она, святая душа, сообщила ему следующее. Что за эти восемь ее истекших лет она ни с кем из мужчин не общалась. Нет, не потому что не хотелось в принципе (да, бывало, а как же!), но не желала она никого - только Армик, когда вернется. Теперь, когда это наконец произошло, пройдет девять положенных месяцев, и будет ребенок. Потому что сегодня - именно тот день, когда все складывается. "Ты, Армик,

- сказала Антанта, - вовремя вернулся, именно в самый нужный день. - И добавила, все еще улыбаясь: - А если ты исчезнешь, как мне кажется, то не беспокойся: все у нас с тобой хорошо. Отныне ты свободен - не от меня даже, от греха, того самого".

Вот оно, вот! - понял он в тот момент. Вот, оказывается, для чего он ехал к ней за три века и тридцать земель, искал и нашел! Вот, оказывается, для чего: чтобы услышать: "Ты свободен". Ни греха, ни преступления. Вернее, было это, было, но отпустили, сказали душе: свободна!

И у него затряслись плечи. Антанта склонилась над ним, повернувшись на живот, и стала мягко оглаживать ему спину. Что-то шептала, но разобрать что, он не мог. А потом, уже прощенный, свободный, Арам вернулся к ней, Антанте, в ее сегодня...

Дождь не прекращается, стемнело, а они все лежат, обнявшись. Живой Арам спрашивает:

- А почему ты, сердечное согласие мое, так и не интересуешься, кто я, где был, ну и прочее? Странно.

- Тебе хочется рассказать?

- Нет, пожалуй.

- И ладно. Я же сказала тебе, что не любопытная. Ты со мной, а что до прочего... Нет, все-таки одно, - усмехается, - потому что все-таки я женщина. Жена у тебя есть?

- Нет. И не было.

- Вот и славно, - кивает Антанта. - Значит, ты мой. С детства и до сейчас. И до конца. Мой. А где и кто - дело десятое. Ты свободен, но ты мой, вот такая история.

- Странно выходит на этой планете костей. Планете костей - так определил один мой знакомец. Тут создаются и такие истории - добродетельные.

- Какая-то планета костей, ты о чем?

- Да, не бери в голову.

- И не буду. Хорошая у нас планета. И потому - вот что. Ой, как здорово, что сейчас вспомнила! Расскажи мне еще раз про твой Арарат, про детство. Про поездку с дедом. Помнишь, ты мне не раз рассказывал? Почему-то я очень любила эту твою историю. До сих пор будто все вижу: горы, долина в виноградниках, река, - слышу, как птицы поют, чую жаркие запахи... Ну, расскажи! Папик и торник, так?

Арам улыбается:

- Да, так: дедушка и внучек по-армянски. Только ударения ты опять ставишь не там. Надо на последнем слоге: папИк, торнИк. Запомни наконец, троечница!

«Я родился в Ехегнадзоре. Там, как говорил мой дедушка Геворг, семья жила когда-то большим домом, но после известного события... ну, которое в 1915-м году, почти все разбрелись, сам дедушка перебрался поблизости в Гладзор, а мама увезла меня в Эривань, к какой-то дальней родственнице. Там мы и осели, и было мне всего пять лет.

Эривань назывался так почти до начала большой войны, а потом - Ереван, как и сейчас. Но тогда для меня это был Эривань, большой город, шумный, звонкий, с булыжными мостовыми, а главное, преогромным базаром, куда свозили товары со всей Армении. Наверное, с той поры я и влюбился в базар: можно ходить с мамой часами, толкаться, выбирать всякое, торгуясь, а в глазах аж рябит ото всего, что тут есть! Но на маму, помню, базар не производил особого впечатления; она вообще стала молчаливой после того события, когда, в числе очень многих, как я узнал потом, был убит и мой отец. Зато помню, как она повторяла: "Тут безопасней, но не до конца, не до конца!" Я не понимал смысла этой ее навязчивой фразы.

Весной, обычно в мае, когда горы совсем освобождались от снега и просыхали

возвышенные дороги, за мной из Гладзора приезжал дедушка Геворг, папик Геворг, и забирал на все лето к себе. Конечно, это было здорово, хотя в первое время я тосковал по маме. Но тихий зеленый Гладзор с шумной речкой казался мне куда лучше шумного Эривана. Однако дело было даже не в самом Гладзоре, а в дороге туда. Вот эту дорогу, это наше путешествие с папиком из Эривана в Гладзор я запомнил на всю жизнь.

Кем папик был, мне уже неизвестно, но кажется, когда-то он кое-что имел, потому что к тому времени у него еще осталась коляска. Я ее обожал. Четырехколесная, с откидным верхом, на рессорах, два маленьких кожаных диванчика напротив друг друга. Мягко, просторно. А сам папик сидел спереди на "козле", как он говорил, тоже покрытом кожей, и управлял лошадей. Лошадью! Впрочем, лошадь была не его - он брал ее, так сказать, напрокат.

Ну вот, значит, май, за мной в Эривань приехал папик Геворг, переночевал, а назавтра мы поехали. Я сижу в коляске и пою от счастья.

- Не трать силы, торник, - опять оборачивается ко мне дедушка, - не трать их попусту, нам ехать два дня, еще пригодятся тебе силы.

- Да, папик, - тут же отвечаю я и продолжаю петь, но теперь тише.

Наконец мы покидаем пыльные предместья Эривана и долго катим на юг, к Араратской долине. Но это действительно долго, даже я устаю. А что делать, надо терпеть. В середине дня останавливаемся, перекусываем тем, что нам заготовила мама, и снова в путь.

- А когда Арташат? - в который раз кричу я пипику в спину. Он не оборачивается, но его спина отвечает мне:

- Скоро, торник, скоро, еще час или два.

Арташат - это городок, где мы заночуем у какого-то давнего друга папика. Саманный домишко, во дворе небольшой хлев для осла и нескольких овец; там остро пахнет пометом. Рядом - летний очаг из почерневших камней, от которого пышет вкусно. "Иди, иди сюда, мальчик! - зовет оттуда друг папика. - Баранина, горячий еще лаваш, холодное мацони! Кушай, мальчик, кушай, дорогой, дай Бог тебе здоровья!.."

Утром снова в путь, и вскоре мы въезжаем в Араратскую долину. Слева по нашему ходу - каменистые сбросы без хоть какой-то зелени, а справа - благодатная картина: вдоль дороги и намного вглубь - рощи алычи ("Ткемали, - повторяет мне папик, - запомни: ткемали!"), она недавно отцвела и теперь ее бело-розовые лепестки лежат тут коврами, а в просветах между деревьями уже видны виноградники. Виноградники тянутся вперед и вправо, долго вправо, до голубеющей где-то очень далеко высоченной горной гряды. Ее вершины затянуты кучковатыми облаками, но вдруг нам несказанно везет, и я наконец вижу. И кричу:

- Папик, вот он, Арарат, да?

Папик, поскольку сидит на "козле", не оборачиваясь отвечает мне спиной.

- Да, торник, это он, Масис. Наш Масис. Рассмотрю его хорошенько.

Ну да, я уже столько раз видел его на всяких картинках и рисунках. Большой Арарат, Малый Арарат. Двугорбый, как верблюд. Вершины в снегу. Мерцают так, что глаз не оторвать. И даже отсюда мне слышно, какая там, на этих вершинах, тишина. Другой мир.

- Это наш Масис, - повторяет спина папика. - Нам с тобой повезло сегодня. Он открывается тем, кто странствует с добром в сердце.

- Это как?

- А потом, потом, торник! Пока же запомни: мы вышли оттуда, с его склонов. Наши давние предки Арамуши жили там. Масис - наша первая родина. Да нет, главная.

- Так поехали туда! - радостно кричу я. - Это же близко!

Папик поводит плечами.

- Во-первых, почему ты кричишь, у меня хороший слух, понял? Во-вторых, это не близко, это очень далеко, так тебе лишь кажется, будто рядом. А в-третьих... там граница, понимаешь, и Масис, он теперь там... не с нами.

Я ничего не понимаю.

- Как это - не с нами, если мы оттуда?

- Такое случается на земле, торник. Что ж... Но это, мы знаем, временно. Надо потерпеть, да... Перед Масисом - наша река Аракс, но она и есть пограничная. И даже к ней не подойти поэтому. Но ничего, ничего, надо потерпеть. Там, за Масисом, наше самое большое озеро, Ван называется, запомни, и там самый наш главный храм, запомни тоже... Запомнил? - спрашивает вскоре. - И не кричи больше, а смотри лучше.

У меня хорошая память, я все запоминаю. Гляжу на Масис не отрываясь. А коляска папика все катит, катит. На ветвях ткемали сидят стайки серо-бурых птиц и вдруг, разом сорвавшись, перелетают на другое место; вместо них в моих ушах остается пенье, оно никуда не перелетает.

- А! - явно улыбается спина папика. - Это наши говорушки. Смотри, как хвосты держат, прямо к небу! Они прилетают сюда из далеких южных пустынь, когда там становится очень уж жарко. У птиц нет границ, как хорошо! Говорят, говорят, ну прямо базар - потому и говорушки. А смотри, усядутся на большой ветке, прижмутся боками, выставят к небу хвосты и запоют. Слышишь?

Я слышу. И еще вскоре слышу новый звук, низкий, но нежный и будто веселый. Папик показывает мне палец из-за спины.

- Это? На зурну похоже, да? Правильно. Зурна, как говорил мне отец, значит праздничная флейта. Что такое флейта, знаешь? Ну, такая длинная серебряная дудка с дырочками. Дуешь в мундштук, а пальцами перебираешь дырочки или клавиши. Хотя, говорил мне отец, зурна по звучанию больше похожа на гобой. Что такое гобой, знаешь? Ну ладно, ладно, слушай дальше.

Я слушаю. Зурна то громче, то вовсе шепотком. Откуда она тут, на дороге?

- Ты пить хочешь? - спрашивает папик.

- Давно уже, жарко-то как!

- А что ж молчишь?

- Терплю.

- Это ты молодец. Тогда я тебе скажу. Это речка в камнях поет, вот там, под склоном. Она бежит в долину к Араксу, но уже через месяц усохнет, совсем ручейком будет. А пока поет. Вода в ней - лучше нету. - И одергивает лошадь. - Пить хочешь, сказал, да? Ну, бери кувшин, спускайся, только осторожно. Тут упасть на сухих камнях на склоне - совсем просто, а еще и кувшин разобьешь, что очень плохо, понял? Боком спускайся, боком, медленно, и кувшин береги! - слышу я уже сверху от дороги.

Роца остается выше, а тут, между острыми камнями, только колючки и низкий кустарник. Мои голые ноги уже в мелких порезах. В сандалии забился песок. Но как зазывно мерцает река внизу! Голубым и ярко-белым, когда переваливается через валуны. И все громче и громче поет при приближении.

Я осторожно укладываю кувшин у самой воды, скидываю сандалии и, балансируя на скользких камнях, позволяю реке дойти мне до коленей. Уже не чувствую боли от порезов, потому что ноги охватывает жуткий холод. Лоб мой в поту, а ноги во льду. Быстро на берег! Потом, обувшись, опять захожу в воду, укладываю кувшин между камнями горлышком против течения, а сам хлебаю из ладошки эту хрустальную водицу. Сводит зубы. Мама, если б увидела, упала бы в обморок: "Армик! Горло застудишь, с ума сошел, сынок!"

Путь наверх - самое тяжкое. Сразу нестерпимо жарко, острые камни, те же колючки. Главное - не выронить, не разбить кувшин! Как-то мне это удастся, хотя, расплескав, я приношу только полкувшина. "Молодец! - спокойно говорит папик и извлекает из короба свой любимый винный стаканчик. Аккуратно наполняет его водой из кувшина. Протягивает мне: - Пей, торник, ты заслужил, я после тебя... А! - потом утирает седые усы, - я же сказал, это лучшая вода в Армении..."

Потом, кажется, я задремываю. Меня баюкает коляска. Папик время от времени разговаривает сам с собой, а о чем, не понять. Например: "И чего это Лия, твоя мать, моя дочь, надумала увозить тебя отсюда куда-то на север? Ослушница! Все тут может повториться, твердит. Ну, да, может, но Господь наш все-таки есть, и кто-то должен оставаться на своей земле, а, Лия?"

Мы едем еще час, два, дорога забирает все левее, левее, все выше и выше, и как-то начинает таять вдалеке мой Арарат, мой Масис, и вот уж вовсе скрывается за очередным поворотом. А что до птичек-говорюшек и той самой зурны - праздничной флейты, то я их уже давно не слышу».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТЕЛА МАРИС

Да-да, все смешалось в этом богоугодном мире, чего совсем не предвидел Владыка, а тут еще сей странный звук. То ли он изнутри, то ли снаружи. Ах, вот в чем дело! Это скрипит Земля на оси, давным-давно не смазанной. Оттого и планета поворачивается натужно, неравномерно. А значит, время иногда замедляет ход, и, вместо того чтобы быть верноподданной вселенской астрономии, то есть всегда бодрствующей, Земля в такие периоды сонно покачивается в гамаке, сотканном из параллелей-меридианов. Тут и происходят события, о которых знают немногие, а верят в них и вовсе единицы. Если они не правы, то гореть им в костре инквизиции. Однако...

Однако теперь другие времена, хотя о нравах говорить не стоит. Меняются атрибуты, а суть остается неизменной; это и есть планетный гомеостаз (внутреннее постоянство), и, чтобы устойчиво выживать, люди подвержены ему в полной мере. Поэтому известный сакраментальный вопрос "что есть истина?" смешон по определению.

- А вы, простите, кто - историк?

- Я? Историк, историк! - И раздаётся тихий смешок.

- Чего ж тут веселого?

- И вправду ничего. Извините. Просто сразу вспомнилась одна известная фраза из одного известного романа. Там еще было такое продолжение: "Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!"

- Не понял! Каких прудах?

- О'кей, не берите в голову. Просто цитата к месту, не более того. Русский роман, чего там только не намешано! Да здесь и прудов тех самых нет...

Это именно так. Тут почти райское местечко, Stela Maris называется, как гласит дорожный щит при въезде. Все одноэтажное - коттеджи, ресторанчики, поэтому даже небольшой теннисный стадион выглядит чуть ли не монстром. И тихо: залив Адриатического моря, ласкающий Стелу Марис с ее прибрежной сосновой рощей, ведет себя вполне лояльно. В общем, повторим, почти райское местечко, особо

привлекательное для туристов среднего класса.

Деревянные коттеджи разбросаны в сосновой роще совсем близко от моря. Главное, обувать шлепанцы, поскольку мягкий ковер из сосновых иголок может и поранить. Дальше - пляж или, если в другую сторону, - магазинчики, сувенирные палатки, ресторанчики и прочее. Идиллия. Идиллия, коли вам не скучно жить одному в двух комнатах плюс кухня, плюс терраса, плюс уютный дворик со столиком под навесом и лонгшезами. Одна просьба, если вам не лень: поливать клумбы, чтобы не сохли агавы и другая местная флора.

Но с другой стороны, нет лучшего места для медового месяца! Или, с третьей стороны, для десятка дней высокой любви, когда вам уже под сорок и вы наконец встретили ту, которая единственная, не в пример двадцатилетней красавице-дурехе. Но все это - и первое, и второе, и третье - прекрасно по-своему, не стоит ерничать. Есть еще и четвертая сторона. А если вы не забыли, число "четыре" в нашем повествовании значит многое.

Скажем, в коттедже А нынче поселился некий господин, предпочитающий устойчивое одиночество, а в коттедже Б, что совсем рядом, - странная пара: мужчине, как и господину из коттеджа А, лет пятьдесят, а его даме - ну, под восемьдесят, похоже. Может быть, она его мать? Почему бы и нет.

Проходит несколько дней, и господин А, лентяй, поднимающийся поздно, видит со своей терраски эту пару, уже возвращающуюся с пляжа. Господин Б в шортах и с полотенцем через голое плечо, а пожилая дама, прямая как трость, в шляпке и в легком брючном костюме. Следуют к себе они тихо, и если переговариваются, то их голосов не слышно. Очень удобное соседство: ведь господин А жуть как не любит шума.

Потом он видит их сидящими у себя во дворике за столом под навесом. Время от времени господин Б встает, скрывается в коттедже и вскоре ставит перед дамой какое-то блюдо или графин с соком. Короче говоря, ухаживает. А может быть, думает господин А, он ей вовсе не сын, а, скажем, дворецкий или... ну, некто играющий для богатой старухи роль услужливого любовника? М-да, чего только не придет в голову!..

Где-то к десяти вечера, когда над Стела Марис распахивается усыпанный алмазами черный бархат, господин А, как правило, идет в ресторанчик на берегу залива, и именно в тот, где живой пианист негромко играет на живом пианино. Еще лучше, если это джаз. Мягко светятся китайские фонарики. Публика тут спокойная, ибо не слишком молодая. Господин А заказывает традиционный стейк, рыбный салат и бутылку "Грольша". Вскоре ему совсем хорошо, и он слушает пианиста. Потом прогуливается вдоль залива, шурша обувью по мелкой гальке. Потом возвращается в свой ресторанчик и заказывает кофе с "Хеннеси". "Нет, - говорит себе в очередной раз, - больше я никуда не поеду! Я тут отдыхаю - тут, ясно!.."

Странно или нет, но в некий вечер там же, ресторанчике, господин А видит своего соседа господина Б, однако без дамы, одного. Сидит один за дальним столиком, что-то потягивает и явно слушает музыку, мягко выделяваемую пианистом. Похоже, такое вечернее одиночество ему, господину Б, вполне по душе. Ну да, рассуждает про себя господин А, его пожилая дама наконец улеглась, заснула, а он пошел побродить, что-то выпить слегка, побыть наедине с собой. Может, и так, почему бы и нет.

Это повторяется несколько вечеров, и наконец, когда их глаза, разделенные прочими столиками, случайно встречаются, господин А и господин Б кивают друг другу, поскольку каждый из них признал соседа по коттеджу. И кивки эти явно доброжелательные, не только вежливости ради. В общем, вполне понятно и совсем не странно, что в следующий раз они оказываются уже за одним столиком. Сколько

ни цени одиночество и сколько ни справляй его, а одиночество вдвоем тоже имеет свою цену.

Поскольку принято как-то обращаться друг к другу, выясняется, что господина А зовут Свен, он норвежец, а господин Б - Георг, он приехал сюда из США. И всё, больше никаких вопросов, в том числе про пожилую даму господина Георга. Зачем? Это их дела, главное сейчас, что обоим мужчинам несомненно хорошо: похоже, они одного возраста, похоже, предпочитают тихий комфорт, похоже, вовсе не любопытные. Однако...

Можно долго молчать или говорить ни о чем (о погоде уже бессмысленно: она здесь пока никак не являет разнообразия), но если вы часами сидите вдвоем за одним столиком вот уже третий вечер и, повторим, вам хорошо, то что-то как-то проклюнется, даже помимо воли. Симпатия находит адресат, и в случаях крайних могут открыться невероятные сближения.

Вот мы и возвращаемся к коротко означенному выше. Кстати, заметим, что разговаривают наши господа по-английски, причем оба с акцентом.

- Да-да, согласен, - кивает господин Георг, - теперь другие времена, хотя о нравах говорить не стоит. Меняются атрибуты, а суть остается неизменной. Это и есть планетный гомеостаз, то есть внутренне постоянство, и, чтобы устойчиво выживать, люди подвержены ему в полной мере. Поэтому известный сакраментальный вопрос "что есть истина?" смешон по определению.

Господин Свен почти смущен этой тирадой.

- А вы, простите, кто - историк?

- Я? Историк, историк! - тихо смеется господин Георг.

- Чего ж тут веселого?

- И вправду ничего. Извините. Просто сразу вспомнилась одна известная фраза из одного известного романа. Там еще было такое продолжение: "Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!"

- Не понял! Каких прудах?

- О'кей, не берите в голову. Просто цитата к месту, не более того. Русский роман, чего там только не намешано! Да здесь и прудов тех самых нет.

Это, повторим, именно так. Зато тут есть другое. Ну, если быть точным, не конкретно в Стела Марис, а относительно неподалеку отсюда, в часе езды, если у вас есть машина.

- Кстати, у меня есть машина, - без всякого намека вдруг сообщает господин Свен. - Взял напрокат. Прокатный пункт вон там, - и указывает где. - Взял - а зачем? Пару раз объездил окрестности, и надоело. Может, это потому, что я тут не в первый раз.

- Можно сдать обратно, господин Свен.

- Просто Свен, хорошо?

- О'кей, а я просто Георг.

- Чудесно... Да нет, пусть стоит пока. Это я про машину. Вдруг пригодится?

Георг пожимает плечами. Потом спрашивает:

- И как тут не в первый раз?

- Э, сразу не ответишь. Хорошо, странно, нормально... ну, и вполне по средствам.

Ладно, все-таки хорошо... А вы, Георг, тут впервые?

- Да, - кивает собеседник, - мы тут впервые - мама и я.

Все-таки она ему мать. Слава Богу! - думает Свен и машет официанту.

- Закажу, пожалуй, еще рюмочку "Хеннеси". А вы, Георг? Давайте, я угощаю, а?

- С удовольствием, А потом я вас угощу.

- Идет! - И оба улыбаются.

- А почему, простите, вы сказали, что тут вам странно и хорошо? Если что-то не так, снимаю вопрос.

Свен уже греет в большой ладони рюмку с коньяком.

- Странно и хорошо? - переспрашивает. - Хорошо, хорошо! Это ж, Георг, благословенные субтропики! А я человек северный, норг, и дело мое - летать на вертолете над ледяными горами, снежниками, над прибрежным океаном. Такая работа. Я полицейский, знаете ли. Экологическая полиция - есть такая служба у нас на Шпицбергене, конкретно в Лонгьире. Вот я оттуда. Всяких непутевых экспедиционеров ловим, если они медведя завалили. Археологов иностранных, гляциологов, кого-то еще. Акт, протокол, потом штраф, ну и прочее. Однако все доказать надо. Такая работа. Бывает, весь день в воздухе.

- Да, никогда не думал, что окажусь за одним столиком с полицейским! - смеется Георг.

- Не беспокойтесь, - принимает шутку Свен, - я же сказал, что на защите наших заповедных медведей, а к уголовным делам отношения не имею.

- И на том спасибо!

- Да, за год так намерзнешься! Хоть я давно привычный, а в отпуск именно сюда тянет, кости погреть. О пенсии стал мечтать. Это еще пять лет, знаете ли. Вот выйду на пенсию и перееду на континент, южнее, в Тронхейм, например. Все-таки он на море, а без моря я уже никак не могу. Кровь, наверное: ведь все мои предки только и делали, что плавали. Кто рыбу ловил или на китов охотился, кто разбойничал на морях. Да, и это было: мы же норги, то есть норманны. Разбойники, завоеватели.

Интересный поворот сюжета! - думает Георг. Потомок морских разбойников в образе сегодняшнего полицейского! Да, прав был отец: все смешалось в этом богоугодном мире... И еще: странно, что про свое "странно" Свен не проронил ни слова. Ведь это его фраза: тут ему странно и хорошо.

- Смотрите, - говорит Георг и извлекает из кармана местную монету. - Это к вопросу о ваших медведях. Да нет, просто совпадение. Пять кун. Видите?

- Знаю, конечно. Шикарный мишка! Бурый, однако, не наш белый, наш покрупнее. И надпись смешная: medvjed, - читает Свен, сощурившись.

- Это на западно-славянском и в латинском написании.

- Ну и ладно.

- А странно все-таки, - проговаривает Георг будто самому себе, - странно: медведи у вас, медведь тут, пусть и на монете.

- Совпадение, вы правы, не более того... Э, Георг, а вы грозилась заказать нам еще по рюмочке - так сказать, на сон грядущий?

А ничего не меняется в Стела Марис: как и погода, время тут будто остановилось. Даже дальний колокольный звон из невидимой отсюда базилики, регулярно возвещающий о начале службы, - свидетельство тому, что упомянутый выше гомеостаз, то есть постоянство, есть единственная неразменная золотая монета истины сущего...

Георг поужинал вместе с мамой во дворике возле коттеджа и еще через пару часов, удостоверившись, что она улеглась у себя в комнате и читает, пожелал ей спокойной ночи и пошел прогуляться. Еще минут через сорок, надышавшись йодным настоем воздуха у залива, он входит в полюбившийся ему ресторанчик, где живой пианист наигрывает негромкий джаз, а за своим столиком уже сидит тот самый норг, норманн, потомок морских разбойников, полицейский со Шпицбергена; короче говоря, тот самый Свен. Все должно быть как обычно, но вдруг - неожиданность.

Сегодня здесь шумно, в центре зала - длинный стол, за которым что-то обсуждает компания еще довольно молодых людей обоего пола. Вот они и галдят, впрочем, без признаков излишней подзаведенности, хотя стол уставлен бутылками и закусками.

Георг удивлен, но наконец видит своего Свена; тот уже машет ему, привстав из-за столика в углу зала.

- Целое пиршество! - усмехается Георг, присаживаясь. - Что это вдруг?

- Э, иногда бывает. – говорит Свен и затем почти хохочет. - Ей-богу, всё одно к одному!

- То есть?

- Сейчас расскажу. А вы пока закажите себе что-нибудь. Не беспокойтесь, они скоро разойдутся, опять будет тихо. - Он закуривает и терпеливо ждет, пока официант приносит Георгу кофе и десерт. Вдруг спрашивает: - А кофе на ночь вам не вредит?

- Напротив. Прекрасно сплю. Похоже, это свойство мне досталось от отца: он обожал кофе на ночь, как рассказывает мама. Правда, умел готовить его здорово. Кофе по-восточному, не то что, простите, этот.

- М-да, а вот я, простите тоже, на ночь предпочитаю пару рюмочек, как вы заметили. Вероятно, опять же от предков: они, норги, все время должны были согреться. Наследственность!

- Именно, именно... Но вы, Свен, хотели поведать мне про эту шумную компанию.

- Конечно! Не удивляйтесь: это - старатели. Да-да! Ищут золото. Ну, как на Клондайке, ей-богу! Но... какое золото?

- Какое? - тут же задает вопрос Георг.

- А, вот в том и штука!.. Ладно, уж коль сегодня так случайно сложилось, то расскажу, если вам интересно.

- Очень.

- Было это, если точно, ровно четыре года назад, - начинает Свен. - Я приехал сюда, на Истрию, по турпутевке, в отпуск. Мне посоветовали: и достаточно комфортно, и совсем не дорого. Отлично, погрею кости!.. Действительно, так и было. Адриатика, тихо - ну, рай. Но поскольку по натуре я человек заводной, на одном месте скучаю, то стал ездить на всякие экскурсии, тем более тут есть что посмотреть. И вот однажды...

Ехали мы в Бриони - летнюю резиденцию Тито, что на острове в Адриатике, теперь там музей. Дорога шла высоко в горах, и где-то через пару часов сделали короткую остановку: размять ноги и так далее. Наш гид, точнее гидша, симпатичная женщина средних лет, поманила нас к краю обрыва. Я глянул вниз - и дух перехватило! Поверьте, я знаю, что такое горы, тем более при виде сверху, когда летаю на вертолете. Но тут... Это был каньон, узкий и глубокий, а на дне его искрилась река. Голые вертикальные сбросы, хотя кое-где есть лесистые участки. Такого глубокого каньона я в жизни не видел. И тишина! Понимаете, и кругом, и особенно там внизу - мертвая тишина, будто... будто это другая планета. Ну, я не романтик, но меня такое впечатлило. Не зря поехал на эту экскурсию, подумал.

Однако оказалось, что увиденное - только наполовину "не зря". Вторая половина - услышанное.

Сели мы в автобус, катим дальше, и гидша рассказывает. Будто давным-давно, в семнадцатом веке, сюда приплыл знаменитый пират Морган, который тогда уже скрывался от английского правосудия, вошел с моря по реке в этот каньон, обосновался там на некоторое время и закопал в только ему известном месте на каком-то склоне свои несметные сокровища. И отплыл не куда-нибудь, а в Австралию. В общем, сбежал, схоронился, в надежде через годы вернуться сюда и взять, так сказать, свое... Вот такая легенда живет тут с нами, продолжала гидша, а откуда она пошла, неизвестно. Кто-то когда-то сболтнул все-таки. Может быть, один из членов команды Моргана. Легенда жива до сих пор. Люди приезжают и ищут тот самый клад. Уже многое перекопали. Нет, не местные, они давно перекопали

первыми. Теперь - те, кого и называют старателями. Разные люди, иностранцы, для них это уже, похоже, некий вид спорта, ну и поживиться никто не прочь. Хотя в последние годы они тут все реже.

Вы знаете, Георг, меня чуть в кресле не подбросило! Отчего? А оттого, что у каждого, как говорят англичане, свой скелет в шкафу. Мой скелет - это наша семейная легенда. Еще одна легенда, вот так! Но обе они, черт возьми, сходятся. Чудеса!

Э, я закажу себе еще рюмочку "Хеннеси". А вам? Ну и правильно, не повредит... Так вот, ха-ха, про скелет. Легенда нашего рода гласит, что одним из моих предков был некий Енсен, мой, стало быть, пра-пра-пра, который плавал вместе с Морганом. Именно с тем самым. И пиратствовал с ним за милую душу. И будто бы удрал с ним в Австралию. Что с этим моим пра-пра-пра стало потом, покрыто мраком, но никак не иначе, он вернулся в Норвегию и кой-кого родил, и пошло-подлилось, иначе как бы я сейчас разговаривал с вами? Теперь вы понимаете, почему меня чуть не выбросило из кресла, пока вещала гидша?

- Стало быть, Свен, ваша фамилия Енсен? - спрашивает Георг. Он с трудом сдерживает чувства, хотя это и незаметно его соседу по столику.

- Именно Енсен, - кивает тот.

- Хотя Енсенов в Норвегии, простите, пруд пруди?

- Несомненно. Но тогда почему среди других Енсенов не бытует эта самая легенда?

- Да, очень интересно. А еще каких-то сведений про этого вашего пра-пра-пра у вас нет?

- Ничего. Кроме одного, пожалуй. Он так и не разбогател. Все мои предки, кого я помню, работали как черти. Какие там сокровища, какое наследство! Ваш покорный слуга живет только на свое жалованье. Но не жалуется, мне вполне хватает...

Кстати, - кивает Свен на компанию старателей, - видите, я был прав - они уже уходят. Обсудили очередную неудачу по части кладоискательства. Смешно, но они не знают, что искать там с некоторых пор уже нечего!

- Вот как? Вы уверены?

- Георг, говорю ответственно: да.

- Ничего себе! Заинтриговали. Чувствую, у вашей истории есть продолжение?

- А, ну да, ведь вы историк? - усмехается Свен.

- Нет, это была шутка. Я биолог, сейчас работаю по контракту в Массачусетском институте.

- А сами откуда?

- Сложный вопрос. Верней, вопрос простой, ответ сложный.

- И ладно... Значит, что потом. Было ли продолжение этой истории? Было, а как же! Думаете, перед вами вполне разумный, спокойный человек? Нет, перед вами авантюрист!

- Наследственность опять же, - улыбается Георг, хотя ему не просто интересно - он напряжен.

Свен согласно кивает:

- Именно, гены чертовы! Ну, слушайте.

Тогда, четыре года назад, я буквально заболел рассказом нашей гидши, но ничего не предпринимал, дожил до конца тура и вернулся к себе на Шпиц. Работал. Все как обычно. Однако постоянно думал о том самом каньоне. Полагаете, я мечтал разбогатеть или стать знаменитым? Ни то, ни другое. Легенда, легенда, и не одна, а целых две, но обе в одну точку! Ну, не может быть так, что это сплошное вранье, упрямо считал я. Стал просматривать литературу о Моргане, но оказалось, читать почти нечего, это раз, а два - источники ничего не упоминали о том, что он, сбежав

от англичан, приплыл на Адриатику, а потом и вовсе оказался в Австралии. И ни слова о сокровищах. Такой конфуз!

И тут я сказал себе: мой пра-пра-пра, конечно, был хищником, но за просто так с хищником Морганом не ударился бы в бега. Что-то ему светило, и отнюдь не малое. Может быть, зная о делах в каньоне, он вскоре решил обдурить самого Моргана? Решил или нет, но у него ничего не вышло: как я уже говорил вам, от тех сокровищ ему и единой монетки не перепало. А мне перепадет, вдруг родилась во мне уверенность, и я докажу - себе докажу, - что если две легенды бьют в одну точку, то это - как сходящиеся нити пеленга.

Ну, я же не зря сказал, Георг, что перед вами авантюрист. Ага, спокойный, законопослушный полицейский!..

Короче говоря, ровно через год я снова оказался по турпутевке на Истрии, вот в этой самой Стела Марис, и снова поехал на экскурсию в Бриони - а на самом деле еще раз глянуть сверху на каньон и переговорить с гидшей, если, конечно, экскурсию будет вести именно она. Мне повезло - авантюристам поначалу обычно везет. Сверху, с обрыва, гидша указала мне место, где Морган будто бы разбил свой лагерь. Плоская поляна над рекой. Значит, сокровища зарыты где-то поблизости? Ищите, не почувствовав серьезности моих намерений, отшутилась гидша, поблизости тут давным-давно все перекопано, и не только поблизости, а там тоже. И указала на противоположную стену каньона. Ну да, ну да! - отшутился я в свою очередь.

Но ту поляну я запомнил. Взял машину напрокат, прикупил плотную одежду, перчатки и поехал туда. Спуск, пока были силы, занял часа два. Я ж не скалолаз все-таки. Спасибо, что не сорвался. Однако заветной поляны не достиг. Вот если бы снизу, со дна каньона, с реки!.. Еще через пару дней, несмотря на еще не зажившие ранки на ногах и ушибы, приехал туда снова, причем обувшись уже не в кроссовки, а в специальные ботинки, которые мне порекомендовали в обувной лавке. Увы, результат оказался почти таким же: я спустился заметно ниже, чем в прошлый раз и, может быть, в конце концов и достиг бы поляны, но вовремя понял, что сил на обратный путь, на подъем, уже не хватит. Вернулся сюда, в Стела Марис, и долго приходил в себя. Ты не полицейский, а неудачник, повторял себе. С тем и вернулся домой, на Шпиц.

В прошлом году я оказался здесь снова с твердым намерением достичь результата. Для этого надо было хорошо экипироваться. Мотки веревок с карабинами, крючья, "кошки". Это мне в Лонгьире подсказали гляциологи. Достал, прикупил - рюкзак получился внушительным, поскольку еще и палатка. Опять же взял здесь машину напрокат. Выждал несколько дней, акклиматизировался после холодов Шпица - и вперед...

- Так, так, так! - вдруг усмехается Свен после короткой паузы. - Да, маленькая передышка. Давайте-ка по рюмочке, идет? И по чашечке кофе, хоть он тут, согласен, не самый лучший? Вот и чудесно. А я покурю пока.

- А я закажу, - соглашается Георг.

- Сделайте одолжение.

В ресторанчике тихо. Легкий говор посетителей, пианист выделяет импровиз на тему "Каравана" Дюка Эллингтона. Слышно, как на заливе покрикивают бакланы; обычно ближе к ночи они усаживаются на рассыпанных по воде камнях и время от времени переговариваются. Все хорошо.

- О чем я сейчас подумал? - опять усмехается Свен, загасив сигарету. - О том, что рассказывать продолжение этой истории я могу часами, со всякими подробностями: это было слишком невероятно, во всяком случае для меня, в мои-то годы! Что помогло? Организм в постоянном тонусе - профессия у меня такая... Да, могу

рассказывать часами, но зачем? Тщеславие? Нет, это не по мне. Поэтому постараюсь покороче, тем более что вовсе не я - главный герой всей этой истории.

Мне удалось наконец спуститься до той самой поляны, поляны Моргана. Там я разбил свой маленький лагерь: набрал хворосту, нарубил дров, установил палатку, потому что понял, что придется здесь заночевать, когда вернусь с противоположного склона. Потом - спуск на дно каньона. Потом - переправа через холодную реку, причем с надувным мешком, в котором снаряжение и одежда. Потом - подъем по новому склону, противоположному, если глядеть со стороны поляны. Потом - полное разочарование.

Мне повезло подняться до самой вершины, и на пути я видел следы многочисленных раскопов, старых, то есть почти заросших, и свежих. Я их не просто видел, а, конечно, обследовал, но нет: мои предшественники-старатели тут ничего не нашли, уверяю вас... И вот таким, разочарованным, к концу измотавшего меня дня я вернулся на поляну Моргана, где, спасибо моей предусмотрительности, меня ждала палатка, заготовленные дрова, а в рюкзаке - еда и термос с кофе. И тут, помню, я сказал себе: а почему полное разочарование? Нет, это, напротив, удача: они, дураки, искали вовсе не там, где надо! А где надо? - возник естественный вопрос. Но ответить на него мне не удалось, потому что сон сковал мой мозг, казалось, намертво.

Но нет, было утро, хорошее утро, я себя неплохо чувствовал, и голова соображала. Прямо напротив меня просматривался противоположный склон, где, перебравшись через реку, я вчера побывал и дошел до вершины. Смех и грех, сколько усилий попусту!.. А где не попусту, спросил я себя?

Взгляд налево: там река внизу и совсем не видимая отсюда сторона каньона, где я нахожусь. С противоположной стороной уже все ясно. Взгляд направо: каньон вдалеке медленно заворачивал влево и потому... потому, вдруг дошло до меня, та его далекая сторона, казавшаяся отсюда опять же противоположной, на самом деле... на самом деле сторона та же самая, где я сейчас и сижу? То есть если удастся продвигаться вдоль этого, моего, склона, а вовсе не перебираться через реку напротив, то можно обследовать этот склон, этот сброс, и выйти к его вершине, которая, кстати, отсюда все-таки просматривается.

Задача была поставлена. Помню, я хорошо позавтракал, прихватил необходимое и пошел. Главное, не свалиться на дно каньона, предупреждал себя. Знаете, Георг, мне это удалось. Герой! А вы говорите, авантюрист, неудачник!.. Ладно, едем дальше. Вернее, идем. Вернее, карабкаемся.

Много я пропускаю, ой как много, чтобы не утомлять вас! Поэтому только по сути. Все-таки пришло мне в голову, что с вершины горы, куда я поднимаюсь, должна быть видна поляна Моргана: ведь с нее, сидя там, я кое-как видел эту вершину. Ну вот, так и вышло. При мне были бинокль и фонарь, но о фонаре позже. Поднявшись уже прилично, я хорошо разглядел в бинокль место моей ночевки, даже палатку. И стал подниматься дальше.

Там все заросло низкими колючками и каким-то кустарником - похоже, тамариском. Вот за одним из этих сухих кустов я и увидел небольшой провал. Точнее, дыру. Ну, если встать на корточки, то вполне можно в нее втиснуться. Оставив снаружи рюкзак со снаряжением, за исключением фонаря, я в нее втиснулся. И был поражен: это даже не лаз, а приличного диаметра ход, вглубь которого можно двигаться, лишь пригнувшись. И он явно неприродного происхождения, поскольку свет моего фонаря отмечал на стенах следы от лопат и других орудий труда.

Через минуту, верно, я чуть не помер от страха. Мимо меня, задев и даже отбросив в сторону, промчался некий зверь. Конечно, я спугнул его светом фонаря и звуком шагов. Кто это был? Пещерный медведь (вот, медведь опять же!)? Вряд ли. Может,

лиса или какой-то крупный грызун. Я его не разглядел, только, повторяю, чуть не помер от страха. Но успокоился, поскольку опять воцарилась мертвая тишина. В жизни такой тишины не слышал!

Финал этой пещерной одиссеи вышел скоро. Еще минут через пять лаз несколько расширился. Фонарь осветил тупой конец. Все. В нос ударил тяжелый запах - не иначе, именно тут квартировал и попутно управлялся зверь, которого я спугнул. Но! Но под ногами у меня замерцало нечто.

Именно замерцало. Черная тьма, свет фонаря и - два окованных сундука с откинутыми крышками. Я остолбенел. А потом, поверьте, опустился на колени и подполз к этим сундукам. Я не верил своим глазам. И правильно делал. Потому что сундуки оказались пусты.

Вот так-то, мой дорогой Георг! Ну что, еще по рюмочке, да, а то я, простите, разволновался. Ничего-ничего, все окончится хорошо, как в сказке! Закажите, это за мой счет...

Представьте себе идиота, который сидит на коленях в черной пещере и долго таращится на пустые днища сундуков, поводя туда-сюда фонариком. То еще зрелище! Но что меня всегда спасало, так это устойчивая нервная система. Да, сказал я себе, тут кто-то побывал до меня, да, взял сокровища Моргана, но... но я оказался прав! Две легенды в одну точку просто так не попадают, и я нашел это место! Иди себе с миром, Свен, сказал я себе, все хорошо, ты молодец.

Я поднялся с коленей и напоследок еще раз прошелся кругляшком света по сундукам. Ничего. А затем прошелся по земле. Там опять же что-то сверкнуло. Пришлось вновь опуститься. Крохотная фигурка, плоская. Явно старинная. Я оттер ее от земли. Никак золотая, подумал. И оказался прав, но это выяснилось после, когда я вернулся домой. Как и то, самое главное, что эта фигурка - ацтекская. Вот такой подарок сделал мне ненароком похититель клада Моргана. Хотите поглядеть на нее, Георг? Она с тех пор всегда при мне.

Свен приспускает "молнию" куртки, расстегивает ворот рубашки и через голову снимает цепочку.

- Да, уже на Шпице тут просверлили маленькую дырочку, как вы видите, чтобы можно было носить. Теперь на мне две цепочки: с крестом и вот с этой золотой фигуркой ацтеков. Думаю, я ее заслужил.

- Вполне заслужили, Свен, - кивает Георг.

- Однако это не конец истории. Потерпите еще две минуты. Потому что я обнаружил там еще кое-что.

Георг не верит своим ушам:

- Неужели?

- Не понял, вы о чем?

- Продолжайте, прошу вас.

- А, ну да. Где-то в метре от сундуков валялся... именно валялся, перепачканный, весь в земле, старинный подсвечник. Это не крохотная поделка, его просто так не обронить. Значит, подумал я, подсвечник оставили специально. А как иначе: все забрали, а эту дорогую штуковину оставили? Да, оставили, конечно, а почему? Может, за ненужностью? Не знаю. И несомненно, не бросили под ноги; это зверь тутошний свалил, шастая туда-сюда... Что мне оставалось? Конечно, я взял подсвечник с собой. Привез домой, на Шпиц. Выяснилось, он из бронзы, эпохи средневековья. Предлагали продать. Нет, это мое. Так и стоит у меня дома вот уже год. А на Рождество я зажег в нем четыре свечи. Мне было хорошо... Всё, конец. Такой вот детектив от норвежского полицейского.

После паузы Георг спрашивает:

- Любопытно - а почему ровно через год вы вновь приехали сюда? То есть сейчас?

- Это совсем просто, - тут же откликается Свен. - Отдохнуть, это раз, мне действительно нравится Истрия и Стела Марис. А два... ну, знаете, как говорят, преступника всегда тянет на место преступления. Я не преступник, но, черт возьми, тянет сюда, тянет! Старческая сентиментальность, наверно.

- Бросьте, какой вы старик!

- Ну да, пусть так.

- А скажите, вы не задавались вопросом, кто же опередил вас, кто взял сокровища Моргана?

- Задавался, думал, но коротко. Конечно, не придурки-старатели. Ясно, этот человек был умнее меня. И что-то знал изначально. Знал место, потому что каким-то образом вычислил его точно. Но это - за пределами моего разума. Нет-нет, мне и моего хватило. Я поставил точку именно в своей истории.

- А если ее чуточку продолжить? - усмехается Георг. - Если я вам скажу - кто?

- Что - кто?

- Кто вас опередил, Свен.

- Вы... серьезно?

- Нет, не я, успокойтесь! - почти хохоча, отмахивается Георг. - У нас с вами вышла престранная встреча здесь, в Стела Марис. Реальность, которой не может быть, но которая все-таки случается. Вы - потомок того самого Енсена, который украл подсвечник у Моргана. А я - потомок, точнее сын, того самого человека, который купил у бывшего пирата Енсена этот самый подсвечник и затем, благодаря ему и волею непредвиденных обстоятельств, спустя столетия отыскал сокровища Моргана. А вам - так получилось - в конце концов достался этот самый подсвечник. Вокруг него такие страсти кипели, и не одно столетие! Тот еще детектив, поверьте, почище вашего!

Как однажды определил подобную ситуацию русский писатель Гоголь - немая сцена.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЕРШАЛАИМ

Священно число "четыре"!..

Старый Армуш опять в Ершалаиме, опять сидит на шукке в центре своего старого ковра, опять мелко торгует и опять ждет. Нет, теперь не адмирала-пирата Моргана (царствие ему небесное) и не магистра медицины Довера (то же). Армуш ждет ту самую пожилую даму, которая однажды явилась ему здесь - в парандже, но без чачвана, - и тут же будто испарилась. Давно это было. Ну, для нас давно, а у Армуша свой счет со временем.

Он знает, что в конце концов дождется. Поэтому ему не изменяет хорошее настроение, жара не слишком угнетает, а по вечерам, когда шукка пустеет, погружаясь во тьму, и на небесах проявляются, будто на фотографии, библейские звезды, он спокойно ужинает в ближней лавке традиционной для него горячей лепешкой с кружкой овечьего молока. А потом, уже ночью, заворачивается в свой ковер. Все смешалось в этом богоугодном мире, но Армуш давно простил Владыке подобное сумасбродство, и потому тоже, что ему-то, страннику, постоянство (гомеостаз) никогда не изменяет.

Значит, он ждет. И, конечно, в конце концов дождется. Хоть в очередной раз перессорятся местные вожди, попытавшись прогнать одного другого со Святой земли, а Владыка вновь сделает вид, что ничего не замечает. Да пусть перессорятся и даже

поубивают друг друга - шук здесь будет всегда, ибо шук вечен.

Старый Армуш сидит на вечном шуке и ждет. Будет день, и из знойного марева вдруг выплывет эта пожилая дама, в парандже, но без чачвана. И тогда, сотворив известное только ему перевоплощение, Армуш, яко юноша, подскочит к краю ковра и громко скажет этой девчонке:

- Антанта, где тебя носило столько времени, сердечное согласие мое?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Некто Армуш действительно отыскал на полуострове Истрия в Адриатике клад Моргана, закопанный там адмиралом-пиратом в 1672 году, и, как в том не сомневался врач-пират Довер, достойно им распорядился.

Почти все сокровища, особо те, которые представляли историческую ценность, Армуш передал знаменитому Антропологическому музею в Мехико, то есть вернул их на родину владельцев, ацтеков. Немалая сумма ушла, так сказать, на командировочные расходы, поскольку пришлось помотаться по свету. Еще немаловажное - это два надгробия, установленные Армушем: одно на кладбище в Гламоргане, Уэльс, родине Моргана, куда перевезли прах адмирала из Австралии (надпись там та же: "Адмиралу волею Англии"); второе - на католическом кладбище в Ершалаиме, с надписью: "Магистр медицины Довер". Ну и наконец, все оставшееся было отдано Антанте и ее подрастающему сыну Георгу (а вообще-то, Геворгу, как вы уже догадались).

Напоследок Армуш наказал Антанте съездить вместе с Геворгом, когда он станет взрослым, на Истрию и с высоты каньона глянуть на поляну Моргана и на вершину, где, благодаря подсвечнику и, конечно, всем описанным выше обстоятельствам, материализовалась эта невероятная, правдивая история, времени у которой нет, как его нет у птиц, безвременно летящих навстречу друг другу.

книга третья
М О Р Ф О З Ы

А не начать нам сызнава с любви неземной, а закончить вселенской печалью? Ан нет, печалью мы не закончим. Потому что какая уж тут печаль, когда опять же все возобновится! Именно так. И все персонажи, уже наново, опять пребудут обыкновенно-преотлично. Вот, скажем, эти.

Эти - а почему не те? А ну их, тех, к бесам: ведь всякого пишущего в сей момент странно интересуют именно эти, эти. Действительно досужий вопрос: почему?

А не надо, как говорят китайцы, дергать тигра за усы. Пишущий, он ведь может и осердиться: что же вы, господа хорошие-съедобные, простого не разумеете?

Поэтому ему, пишущему, не до остальных, а именно до этих.

Вот, скажем, из наших северных столиц катит некий поезд куда-то на юг, а другой поезд, одновременно с первым, катит сугубо супротив, то есть на север, в белые ночи, к студеному морю, конкретно к Белому. И тут такая странность: один это поезд или их два, нам покуда неведомо, ибо сидят там, в одном и том же купе, одни и те же персонажи, только никто пока не знает (и пишущий тоже), кто из них куда едет - кто на юг, а кто на север. Вот так и получается престранно: один все-таки поезд, одно купе, а в нем одни и те же персонажи. Кто катит на юг, а кто на север. Такого не бывает, скажете вы. Ага, бывает. Надо только всмотреться пристальней.

Вот старик, откинувшись всей спиной на уютные колдобины старого матраца верхней полки, все трет и трет заржавленную левую ладонь; растирает, пытаюсь ее разогреть, и время от времени натужно сводит в кулак скрюченные пальцы, но до конца они пока не сводятся. Вот Акакий Акакиевич, снизу который, по привычке петербургской своей, опять же ежится, мелко поводя плечами под утлой шинелькой. А вот и Танька-Понька, снизу же, прямо напротив Акакия Акакиевича, все болтает без устали да улыбается острыми зубками на расставляемую своими ловкими руками всякую снедь на купейном столике; "Чё приуныли? - вновь проговаривает по-северному, через "чё". - Уж скоро, только кто бы из вас за чайком к проводнику сходил, а, ну?" И конечно, кивает на Акакия Акакиевича. Тот, понятно, в ответ лишь поводит плечами, безмолвствуя, но в сей момент с другой верхней полки, что напротив старика, свешивается головка совсем юной особы, лет, эдак, пятнадцати, и радостно восклицает: "Нет, вы послушайте, послушайте! Рыба, э... - И тут упирается возбужденными глазами в страницу читаемой ею книги. - Вот... "Слушай, рыба! - сказал старик негромко. - Я ведь от тебя только мертвый отстану". Старик, что как раз напротив этой юной девы, на какое-то время прекращает растирать левую кисть и шепчет в потолок купе: "А, да, так и было. - И затем тихо вздыхает: - Был бы тогда со мной мальчик..."

Вот такие они, эти, которые в купе. Едут себе куда-то, а куда конкретно - на юг или на север, - пишуший эти скромные строки и сам пока не ведает. Ох, предчувствует он, заведет его эта вражина-писанина совсем не в ту степь, нашим славным критикам на радость.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

На 12 декабря, дурной день, пришлось именины Акакия Акакиевича. Впрочем, можно и наоборот: именины Акакия Акакиевича, по велению исторической закономерности, пришлось на дурной день 12 декабря. Так или иначе, следовало позвонить.

Разговор в тот раз получился никчемным, пустым и смешноватым. Это прежде, лет эдак под сто назад, все-таки содержался в очередном поздравлении какой-то познавательный смысл, однако уже позже, к концу истекшего, слава Богу, столетия, иронии поприбавилось. А теперь, сегодня, как сказано выше, стало спокойно-смешновато.

- Уж не из вашей шинели мы вышли, уважаемый! Да и вообще не из шинели, если сказать истину. Духовный папаша ваш сумасбродный - что он напридумал? Фантастику! Так и записал ведь, будто ваша бедная история неожиданно принимает фантастическое окончание. Ну уж дудки, скажу я вам! Да тлели бы вы в гробу своем сосновом, вместо того чтобы по Петербургу шастать ночами да на чужие шинели зариться! Это что за бред? Бред именно, а не какая не фантастика! Ибо свое надобно иметь, а не завидовать, вот как духовный папаша ваш. Всю жизнь завидовал. А поскольку в жизни так и не смог зависть перевести в действие, то писаниной занялся, лукавя под фантастику. Вот и отрабатывал душою свою неустойку. Хотя гениально, конечно, черт его дери, что ж тут скажешь, гениально! Как выйдет из тоски-депрессии, то и строчит, строчит. Отработает неустойку - и вновь тоска, ох какая!

Акакий Акакиевич в продолжении этой долгой речи собеседника лишь

покашливал да переключал телефонную трубку от одного уха к другому. Но изредка вставлял: "Я, того... Да ладно уж вам".

И действительно - ладно. Иронии не было, только спокойно-смешноватое. На финале следовало опять же поздравление с очередными именинами, и так прощались до следующего года, до 12 декабря, теперь надолго, в новом, двадцать первом веке.

2

Вот тогда, но уже в летнюю пору, занесло пишущего не куда-нибудь, а почти на Крайний Север, в Мурманскую губернию. Хотя, если вторить не извозчику, который, как известно, лучше всех знает географию, ибо рано или поздно все-таки доведет до нужной станции, а картографии, то оказался пишущий уж не чтобы на самом Крайнем Севере, а, так сказать, на его южной окраине. Юг севера - это, конечно, здорово, потому что все равно до костей пробирает, несмотря на календарное лето и, понятно, белую ночь. В общем, плюс четыре поутру, а в полдень аж на два градуса повыше.

Местечко это звалось Поякондой, куда пишущий и прибыл по своей воле, а вовсе не как ссыльный, и далее еще плыл три часа на мелком морском катере, окончательно захолонув в трюмном отсеке; было там воистину холодно-мерзко. Однако и спасибо: когда выходил покурить на раскачивающуюся бортами палубу, секущий дождем ветер оспин на лице не оставил.

Ну ладно, это проблемы его, пишущего, - зачем он туда собрался и там обозначил очередную краткую часть своей биографии. Его всегда тянуло в заповедники. Людей - раз-два и обчелся, а воли вдосталь. Вот и теперь. Намерзся, несмотря на лето, но воздухом налил легкие впрок, и акварелей тонких нарисовал в душе, и ночной (точнее, белоночной), тут же выбрасываемой за борт лодки рыбы наловил достаточно. А потом, уже под утро, спал под тремя одеялами, а потом, уже под белый вечер, опять же все сначала.

Ладно, повторяем, это проблемы его, пишущего. Но вот затем... Стоп: а ведь не зазря тут у нас только что выведено отточие! Не надоело ли вам, что это лицо зовется "пишущий"? Право, надоело. Можно ведь и покороче. Скажем, так: господин П. Другой вариант: просто П. Последнее нас устаривает более. Чем короче, тем точнее. Значит, П, и все.

Итак, П.

П, которому чуть за сорок, встречает в славно-задрипанной Кандалакше Таньку-Поньку, которой чуть за двадцать.

Сначала, под вечер, три часа его везет катер до Пояконды, потом еще два часа - на местном поезде до этой самой Кандалакши. Уже под ночь, если глянуть на часы. Но бело еще, бело! В скромных шелках северных - ни облачка; какая-то, как сказал школьный друг в мартовском детстве, "отсоси-сосулька!" Несвершившимся поэтом был школьный друг, сколько "с" нашел в двух словах, аллестерациатист, в себе такого не знавший! Погиб а Афгане, все просто.

А П еще живой. И хорошо ему. И выясняется, что до московского поезда - уйма времени, часов пять. То есть даже не ночной поезд, а предутренний, вот только на него, возможно, и будет место. Это как? А так, мелко жуя, отвечает пожилая дама за окошечком вокзальной кассы: только за час до прибытия и выяснится. А пока, отмахивается, гуляйте, гуляйте!

Ладно, пусть так, нормально. Прощанье с севером, пять часов. А в конце концов, может, и повезет...

П мелко перекусывает в привокзальном буфетике, естественно стоя (кофейный напиток, пара бутербродов), выходит из этого низкого рассыпающегося строения еще гулаговских времен, запахивается в теплую куртку, сладостно закуривает и говорит себе: "У меня уйма времени - и что?"

Ясно что. Отсюда, от вокзала, до берега моря, наверное, с час ходьбы. Так? Поэтому, конечно, к морю, попрощаться. И окликает какого-то мужичка. "А, так вы на залив? Ну, дак вон туда-туда, сначала левей, потом через мост, потом..." В общем, понимает П, минут через сорок можно и добраться. И, оставив рюкзак в камере хранения, следует указанным маршрутом. Сорок минут. Белая ночь. Вокруг - никого.

Дальше - в прошедшем времени, ибо давно это было.

Если по часам, дело шло к полночи, а все еще прозрачно, лишь чуть сумеречно и откровенно тихо, только собачий брех слышался изредка, а то, еще реже, возникал рядом, как тень, один из этих мохнатых дворников и, труся рядом с пару минут, как-то, только ему ведомо, вызнал: "Ты куда, чужой? А туда, мимо, - ну и иди себе, ладно, если не ко мне..." П опять обнаруживал себя привычно одиноким. И хорошо. Городок с вокзалом и пройденным затем мостом через мелкий серый галечник отметился в сознании скромно, но надолго: это было.

Какие-то он обходил низкие заржавленные гаражи, мелкие, не иначе для мотоциклов, а дальше пошло под уклон, потянулись такие же низкие почерневшие баньки, и тут - уже ожидаемо - впервые мелькнул черно-синей кляксой Кандалакшский залив. Вернее, маленькая его частичка, поскольку все еще мешали те же гаражи и баньки. Но вот и они остались за спиной - П выбрался наконец на низкий, жуть какой неприятный голый берег.

Холодный камень, никакой растительности, где-то далеко сзади - редкие собачьи перебранки. Ночь, серо-белая, а впереди - огромная туша черно-синей глади. Мертвой. Плоская туша приняла вид женского чулка, длинного, кое-где, как и положено, менявшего диаметр, но ближе к началу бедра естественно расширявшегося: там, конечно, был выход из залива в самое море. Километров на десять протянулось это мертвое космическое зрелище.

И тут справа, где еще висел над самой водой прощальный золотой рожок солнца, образовалось плоское черное крыло облачности и, снижаясь к горизонту, стало скрадывать свет. Будто диафрагма, только не концентрическая, а горизонтальная. Яркие лучи брызнули из-под нависавшей черноты и низко-плоско осветили залив, весь чулок. Чулок вздрогнул и налился черным золотом. Такого П никогда не видел.

Но и это было еще не все в те минуты. Источник света покуда кой-как чудодействовал справа, а слева, в бедре залива, во входе в Белое моря, показалось большое судно, то ли сухогруз, то ли лесовоз с черным корпусом и белым такелажем. И вот это белое тут же вспыхнуло - одно во всем огромном затухавшем пространстве, под низким пластом последнего яркого света. Далекое отсюда судно двигалось еле заметно, медленно, но округлая белая рубка, и белые трубы, и белые мачты-антенны светились еще очень долго, пока у П хватило терпения наблюдать. Вскоре уже не было другого света в этом заливе у Кандалакши. Давно настали новые сутки, и, как всегда тут, несмотря на вроде бы лето, пар шел изо рта, и пальцы замерзли, так что хоть кури не кури...

Совсем стало тихо, просто мертво, и П даже подумал, дойдет он до вокзала или нет. Подумал так и усмехнулся: а кому, дескать, ты нужен и куда ты денешься? И правильно. Только Таньке-Поньке он и оказался нужен тогда.

Было уже около двух пополуночи, он вернулся на вокзал, обнаружил, что буфет закрыт до утра (вот черт!) и, забрав из камеры хранения рюкзак, облачился во все теплое. Ладно, пусть, потому что в глазах до сих пор светился черный залив.

"Это вечное", - подумал П и оказался прав. И тут увидел Таньку. Значит, пора опять из прошедшего времени возвращаться в настоящее.

Возвращаемся. Задрипанный, жуть какой холодный зал вокзальчика в Кандалакше, ночь. Пара лавок, спасибо, со спинками. Несколько мужиков жуют, несколько баб зевают, несколько особей неопределенного пола, подтянув коленки к животам, спят. Изредка проходит молчаливый мент, кивает себе в мелкий ус и куда-то истлевает. Возникает существо добро-мохнатое, семена, жадно ловит запахи и все-таки дожидается шкурки колбасы. Кисло и холодно. Все такое родное, аж слезу уронить тянет. Вот только скорее бы свалить отсюда! Однако ж что странно, понимаешь тут же: на следующий год, коль здоровье будет, опять притянет сюда. Ну что за напасть, а? Ей-ей, чистый Гоголь, к которому мы еще вернемся. Да черт с ним, с этим Гоголем, потому что вот Танька.

Она, Танька, вдруг усевшаяся на противной (то есть противоположной) лавке, рьяно двигает нижней челюстью, пережевывая "Орбит", и посматривает на П. Ну, с П нам все ясно, поэтому сейчас опишем Таньку.

Да не Танька она еще, а просто безымянная девка. Сидит себе супротив и рьяно двигает нижней челюстью, да так, что у тебя слюна аж выделяется. Молодец, жвачное! И этой жвачной, ну лет двадцать, видимо.

И точно, что двадцать, как выясняется после.

- Ты куда? - говорит, усевшись рядом и мелко шмыгнув носом. - А, в Москву! Чё, там живешь? А, дак! (Это она произносит, не скрывая явной зависти.) Ну и чё? Когда? Поезд твой когда?

Да вот, через пару часов, отвечает П, улыбаясь. А почему он улыбается, покуда ему неведомо. Хорошая девка сидит рядом, вот и все. Дурь вокзальная, вот и все.

Хорошая девка, эта дурь вокзальная, в какой-то задрипанной Кандалакше, что в Приполярном круге, где белой ночью идет пар изо рта, вдруг тянет себе под нос:

- Ты билет еще не взял, это за час, ну и хрен с ним, поедешь завтра, а пока пошли, а?

- Куда?

- Ну! Дак ко мне.

П еще не до конца определился с диспозицией.

- Мне через час билет выкупать, - повторяет, а ему тут же в ответ, вставив губы в самое его ухо:

- Ты чё, мужик? Тебя на ночь зовут, а ты - билет! Ну, завтра поедешь. Дак? Или жена ждет?

- Не ждет. Нету жены.

- О, и классно! Пошли?

И тут П начинает соображать. Ладно, ночь, а потом? То есть что будет утром, и днем, и вечером? Как прожить весь следующий день до нового ночного поезда? В этой задрипанной Кандалакше? Да и вообще, между прочим, сколько все это будет стоить?

- Тебя как зовут? - вопрошает, убрав до поры беглые свои мысли.

Она опять шмыгает носом:

- Таня. А хочешь, Танька.

- И сколько, Танька?

Она тут же называет цену. По Москве, наверное, никчемная цена, но у П сейчас и таких денег нет: конец путешествия, поиздержался. И говорит, как оно есть. Иногда приятно быть честным.

- Ой! - вздыхает она. - Ты че, серьезно? Ну даешь, мужчина! Всего-то?

Он опять улыбается, понимая, что игра кончилось. И хорошо.

Тут опять возникает в зальчике давишний мент и, медленно следуя меж лавками, пристально смотрит на Таньку. Та морщится. Затем, когда мент отходит к провалу двери, шепчет:

- Ладно, ладно, давай слиняем быстро, только по одному, понял! Я выйду - и направо, а ты потом, минут через пять, понял? Чтоб без этого, без мента.

- И что будет потом? - всерьез интересуется П.

- Как это чё? Чё тебе нужно! А деньги твои сраные - пусть. Все равно сегодня больше не срублю, это ясно. Понял, дак?

- Да, - только и отвечает П. И кивает, кивает. То ли ей, уже ушедшей, то ли себе, смурному, то ли видению залива в Кандалакше, которое еще светится в его памяти...

Была она какая-то погасше-белая, как и эта ночь. Затухающая. Ну, белобрыйская, ну, светлокожая. С широченной, как у Буратино, улыбкой. С маленькими острыми зубками. Отнюдь не длинноногая, но с выраженной талией. Все прочее - средне, вполне нормально, не более. И пахло от нее сырым сеном...

В три часа ночи, чуть ли не крадучись, они наконец подходят к ее избе где-то на задворках Кандалакши.

- Ой, ну дома! - вздыхает Танька и растягивает улыбкой буратинный рот, предварительно сплюнув жевательную резинку в уже покрытую инеем траву. - Ну, слиняли от мента. Лишних триста мне оболомилось бы, вот так-то!.. Ладно, а теперь тихо, - шепчет, - понял: тихо! Мамка тут у меня, понял. Мы с мамкой живем. Мамка накричит, но позволит. Мамка в горнице, а мы с тобой уляжемся в задней комнате, дак. Только тихо... А как тебя звать, между прочим? - вдруг спрашивает, распахнув глаза, и даже в ночи П это примечает: как там, в ее зрачках, какой-то странный интерес возник. То ли досужий, то ли шахматный, то ли и вовсе дьявольский - не разобрать теперь.

А холодно! Видимо, избу эту мамка давно не протапливала, хоть и лето. А летом тут все равно протапливать надо, коль есть дровишки. Печь, замечает П, имеет место, а тепло отсутствует. Такая вот ночь с дикой девкой вместо теплого мурманского поезда, который катит домой, в Москву...

Танька за стеной что-то долго обсуждает с матерью, впрочем, без повышенных модуляций, и за это время П успевает вполне согреться, уже лежучи под клочкастым лоскутным одеялом. Сыро и кисло, а еще в ногах кошка норовит уместиться. Тут и приходит Танька, и сразу ложится, уже под одеялом скидывая мелкую свою одежду. "Только без глупостей, - шепчет, - понял, без глупостей!" - "Это как? - усмехается П вполне довольный. "А так, - вновь вышептывает она и, вот чудо, уже оглаживает его холодными ладошками - вверх-вниз, вниз-вверх, - вот, чтоб никаких ваших московских извращений, дак, понял! Иди в меня, и все. И не бойся - я чистая..."

И пахнет от нее сырым сеном, сладко и кисло, самой жизнью осенней, неприятной, но вечной.

А вот почему она обозначилась потом именно как Танька-Понька, это и верно - потом, потом...

3

Вечный титулярный советник г-н Башмачкин, то есть наш любимый попутчик Акакий Акакиевич, выпучив серые глаза, наконец скидывает шинельку, ибо, кажется, согрелся, и тихо переспрашивает: "Так это, того, куда?" То есть, имеет он в виду, в какую-такую аптеку бежать ему и где она тут? Кругом хохлы и татары, ослики по

набережной разгуливают, шашлычный чад стоит, аж всяческий аппетит пропадает. Это, ей-Богу, уж слишком, говорит Акакий Акакиевич и в завершении краткой речи своей добавляет нечто витиеватое, хотя тут же извиняется. Старик косится на него, покачивает головой и, поскольку, кроме родного испанского и нескольких расхожих англо-американских фраз для туристов, с прочими наречиями не в ладах, опять произносит, выставив в потолок сухой палец: "¡Farmacia, farmacia! ¡Entiendeme: farmacia! ¡Sal marina, sal! Date prisa!" *

* - *Аптека, аптека! Пойми ты: аптека! Морская соль, соль! Иди скорей! (исп.)*

Акакий Акакиевич как-то понимает или догадывается, о чем речь, и П как-то понимает и догадывается о том же, и только Танька-Понька ни о чем не догадывается, поскольку сейчас ее тут с нами в сей конкретный момент нет. Гуляет! Акакий Акакиевич наконец-то вскакивает и, пошарив в кармане сюртука, удовлетворенно кивает, потом спешит из номера. И хорошо, что спешит: надо скоро, скоро, ибо дочка наша, наша ихита, как называет ее старик на свой лад, почти уж умирает.

Токсикоинфекция бродит по Крыму, эдакая шустрая тварь с косой, вот и до девочки нашей добралась. Не до стариков, как мы трое, а именно до нее, пятнадцатилетней, еще не любившей и не родившей. "Сволочь, - шепчет старик по-своему, по-испански. - И тебе я ее не отдам! Наконец не отдам. Это моя, наша рыба. Ты не акула, ты хуже, но именно теперь не отдам... Эх, был бы мальчик со мной, - вздыхает опять".

4

В Кандалакшу можно только приезжать или из нее только уезжать (скорее-скорее, промельком!), потому что жить там человеку совсем невозможно. Помните, как горько подтрунивал над нашими давно почившими великими недавно почивший великий:

Куда там Достоевскому
с записками известными:
увидел бы покойничек,
как бьют о стены лбы!
И рассказать бы Гоголю
про нашу жизнь убогую:
ей-богу, этот Гоголь бы
нам не поверил бы!

Ладно, нам-то ясно, что подтрунивал Высоцкий не над ними вовсе. Не над кем, а над чем! Хотя, скажем, Гоголю еще повезло: в Кандалакшу его не заносила судьба, ибо он все чаще в Италии бытовал, ото всякого страдал, только не от холода и мелкой мерзости (от крупной, кстати, тоже). А как пострадаешь от холода-мерзости, то и не такое напишешь! Или другой вариант: не напишешь ничего, коли душа пуста и не сочинитель ты, во-первых.

Опять же ладно, хватит намеков! Натек новый день, чуть растеплело, градусов двенадцать, кой-где, если глаза вскинуть, даже голубизна обозначилась. До ночного поезда, следующего, уйма времени, и тут Танька говорит всегдашним шепотом: "Щас чаю заварю, а потом, делать-то чё, нечего, пойдём-ка, значит, погуляем".

Не иначе, понимает П, хоть как-то, но приглянулся он ей. Да и она ему, заметим, тоже. А чем, пока не ясно. Ай, нет, врет П, сочинитель: уже ясно, ясно! Но это он поймет позже.

Когда? А дня через два, когда уже в Москве сошла с него, как первый загар на юге, ее, Танькина, ночная кожа. Отделилась. Забыл он ее, внезапную девку из задрипанной Кандалакши! Забыл, вымел из сознания, как поутру выметал сор из своей московской кухни, но - вот чудеса - вскоре она, Танька-Понька, эта странно-грубоватая самка человека, привокзальная добытчица, ласково воскресла, но уже как образ. Вот он:

"Была она какая-то погасше-белая, как и эта ночь. Затухающая. Ну, белобрысая, ну, светлокожая. С широченной, как у Буратино, улыбкой. С маленькими острыми зубками. Отнюдь не длинноногая, но с выраженной талией. Все остальное - средне, нормально, не более. И пахло от нее сырым сеном..."

Именно так. Но вот еще, и это, конечно, вырисовалось уже потом, когда П уехал. Лицо, знаете ли, это четыре определяющие общее впечатление момента: овал, глаза, нос и губы. Так вот, овал - ничего особенного, некий угро-финский. Какой? Да никакой. А вот глаза... Чуть посаженные вглубь, так что смотрела она, Танька, все время будто исподлобья, в тебя внимательно всматриваясь. Это нравилось. Хотелось спросить: "Что, девочка?.." Дальше - нос. Маленький носик, но несоразмерно к нему, такому, широкие, даже широченные ноздри. Смешно, да и только. Ребенок, правда!.. И наконец, губы, последняя позиция в нашем рисунке. Чудо: буратинные, как уже было сказано, тонкие, длинные, растянутые вверх, к ушам. Вопросительный взгляд гас, а она, Танька, казалось, всё улыбается. Стерва... А остальное, то есть тело, - средне, нормально, привычно, не более. Только талия, да. Ладонямихватишь - будто сосулька мартовская тут же тает, когда, предвкушая очередное дурное счастье, воздух ртом набирает шумно. Ну, не сосулька, а Танька, конечно...

Нет, и вправду, вспоминал потом П, странная парочка занималась любовью той затухавшей белой ночью где-то в Мурманской губернии, конкретно в Кандалакше: она, Танька-Понька, белобрысая, озорная, ругливая, двадцатилетняя, и он, П, смугловатый, уже с залысками, сорокалетний. Странная парочка. И ладно, если б за деньги, тут все понятно, но ведь денег она с него так и не сняла, ни рубля! А он, мужик взрослый (ироничный! ах, какой небездуховный все-таки!) даже не отдал ей ничем, уезжая. Вот такой он дурак сорокалетний, это точно!.. Итак, повторяем, натек новый день, до ночного поезда, следующего, уйма времени, и тут Танька говорит всегдашним шепотом (это чтоб мамка не слышала за стенкой): "Щас чаю заварю, а потом, делать-то чё, нечего, пойдём-ка, значит, погуляем".

А делать-то чё? Действительно нечего. Так и вышло. Вышли. В холод, но хоть с голубизной, спасибо. Плюс двенадцать. Самое лето.

Путешествие к центральной площади, где, оказалось, все-таки имели место низкая гостиница и такой же ресторан серого кирпича, никак не вдохновляет. Поэтому Танька и говорит:

- Слушай, друг любезный, бля, а пойдём-ка на залив, это единственное, что тут есть. Море все-таки.

- Не ругайся, - в который раз повторяет П, но внутренне радуется. Залив, конечно. Теперь днем.

Обратно к вокзалу, а оттуда - уже хорошо знакомый маршрут, вчерашний: через мост, мимо низких гаражей, мимо молчаливых собак. Ходу, если медленно, с час. Вот с час они и идут, она и он, эта странная парочка.

И тут, лишь вывернули к заливу, будто водопад обрушивается: Танька-Понька говорит без умолка. Как уже и привычно - ругаясь, хохоча, растягивая рот до ушей,

резко взмахивая руками, потрясывая белобрысой челкой. То ли ей выговориться наконец надо, то ли и впрямь приглянулся ей чем-то этот самый П, любовник ее ночной, скоротечный, который уже через несколько часов сделает ей ручкой - и все, конец спектаклю! Данному спектаклю, уточним, потому что аналогичный, может, и будет когда-то, но уже с другим персонажем в заглавной роли.

Впрочем, оставим это прочим, а покуда в данном действе именно эти двое. В данном действе Танька и становится наконец той самой Понькой, которую (как вторую часть ее роскошного и единственного для П имени) мы обозначили в начале.

Конечно, он, П, валяет дурака. Конечно, он сразу понял, что не Понька, а Поньга. То есть через "г" - Поньга. Но вот, черт возьми, литература все-таки: Танька и Понька - через "к" именно! Именно так и сложилось для него эта самая Танька-Понька.

А почему, если по правде, все-таки Поньга (которая через "г")? Слушайте.

Оказалось, родом Танька не отсюда, из Кандалакши, а из Онеги. Много южнее, километров эдак пятьсот, а по железкам да со всяческими пересадками, то и за два дня доберешься лишь. Город Онега, знаешь, а? Это где река Онега в Белое море утопает наконец. Точнее, в Онежскую губу. Ой, чудное место! Тепло-то как по сравнению с тутошной сранью-дранью!.. Так вот, прямо-таки против губы нашей, только левее, и есть моя деревня - Поньга. Ага. Ну, левее, да, если плыть по реке... Господи, бля, ну, если хочешь, да, западней, ну что ты ко мне пристаешь с этой твоей географией! Дак, говорю, левее!

Значит, до города, то есть Онеги, на лодке, на баркасе - переправа, ну минут сорок. Вот и весь сказ. Город на виду - а мы-то у себя, в деревне. В Поньге. Ой, какая деревня, милый! До семнадцати лет там прожила, с мамкой-папкой и братьями. Дом наш - ну... че, знаешь, что такое северный дом? А, знаешь! Подъятый, высокий, чтоб зимой холод не жег снизу, - то есть живешь на втором как бы этаже, все дерево, двор и амбар внутри, как в единой крепости, в доме том же, а там, известно, хозяйство - птицы, пара свинок, даже коровку держали пару лет, точно. Ну, только банька отдельно, сбоку, - это, чтоб не дай Бог, не возгорелось все с дури какой или по недосмотру. Папка покойный, бывало, как выпьет, дак после в баньку - продолжать, от мамкиных глаз. И топить там чурками начинает, дуралей. Это когда зима-то!..

В общем, папка помер - мне пятнадцать было. Двое братьев, старше меня, но кормильца нет. Пензия за папку - хоть накрой эти рубли какашками, да и то на почте ее не в каждый месяц выдавали. Мамка все в Онегу ездила, ругалась. А потом, ну, год прошел, попить стала. Как папка. На ночь. Но днем трезвая всегда, по хозяйству вкалывает и меня туда же. Дак мы вдвоем дом и держали еще, мы, потому как братья уже дурака валяли, лишь иногда пособляли. Сплошь ссоры у нас выходили по вечерам. Но тут их одного за другим в армию забрали, слава Богу. И мы с мамкой как совсем осиротели. Мамка долго плакала и попить стала все больше. Не вернуться, говорила, совсем ведь не вернуться! Там всегда убивают.

Да ладно, чё тебе долго рассказывать! Свинок зарезали, коровку продали, только гуси еще гоготали на дворе до осени. А дров припасти на зиму - кто это подсобит, а? Во!

И отважилась мамка - кто ее дак надоумил? - ехать дальше на север, хоть в карельскую Кемь, хоть, советовали, лучше в эту самую кольскую Кандалакшу. Там, дескать, пока еще вполне заработать можно. А как? Ну, кто посудомойкой в столовой, а повезет, при ресторане или гостинице, кто, повезет опять же, там же официанткой. Это про меня, молодую. Мамка думала-думала и решилась. Я только плакала, потому что Поньгу свою очень любила. А тут - куда-то из дома, да еще на север. Пришли мужики-соседи, дом наш забили, чтоб вора́м не повадно было, и мы

стонулись. Семнадцать мне только исполнилось, девкой еще была, чудеса!

Ты как, еще не устал от моей жизни? Чё смурной такой? Да ладно, уедешь и завтра забудешь!.. Че смеюсь? А нормально мне. Понимаешь: нормально, дак.

Смотри, а как море с небом в прятки играет, а? Чуть солнышко покажется, так волна и ответит. Во! Пусть пока серо, а игра все-таки. Вот так всегда у нас в губе было летом, и в Понье тоже, а здесь, хоть и лето вроде бы...

Ну ладно, чё, значит, дальше, то есть в конце? Мамку точно посудомойкой взяли, а меня поначалу коридорной в гостинице, здесь вот, в Кандалакше. Ты эту гостиницу сегодня видел, в центре. Семнадцать мне было, повторяю. И стали меня... ну, прости, иметь каждый день за милую душу. Но платили все-таки, хотя половину администраторше, суке, отдавать приходилось, такой расклад. Мамка копейки зарабатывала, а я все-таки рубли. Сняли квартиру в низком доме, деревянном, где ты сегодня со мной ночью дело свое делал. Две комнатки, у!

А потом, через пару лет, мне это остохренело. Чей-то, думаю, еще кому-то отдавать, пошли она, Анька-администраторша, в задницу! И ушла на вольный промысел. Ага, денег меньше, но - воля! Только ментам надо отваливать регулярно, чтоб сутками в клетке при вокзале не держали или не брали вместо этого натурой. И такое было. Чего только не было у меня за эти три года!

Ну, чё хохочу? Дак хорошо мне сегодня! И этой ночью было хорошо, ей-ей. На... на... натрахалась я за эти годы - во, выше крыши! - а с тобой как-то улыбнулось. Не знаю. Ладно, отстань, ну, задница как задница, ничего особенного, а ты - попочка! Брось, не валяй придурка, мужчина!..

Слушай, а как же мы с тобой уже столько часов все бродим и бродим? Надо зайти куда-то, пожевать. Я тут все знаю, пойдём... Да ты пей, пей, тут кофе, конечно, дрянное, но не отравишься... А, так? Почему оно мужского рода, кофе это засраное? Ладно, отсмеялась, хорошо... Ну вот, вишь, и билетик тебе отвалился - на твой ночной, предутренний. Сядешь в вагон - ох, отлично, купейный! - пописать сходишь, и спи себе до после полудня, до Петрозаводска. После него, считай, уже дома.

И ладно, и чё смеюсь? Да опять говорю, хорошо было, нормально. Хорошо погуляли, на залив сходили. Давно не гуляла, не ходила... Э, вон мента видишь? Ему бы яйца оторвать, чесслово!.. Ладно, все, извини, но ведь права я, оторвать бы!.. Ой, забыла, слушай напоследок! Рыбу любишь, ну нашу, северную? Я дак обожаю! Кунжу, например. Хошь пришлю? Именно кунжу. Нет проблем, дядя! Дай адрес, и посылочка тебе будет, ну, скажем, к Новому году, точно. Малосольная! В вощенной бумаге, это я умею. Пальчики оближешь, ага. Это мое тебе спасибо. Не бойсь: спасибо, и всё... Ну, и верно всё, иди, иди, пили, вот он, вагончик твой, подплывает. Фу, как воняет вокзалом, аж в заднице этот запах стоит!.. А я... ну, тоже спать, дак. Поздно, уже не до работы...

Да, как потом думал П, сваял он большого дурака: оставил ей свой московский адрес. Мало ли что! Но ни под ближайший Новый год, ни под следующий Новый никакой кунжи малосольной из Кандалакши по почте он не получил. И слава Богу, вздыхал облегченно, причем не раз. Истлело. Очередное. Мало ли было их, очередных... И тут ошибся, хотя повстречалась ему Танька-Понька не иначе как чудным образом через пару лет в Москве, и никто из них к этой их встрече никаких усилий совершенно не прилагал.

А до того, очередным 12-м декабря, как и во всяком году, П позвонил Акакию Акакиевичу, чтобы поздравить с именинами. Заметим, что обозначить сей реверанс

именно в день рождения никак не желалось; именины же - совсем другое дело, и не чьи-нибудь, а именно Акакия Акакиевича. Легко догадаться почему.

Формула их разговора была многолетне-стандартной и походила она на одно из классических действий арифметики - деление. Делимым выступал П, Акакий Акакиевич, естественно, делителем. Поскольку первое из этих значений существенно превышало второе (и тут отметим важное: последнее никак не было числом отрицательным, а тем более нулем, ибо на нуль делить уж нельзя вовсе), то, понятно, частное выходило числом вполне симпатичным, крупным, увесистым. Для П, конечно. Акакий Акакиевич привычно тушевался, проговаривал, как еще в живой своей жизни, исключительно предложениями, наречиями и незначащими частицами, типа: "Это, право, совершенно того...", но уже в самом конце разговора, как-то сложив фразу: "Так эдак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное...", извинялся и просил звонить снова, следующим декабрем. И почему-то казалось П через разделявшее их время-пространство, что г-н Башмачкин тихо улыбается и ему уж если не столь хорошо, то как-то совсем и не плохо.

А черт его знает, почему это П так сегодня раздражился? И если по правде, почему он раздражался в последних телефонных с Акакием Акакиевичем разговорах все чаще? А потому что тот, давно померев, если верить одной из версий первоисточника, в последние годы стал выдумывать, как бы он сам выдавил из себя, "эдакое". Ну какое ему дело до того, что происходило много после его кончины, если она была, конечно? То взялся вдруг о русско-турецкой войне рассуждать, конкретно о генерале Скобелеве (хотя самого Гоголя схоронили уж как четверть века до балканских геройств этого персонажа), а то и вовсе в двадцатое столетие заехал, обнаружив некоторые литературные познания, в частности (с ума сойти, ей-ей!) о Бернарде Шоу. Представляете: Акакий Акакиевич хвалит Бернарда Шоу. Дескать, какой умница, мудрец! Вот, пошмыгивает носом, к примеру, небезызвестная вам мисс Элиза Дулитл...

Вот тут П. и раздражился:

- Да дурак он, этот ваш Шоу! Недаром еще Лев Толстой так его не любил. И поделом. Потому что много чего начудачил. Например, уже позже, то есть после Толстого, приветствовал октябрьский переворот большевиков. Дурак! Будущий лауреат Нобелевской премии! А дальше, уже стариком (хотя стариком он был, кажется, вечно) приехал в Москву (по приглашению, понятно!), намекнул, что, помимо всяческих почестей в его честь и увеселений, хотел бы встретиться со Сталиным, и тот, понятно опять же, его принял. Полтора часа трепались - кровопийца и дурак. Дурак! Ну, точнее, если о Шоу, гений и дурак одновременно. Тот дурак, который для кровопийцы прошлую кровь оправдывает и будущую его кровь готовит. Потому и дурак, что этого так и не понял! Ясно? А Толстой, если представить, что Ленин напросился бы к нему на визит (к этому, как помните, "матерому человечеству"), приказал бы своим дворовым в Ясной Поляне вышибить того взащей! Вот вам и разница: Шоу и Сталин, Толстой и Ленин. А ведь Ленин к тому времени, к концу жизни Толстого, кровушки российской еще не пролил, злоумышлял только.

Акакий Акакиевич ответил гробовым молчанием, поэтому П с ходу продолжил:

- Думаете, этого не бывает? Бывает. Я имею в виду сочетание в одном человеке гения и дурака. Ну, не часто, но встречается натурально.

Тут у П вышла некоторая пауза, и Акакий Акакиевич вставил тихо:

- Ну, это вы, того, совсем уж крайнее.

- Именно, тут крайний случай. Скажем, понравилась некоему гению, подданному английской короны, коммунистическая идея. И ведь воспитанный человек, мухи не обидит, слуг и шофера содержит и к ним относится

аристократически-сдержано, а вот, а вот!.. Жить надо короче, наверное, не до ста почти лет. Хотя граф Толстой тоже прожил немало между прочим. Но сам ушел ото всех, к царям-вождям никогда не напрашиваясь. А даже в литературе своей с ними брезговал разбираться, не в пример Достоевскому. Хотя папаша ваш духовный тоже...

- Ох, кхе! - раздаётся в сей момент хрип Акакия Акакиевича. - Я, того, совсем вас перестал слышать. Видно, спутник ваш в тучку залетел... Но звоните, звоните, да, преинтересный сюжетец вы нарисовать соизволили. Никак неожиданное, того...

6

Тут надобно пояснить уважаемому читателю: в Крыму в те деньки, в самом конце, слава Богу, затухающего столетия, все они оказались именно по своей воле, но как-то престранно образовавшись изначально в одном и том же купе. И ехал тот скорый поезд то ли на юг, то ли на север, то в Коктебель любимый, то в Кандалакшу задрипанную. И было их, наших героев, четверо, а наблюдал за ними пятый - этот самый П.

Повторим, чтоб вам не забылось, кто они: Акакий Акакиевич Башмачкин, уже не единожды упомянутый нами выше, далее - старик, знаменитый среди знатоков на Карибском побережье под Гаваной не только фантастической своей рыбой, а и сам по себе; далее - Танька-Понька из той самой Кандалакши, и наконец - любимая наша девочка, совсем еще юная, пятнадцати лет.

О последней скажем теперь два слова, пора. Сбежала она из московского дома, от родителей. Ну, возраст такой, чтобы сбегать. А от кого конкретно сбегать в сем дурманящем голову возрасте, как не от родителей? Ведь более ничто-никто над твоей бессмертной душой не властвует пока - ни государство крепостническое, ни муж окаянный, ни начальница бесстыжая, но хваткая. Вот и сбежала девочка, побродяжничать. Лежит себе сейчас на верхней полке в нашем купе и время от времени, оторвавшись от внезапно полюбившей ей книжицы, только что купленной на развале перед московским вокзалом, радостно свешивает по-мальчишески стриженную головку и почти выкрикивает: "Нет, вы послушайте, послушайте! Рыба... э, вот. Слушай, рыба!.."

Нормально: надо побродяжничать девочке в свой срок, это известно, перед тем как надолго, на всю уже жизнь, пестовать одного-двух детушек, а следом, не успеешь охнуть, и внучков. Поэтому в хорошее ее время застаем мы нашу светлую бродяжку.

Да вот незадача: в ее-то - хорошее, а что вокруг, то есть конкретно в Крыму? В Крыму, конкретно в Коктебеле (да и в Ялте тоже, например), - токсикоинфекция. Это такая дрянь инфекционная, но не заразная, которая от нечистот, уж простите. Канализации тут лет сто или двести, все проржавело, прогнило, но о ремонте давно и речи нет, и потому в столовых и даже (ой!) в ресторанах - сплошные потравки. То есть травятся люди, заболевают. Так постепенно к концу августа весь черноморский Крым захиревает-заболевают, и даже СЭС в шоке, ибо что делать-то? Решиться на то, чтобы официально закрыть жемчужину страны? А туристический бизнес? А государственный престиж в конце концов?

Никто ничего, понятно, тут делать не будет, это старик, до описываемых времен здесь не живший, понимает первым. "Значит, так, - проговаривает по-испански, но почему-то все они, несколько дней назад обосновавшиеся в двух комнатках маленького пансионата у моря, его понимают. - Водой из крана пользоваться не будем, даже чтоб зубы чистить или умываться. Будем покупать

фляги пластиковые. Я видел, их достаточно в местных лавках. Только из них умываться, пить, кофе или чай готовить... Ты как, девочка, дочка моя, ихита?" - ласково прошептывает одними губами, потом вздыхает, бредет в другую комнатушку и, вернувшись со своим одеялом, осторожно укрывает ее, его ихиту, уже поверх одеяла первого. А температура в Крыму - за тридцать. А в теле девочки - под сорок. И раз в полчаса, кой-как очнувшись от тряского озноба, она, покачиваясь, спешит в туалет, и там (что всем слышно) ее рвет... ну и прочее, о Господи!

Акакий Акакиевич, сидит обездвижено, выпучив глаза, а старик, сузив глаза, проговаривает: "Почему это случилось именно с ней, а не со мной, старым? Эх, был бы мальчик рядом!" Но мальчика, как и тогда в океане, рядом нет, и тут старик, если помните, тихо приказывает Акакию Акакиевичу по-испански: "В аптеку, скорей!"

И как это они понимают друг друга? Акакий Акакиевич наконец скидывает шинельку, ибо, кажется, согрелся, и переспрашивает: "Так это, того, куда?" То есть, имеет он в виду, в какую-такую аптеку бежать ему и где она тут? Кругом хохлы и татары, ослики по набережной разгуливают, шашлычный чад стоит, аж всяческий аппетит пропадает. Это, ей-Богу, уж слишком, говорит Акакий Акакиевич и в завершении краткой речи своей добавляет нечто витиеватое, хотя тут же извиняется. Старик косится на него, покачивает головой и, кивнув на дверь, опять повторяет по-своему: "Аптека, морская соль, иди скорей!"

Акакий Акакиевич, повторим, как-то понимает, о чем речь, и П как-то понимает, и только Танька-Понька и не думает понимать, поскольку сейчас ее тут с нами в сей конкретный момент нет. Гуляет! Акакий Акакиевич наконец-то вскакивает и, пошарив в кармане сюртука, удовлетворенно кивает, потом спешит из номера. И хорошо, что спешит: надо скоро, скоро, ибо дочка наша, ихита, почти уж умирает.

Токсикоинфекция, дрянь эта, которая с косою, которая именно до молодых особо охачая. "Сволочь, - шепчет старик по-своему, по-испански. - И тебе я ее не отдам! Наконец не отдам. Это моя, наша рыба. Ты не акула, ты хуже, но именно теперь не отдам... Эх, был бы мальчик со мной, - вздыхает опять".

7

А не странно ли вам, что все они до сей поры живы - и Акакий Акакиевич, и старик, и П, который пусть еще не столь преклонных лет, но все-таки, все-таки? Что же до наших юных женщин - пятнадцатилетней ихиты и теперь уже двадцатидвухлетней Таньки-Поньки, то они живы совершенно натурально. Поэтому объяснимся по поводу двух наших долгожителей. Ведь такого, казалось бы, быть не может! Ан нет, может.

Возьмем, к примеру, г-на Башмачкина, когда-то, и во всю его тогдашнюю жизнь, титулярного советника (а это, как известно из табели о рангах, всего лишь чин IX класса, пятый от конца), а теперь просто Акакия Акакиевича. Все напридумал про него папаша его духовный, фантаст эдакий! Вот, процитируем: "И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было". Так, да не так, именно фантастика! Потому что на самом-то деле это именно г-на Гоголя давно нет, а вот Акакий Акакиевич живет потихоньку и даже не только по Петербургу разгуливает. Вот как сейчас: в Крым его с нами занесло. И разгуливает он совсем не как привидение, а во плоти человеческой. К тому же всякие происшествия с ним случаются и, как мы уже сказали, престранные мысли он порой стал высказывать, в том числе о людях и событиях, до коих будто бы и не дожил. А то вдруг такой дивертисмент выкинет, что сочинитель его, буде жив, поразился бы совершенно. Ну, дескать, как бы это уже чуть-чуть вовсе и не Акакий Акакиевич. И точно! После

подобного Акакий Акакиевич крупно потел лбом, извинялся (верно, в первую голову перед памятью своего сочинителя) и всегда добавлял, побряхтев, что с ним, того, случился морфоз. Что означает это странное словцо, мы обозначим потом, коли сами докумекаем.

Значит, это наш г-н Башмачкин. А вот теперь - старик.

Его сочинитель, бывший с ним почти в одних же годах, покончил с собой знойным летом 61-го года прошлого века, а старик остался жив. Престранная история, согласитесь. За своего старика гениальный сочинитель получил Нобелевскую премию, выписав в нем свою мечту - трагического стойка, но вскоре сам уже не сдюжил, не справился. Оставил нам свою мечту в утлой лодке посреди океана, где ты должен победить или умереть. Старик - вот чудо - не победил, но не умер, а если не умер, то, выходит, все-таки победил. Он еще долго бытовал там же, в своей лагуче под Гаваной, с мальчиком, который ежедневно приходил к нему, и старик продолжал его учить ловить рыбу в океане. Мальчик вырос, теперь ему уж лет семнадцать-восемнадцать, а старик как врос в свои восемьдесят, так и не вылезает из них уж которое десятилетие. И пребывает с нами, по всему свету. Стоик. Престранная история, согласитесь.

Ну а что до г-на П, то есть пишущего, соглядатая ироничного, то отдельно о нем рассказывать тут рано: всего-то за сорок ему, нос не дорос! Да и что он вообще-то умеет в отличие от лиц, представленных выше? Например, от нашего доброго Акакия Акакиевича?

Помните, в конце предыдущей главки мы прервались на том, как, нащупав в кармане сюртука мелкую кучку денег (гривен то есть), бывший титулярный советник опрометью бросился в аптеку. Так ему старик наказал - срочно купить морскую соль, чтобы спасти нашу девочку, иссыхающую от токсикоинфекции, которая нынче буйствует тут по Крыму.

Значит, тот опрометью и бросился, потому что очень полюбил нашу девочку-бродяжку, как и все мы, даже Танька-Понька, завистница.

Бежит-спешит, а кругом хохлы и татары, ослики по набережной разгуливают, шашлычный чад стоит, менялы наперебой хороший курс предлагают, и сплошь тела девические голые, да столь голые, что наш г-н Башмачкин совсем уж тушуетя. Но проскакивает эту кавалькаду, этот карнавал, это мелкое гуннское пиршество и оказывается как раз в задах прилепленных одна к другой лавок. Тут уж вовсе нестерпимо жарко, пыльно, моря не видно, где-то оно в стороне. "Там аптека?" - спрашивает он не в первый раз, и ему вроде бы кивают. Вон и почти цивильный плац показался в щели проулка, да тут в жаркой немоте и безлюдье подскакивают к нашему тощему старичку двое мужичков-бычков и сразу - хрясть по его физиономии! Акакий Акакиевич оседает на копчик и, выпучив глаза, заглатывает ртом горячий воздух, а мужички-бычки, склонившись, разрывают его сюртук по бортам надвое (только пуговицы, взвившись, мелькнули) и тут же исчезают с его, Акакия Акакиевича, драгоценной кучкой гривен.

Что было затем, он не помнил, но вскоре осознал следующее: он жив, и это странно; он без денег, и это страшно, потому что девочка умирает, а его послали в аптеку. И тут подумалось ему вдруг совершенно ясно: что ж его прошлая шинель петербургская, которую с него бандитски сняли ночью, если там-то речь шла лишь о его бедной жизни - его одного всего лишь! - а тут-то, сейчас, обокрали его в момент, когда другая жизнь на кону - девочки нашей, ихиты?

Это происшествие, как сказано у сочинителя, а мы теперь повторим, сделало на него сильное впечатление. Едва придя в себя уж окончательно и поднявшись с пыльных камней, Акакий Акакиевич дико закричал. И вот так, все еще крича, бросился из проулка на самую набережную. Там при виде этого безумца вышел

почти скандал, ибо голым дамам только и не хватало старикашки этого растерзанного и, как вскоре поняли, несчастного. Но отыскалось несколько лиц сочувствующих, поскольку, все еще криком, Акакий Акакиевич смог внятно объяснить дело, и решили идти к околоточному, то есть в отделение милиции. А дальше, и верно, чудо: околоточный, конечно, всех тут знал... короче говоря, уже через час вернул потерпевшему гривны (тьфу, всего-то полсотни!), но дела посоветовал не заводить.

В общем, тут, в современном Коктебеле, повторилась с Акакием Акакиевичем его давняя петербургская история, которая вышла с ним в 1842 году, когда ночью сняли с него новую шинель. Повторилась в том смысле, что вновь его ограбили, и он опять же кричал, и затем некоторые ему сочувствовали, советовали срочно идти жаловаться (тогда - к квартальному, тут - к околоточному). Но вот и некоторое отличие: захотел Акакий Акакиевич после сего происшествия (то есть ограбления) наконец показать характер, как и тогда, но тогда у него, если помните, ничего не вышло, а тут - тут украденное таки вернули! И как так получилось? А так, догадался Акакий Акакиевич: теперь не в личной его шинели было дело, а вовсе в другом - в другом человеке, другой душе - в бродяжке нашей, дочке-ихите, которой сейчас надо обязательно выжить и затем долго и хорошо жить. Поэтому ну ее, ту самую шинель, из которой будто бы мы все вышли!.. Хотя, усмехается Акакий Акакиевич уже вполне иронично, некоторые малые вышли именно из нее. Да и бог с ними...

Давно уже вечер, старик и П сидят у постели девочки, стонущей в ознобе, Танька-Понька все где-то гуляет, и тут заявляется растерзанный Акакий Акакиевич, потрясая в зажатом кулаке кучкой гривен. "Спас! - шепчет криком, а то, может, и кричит шепотом. - Спас! Деньги наши спас. А как? Ведь не предуготовлен я к подобному, а? Или что? Нет, это, того, опять, не иначе, со мною вышел морфоз".

Старик все понимает и, что-то проговаривая по-своему, всматривается в лицо девочки. Потом кивает в сторону Акакия Акакиевича:

- Пусть он отдохнет, он молодец. Но завтра за солью пойду я. Эх, был бы мальчик со мной...

8

Настает новый день, и лишь солнце выкатывается слева, со стороны Феодосии, старик пару раз отхлебывает вчерашний свой кофе, потом собирает общие их деньги (ту самую кучку гривен) и, облачась в какую-то хламиду, ушлепывает босыми ступнями в направлении поселковой аптеки. Ходу ему туда, при его-то больных ногах, с час. И как он там станет объясняться на своем испанском с местной хохлушкой-провизоршей, только одному Папе римскому известно, наверное. Акакий Акакиевич остается дежурить при нашей девочке-ихите, чтобы время от времени потчевать ее через силу, употребляя ласковые уговоры, рисовым отваром и, главное, водой.

Так проходят еще одни сутки, в течение которых всякое было, но об этом всяком мы расскажем чуть позже. А сейчас (так нам нужно) расскажем о дне следующем, когда, вконец разозлившись, П решил искать Таньку-Поньку. Совсем она запропала, третий день уж как. Или, думает П, мотнула отсюда напрочь? Хотя вряд ли: вон, на ее кровати, ворох мелко белья: трусики, лифчики, чулочки - все воздушное, завлекающее, дорогие штучки между прочим, не хухры-мухры, в московских бутиках купленные. Куда же она без этого драгоценного хлама сбежит!

Значит, идет П по набережной вдоль синего моря, забредает в бесчисленные кафе и лавки, потом, оскальзываясь на крупной гальке, идет уже по пляжу - общему,

писательскому, снова общему, - высматривает свою шальную знакомицу, с которой его странно сводит и сводит судьба, а ее (Таньки? судьбы?) нет и нет. Так он оказывается у пирса и уже от нечего делать, лишь для себя, направляется по узким бетонным плитам, что на высоких сваях, к стоянкам яхт. Любезны ему яхты с детства, и потому, конечно, что никогда он на них не плавал, не ходил по морю, не говоря уж о том, чтобы по океану... Стоит у строя яхт и любуется на этих белых кошек, которые, мерно-сонно мурлыкая, покачиваются у причала. Стоит, любуется, вздыхая, и тут видит подваливающую к пирсу небольшую яхту, одномачтовую, а на ней, у борта, Таньку-Поньку.

Привет! - говорит он себе и затем показывает Таньке кулак. Та в ответ радостно раскидывает голые руки и спешит вдоль борта к трапу. П помогает ей сойти на пирс. Танька уже отсюда оборачивается к двум юношам, оставшимся на только что покинутой ей палубе, и, растянув во всю ширь свой буратинный рот, кричит им: "Мальчики, спасибо, было чудесно! Я нормально расплатилась с вами? О'кей! Куплю еще один рейс, непременно, через пару дней, дак! Увидимся!"

- Ничего ты пока не купишь и ни с кем не увидишься! - выговаривает П спокойно, хотя это дается ему с трудом. И крепко удерживает Таньку за плечо.

- Ты чё, дядя? - искренне удивляется она, пытаясь высвободиться.

- Я тебе не дядя, между прочим.

Она чуть сникает:

- Извини. Ну... ну пошустрить-то я могу на свободе и при деньгах, дак?

- Дак! - передразнивает П незлобно. - Чего это вдруг из тебя опять твой северный говорок попер, не то что в Москве или в поезде?

- Попер! Как говоришь! - усмехается она. - Тоже мне интеллигент!

Интеллигент усмехается в свою очередь:

- Ладно, сыграли вничью. Хотя... - и тут не сдерживается, но опять же без раздражения, - хотя ты засранка, конечно.

- Я?

- Ты! А кто же?

Они уже миновали пирс и идут по набережной. П говорит: "Тебя не было три дня, и за это время... В общем, девочка наша была очень плоха, и сейчас еще плоха. Думали - умирает, температура под сорок, рвота и понос, постоянно, мы с ног сбились, токсикоинфекция кругом, лекарств нет, а ты, а ты? Удрала!" - "Так кто же тогда засранка - девочка наша или я, если это у нее сплошной понос?" - ухмыляется Танька-Понька. И так это входит у нее просто, на уровне ее дурного юмора, что П только покачивает головой. "Ты что, дура?" - спрашивает всерьез. "Не дура, сам знаешь", - спокойно отвечает она. "Согласен, - честно признает он, - тогда почему удрала?" Она объясняет: "Во-первых, захотелось свободы, развлечений, я никому, даже тебе, не обязана здесь. Во-вторых... ну, не думала, прости, что так серьезно. Ну, отравилась девка, с кем не бывает. Ну, сходит три-четыре раза в туалет, и все... Вот так думала, потому, как ты говоришь, и удрала. Со спокойной душой. Извини".

Они уже приближаются к своему пансионату, что у блок-поста на Карадаг, и Танька спрашивает после долгого молчания:

- Чё, так серьезно, да?

- Не знаю, я не врач. Одна надежда - на старика. Акакий Акакиевич свою роль отыграл, молодец, но соль не достал, хотя, спасибо, деньги наши спас, позавчера это было... Что за соль? Старику какая-то соль морская известна. Если ее купить в аптеке и потом растворить... Говорит, на его Кубе такое в деревнях бывало... Ну, достал каким-то чудом, вчера утром, на местном черном рынке. Потом мы готовили раствор, потом старик поил девочку. Ты представляешь, что это такое - пить морскую воду, тем более когда у тебя под сорок?

Танька лишь передергивает плечами. Затем говорит:

- Слушай. Ну, если так серьезно... ну, эта инфекция, то почему мы здесь, почему не уезжаем? Бежать ведь надо!

- Нам бежать, а девочку - бросить? Она и до туалета без нашей помощи пока дойти не может. А еще позавчера - раз в полчаса это было.

- А мы? - раздаётся тихое.

П понимает:

- Не беспокойся. Эта дрянь, кажется, не заразная, только руки мыть надо почаще, тщательно, с мылом.

- Вообще-то я не брезгливая, разве только к мужикам чужим прежде.

- Я помню.

- Ты не был чужим.

- Я помню.

- Ну а я? - вопрошает она затем. - Что могу сделать я-то?

- Сидеть с ней. Ты женщина, она женщина, хоть и маленькая. У вас с ней одна комнатка. Ухаживать, выносить, мыть, поить, по головке гладить. В таком состоянии она тебя стесняться будет куда меньше, чем нас, мужиков, неужели не понятно?

- Понятно, - вполне серьезно кивает Танька-Понька.

От этого ее спокойно выговоренного словца П становится легче.

- Слушай, - вопрошает уже почти ленно, однако не без иронии, - ну и как было на твоей яхте?

Она приостанавливается, поворачивает к П голову, и он видит, как печаль слетает с ее личика буквально за секунду, потому что будто вихрь радости внезапно возник.

- Это было... ну, такой кайф... прости, такое чудо! - И все-таки не может найти подходящих слов. - Я ведь первый раз на яхте, понимаешь? В моей Поньге только лодки да баркасы, а тут!.. Ой, чудо! Тишина, понимаешь? Ни мотора, ни мерзкого запаха солярки или бензина, дак... Тишина, только чайка где гаркнет или парус хлопнет... Ой как было, что ты! И мальчики хорошие, капитан и юнга, даже кофе в кубрике напоили. Какой там секс, пошел он в задницу! Я - и море это ласковое. И всё, и всё!.. - Она замолкает наконец и тут вдруг подмигивает озорно: - Хошь, повезу тебя на яхте? Небось не ходил на ней никогда, дак? Давай, не стесняйся, мы ведь с тобой друзья, гордый ты мой, а я теперь ох какая богатенькая. Ну? - И, не дождавшись ответа, ускоряет шаг.

П идет за ней следом и, несмотря на пока еще плохие дела с их девочкой, любит, прости Господи. Ну что это за напасть - любоваться, несмотря на?.. Все открытое, почти голое, и тут очень важно, что именно почти! Шея, спина, талия (да, ох, талия!), небольшие, но какие-то ловкие ягодички, едва обтянутые слишком короткими шортиками, из-под обреза которых почти все видно. Опять же почти. Красота бессмертная, зов, тоже бессмертный.

Выгнув загорелую поясицу, Танька-Понька ловко спрыгивает с парапета на террасы их пансионата и сквозь балконную дверь скрывается в тени двух скромных комнаток. И сразу к девочке.

- Жива? - усмехается.

Нет, позавидовать можно нашей Таньке-Поньке! Как это у нее ловко получилось, это "жива?": с усмешечкой, вроде ласково, но и с наигранной ноткой укора. Женщина!..

Но потом она переходит к делу.

- Да, - тянет, оглядываясь и почесывая в затылке. - Да, мужики! Мыть тут у нас все надо подчистую. Хлоркой... или как его - хлорамином, во, дак. И в туалете в первую очередь!.. В этом засраном пансионате хоть какой-то фершел или медсестра

есть? Гигиена крымская!..

Старик морщит сухие глаза и тихо, себе под нос, проговаривает по-своему:

- Устал ты, старый. Нутром устал... - А потом, помолчав, Таньке-Поньке: - Ты молодец, правильно, давай. А я тут с нашей ихитой. Она выживет. Я ее акулам на сей раз не отдам. Это моя рыба, моя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

А теперь, дабы не мучить читателя неведанием, воротимся на пару лет назад из эпидемиологически тревожного Крыма в сановную Москву и поведаем о чудесном превращении Таньки-Поньки. Акакий Акакиевич наш любезный тут непременно уточнил бы: о ее морфозе.

Помните, прежде мы закончили на том, как расстались они, П и Танька-Понька, в Кандалакше на вокзале и Танька всерьез обещала прислать под Новый год посылочку с кунжой? Нет, не прислала. И хорошо. Шальная девка - была и сплыла. Только образ остался: ночь вдвоем, потом день, когда они странно гуляли у залива, что-то она, Танька, ему рассказывала о себе... Да как это "что-то"? Свою жизнь! И денег с него не взяла ни рубля, местная профессионалка. Образ...

Образ до сих пор пах сырым сеном, и светилась до ушей буратинная улыбка, и талия, будто мартовская сосулька: охвати теплыми ладонями - вообще истает. Смешной северный говорок - "чѐ", "дак" и тому подобное, - ругливые выражения, а при всем при том, П помнил, какая-то неизбытная - уж никак врожденная - тоска о доме, о месте, папке-мамке - ну, если хотите, о нормальной жизни человеческой. Мелкая северная проститутка, бывшая в одном бизнесе с администраторшей из гостиницы и вокзальным ментом, а как их люто ненавидела! Потому что чувствовала нутром: у них нет будущего, а у нее оно должно быть. И будет. И дело не в том, что ей всего лишь двадцать, а им под тридцать: дело в том, что они - дебилы загибаемые, а она жить хочет, это жуть как интересно, ну а деньги... деньги будут, и семья будет, и дом.

Вот такой образ остался в кладовой памяти П, а как он, сей образ, соотносился с действительностью, для вас совершенно не важно: вам туда, в кладовую П, путь заказан.

Короче говоря (ну, наконец-то!), минуло с тех пор года полтора или два. Встретились два старых приятеля - наш П и режиссер с телевидения. Приготовили хороший стол, выпили, обменялись местными и вселенскими новостями и, поскольку хоронить социализм на кухне время давно вышло, похоронили современную выборную монархию. Ну, тут всегда есть что хоронить. В общем, сделали это, да вовремя опомнились: мы же о прекрасном все-таки, о вечном! И приятель полез на антресоли за своими чудесными альбомами. Тряхнем стариной, дескать.

Вот в них-то, альбомах, и суть, если продолжать эту повестушку-притчу. Когда-то начинал наш сегодняшний телережиссер классным фотохудожником, профессиональным, и его работы, в том числе ню, печатались в довольно престижных изданиях, даже в "Чешском фото" между прочим. Это был отдельный класс: только черно-белое, только прекрасная фактура, только, и вправду, искусство... Однако минули годы, и приятель это занятие оставил, поскольку стал телережиссером. Жаль, а что делать: теперь совсем другое востребуется. Но изредка возвращался к прошлому, но уже только для себя: поснимать девочек-натурщиц из ВГИКа или со своего ТВ, потом показать им их же (тридцать на сорок!),

и тут всякая, увидев себя, всю прекрасно-обнаженную и главное, так, оказывается, совершенно исполненную природой (да не природой, а художником, это обманка, глупая!), - тут всякая ответит тебе сладким чувством, то есть вполне искренней благоотдатливостью. Поэтому, помимо опубликованных в официальных изданиях фотографий, появились альбомы уже сугубо личные. Однако классные по-прежнему. "Посмотришь?" - спрашивает приятель, и П отвечает: "Конечно. Только давай выпьем еще разок".

Выпили, но не опьянели. Тут было на что смотреть. Большие снимки, тридцать на сорок, именно любимые черно-белые, и каждое (ну, почти каждое) - это, конечно, произведение. Молодые женщины. Музей. Тела - совершенство (о деталях можно дискутировать, это дело вкуса), но лица, лики, посадка головы, взгляд! Как-то удавалось приятелю извлекать из очередной натурщицы некую одухотворенность. Что ж скажешь - профессионал. Так обманывать зрителя да и ее, натуру, так обманывать!

А вот тут, внутренне ахнул П, его не обманули, потому что, перевернув очередной лист, он увидел Таньку-Поньку. Как увидел, так сразу ее и узнал.

Конечно, обнаженная, конечно, в разных позициях (четыре по тридцать на сорок), в студийной подсветке и декорации (это приятель, давно обзаведясь нужными осветительными приборами, парашютным шелком и мелкой драпировкой, давно делал у себя дома), она, Танька-Понька, признаем, смотрелась куда лучше, чем когда-то в своей Кандалакше. Там была ночь, пусть серо-белая, и ее шепот со смешком, и мамка за стенкой слышно ворочалась... Да, света такого не было, но вот запах был. Сырого сена...

П признал ее тело, все детали (именно, один к одному!), и уже неотрывно глядел на лицо. Тело телом, а лицо - это и есть Танька-Понька. Тела повторимы (ну, почти), а лица - нет.

И вспомнил - будто сразу в мозгу вспыхнуло. "Была она какая-то погасше-белая, как и эта ночь. Затухающая. Ну, белобрысая, ну, светлокочая. С широченной, как у Буратино, улыбкой. С маленькими острыми зубками. Отнюдь не длинноногая, но с выраженной талией. Все остальное - средне, нормально, не более. И пахло от нее сырым сеном".

Хорошо, а дальше? Дальше, вспомнил, - то самое лицо. Именно так, опять процитируем себя же. "Лицо, знаете ли, - это четыре определяющие общее впечатление момента: овал, глаза, нос и губы. Так вот, овал - ничего особенного, некий угро-финский. Какой? Да никакой. А вот глаза... Чуть посаженные вглубь, так что смотрела она, Танька, все время будто исподлобья, в тебя внимательно всматриваясь. Это нравилось. Хотелось спросить: "Что, девочка?" Дальше - нос. Маленький носик, но несоразмерно к нему, такому, широкие, даже широченные ноздри. Смешно, да и только. Ребенок, правда!.. И наконец, губы, последняя позиция в нашем рисунке. Чудо: буратинные, как уже было сказано, тонкие, длинные, растянутые вверх, к ушам. Вопросительный взгляд гас, а она, Танька, казалось, все улыбается. Стерва... А остальное, то есть тело, - средне, нормально, привычно, не более. Только талия, да. Ладонями охватишь - будто сосулька мартовская тут же тает, когда, предвкушая очередное дурное счастье, воздух ртом набирает шумно. Ну, не сосулька, а Танька, конечно..."

П перевернул очередной лист с Танькой-Понькой, последний и, деланно отмахнувшись от увиденного, сказал: "Давай-ка еще выпьем. И хватит, а то, знаешь ли, перебор. Красота тоже должна быть дозированной".

Впрочем, как вы уже понимаете, дело на том не кончилось. Где-то минут через десять П как бы невзначай кивнул на закрытый уже альбом и попросил приятеля, если у того есть желание, рассказать об этой его натурщице.

- Какой конкретно? А, этой!.. - И тут он поморщился. - Погоди, а как ее звали-то? Да и зачем тебе?.. Во, вспомнил, Танька! Танька из Поньги, вот!..

И дальше, чтобы вновь не мучить вас (теперь уже диалогами), коротко поведаем про Таньку, как вышло со слов нашего приятеля.

Познакомились они с год назад не где-нибудь, а в бане. В общей бане, вот так-то, улыбается приятель: ты же знаешь, говорит, я нудист, мы в той бане на Усачевке давно гужуемся. Человек двадцать, все свои в доску, проверенные товарищи разного пола, отборные. Баню эту раз в неделю исключительно для своих оплачивает наша компания, ГИД, чтобы мы хорошо оттягивались после безумных съемок. Но не сексом, упаси Боже! Тут, поверь, совсем другой кайф. В том-то и кайф, что все голые, а никакого секса: только общение и дружеское любование друг другом. Сауна - это, как знаешь, отдельный ритуал. И массаж, конечно. Девочки мальчикам, мальчики девочкам. Ладошки их летают по моей спине и по животу моему уже толстому. Кайф, старик, ей-Богу! Какой там секс, ну его к черту!.. А потом - буфет, уже после последнего душа: пиво классное, соки, бутерброды с семушкой или колбаской брауншвейгской. В общем, что пожелаете.

Да, так мы об этой Таньке, продолжает приятель. Появилась она у нас в бане где-то с год назад, и я вспомнил, что, кажется, мельком видел ее прежде. Как это где? Естественно, в Останкино, старик, мы ведь только в своем кругу общаемся. Разговорились (ну, конечно, уже голые, старик, ты о чем, а как иначе?), и она сказала, что сначала снималась натурщицей, а потом удалось ей поступить на наши курсы администраторов при TV, и вот теперь, еще учась на этих курсах, уже работает в нашем ГИДе младшим администратором. В общем, понял я, глядя на нее, приглянулась она кому-то. И хорошо, дай Бог ей удачи. Так и сказал: "Дай-то Бог удачи тебе, девочка!" А потом, уже после душа, поскольку она и мне приглянулась, предложил ей приехать ко мне сниматься. Черно-белое, тридцать на сорок. И она вскоре приехала. Поснимал, потом пообщались, потом, естественно, чтобы, как говорил Иван Петрович Павлов, закрепить условный рефлекс, при следующей встрече я подарил ей дубли этих фотографий. Она была очень довольна. Старик, это проверено, мин нет.

Что дальше? Кажется, еще пару раз она была здесь у меня. А хорошая девка, правда. Я ведь не только от ее юного тела балдел, но и от нее самой, личности. Да, маленькая, но личность. О себе хорошо рассказывала. Об этой своей Поньге, деревеньке на Онеге, о том, как уехала потом куда-то дальше на север... э, забыл название города, черт (тут П чуть было не брякнул: "Кандалакша", но удалось таки ему сдержаться), как потом умерла ее мать (а отец, кажется, помер еще раньше) и она, эта девка, чуть за двадцать которой, похоронив мать, плюнула на все и подалась в Москву - искать свое счастье, свою судьбу.

Вот и все. Да нет, не все: что-то еще она мне рассказывала, кажется... Слушай, старик, а зачем тебе это надо? Ну, девка и девка, хорошая хотя... А, ну да, ты же у нас пишуший, ты у нас П, тебе судьбы интересны! Тогда, дай вспомнить, погоди...

Значит, сначала натурщица на TV, потом младший администратор - у нас же, в Останкино. Знаешь, что это такое, младший? Это - девочке работать ногами. Принести кофе актеру, принести кассету в монтажную, принести бумаги продюсеру, встретить гостей, проводить их. Принести-отнести, встретить-проводить. И все это - на разных этажах, с первого по двенадцатый. Где отдыхаешь временно, так это в лифте с зеркалами. Такое, как понимаешь, только в двадцать лет возможно, если, конечно, у тебя красивые и, заметим, сильные ноги. И головка, быстро соображающая. И манеры, манеры хорошие! Тогда тебя заметят. Ну, кто-то переспит с тобой пару раз, но только чтоб переспал с тобой кто-то уже значительный

- другим, более мелким, отдаться уже нельзя!.. Выходит, у этой Таньки из Поньги не только ноги красивые, но и головка не дурная, а что до манер, то вполне куртуазно она с нами в бане общалась, и не скажешь, что с зануханного Севера прибыла Москву завоевывать. Правда, проскакивало иногда смешное, грубоватое: "че", "дак", "да брось ты, какая попочка - задница!" Но однажды, помню, проскочило и такое: "Ну что ж ты так пошло - сиськи. У меня это - грудь!"

Что дальше? Давно я ее не видел. Ну, с полгода уже. Ты же знаешь, я не любитель устойчивых отношений с этим материалом. Две-три встречи, и достаточно... В бане встречались еще, ласково разговаривали, как истинные друзья, но сюда она больше не приезжала. Другая приезжала. Нормально.

И как это - что с ней будет потом? Ах, ты о карьере! Ну, станет, положим, ассистентом режиссера. Это уже не беготня, это работа головой, а не ногами. Это общение, причем классное, интересное. И главное, это совсем другие деньги. Хорошие деньги, старик! Это не твои гонорары - то густо, то пусто, - это немало и, главное, устойчиво. Устойчиво - вот что в нашем деле главное! Уверен, у нее все это получится. Девка со смыслом, с интересом, так мне показалось. Ей жить интересно. Ей интересно интересно жить, понимаешь мою тавтологию?

Ну а где и как она живет - не знаю. Конечно, где-то и с кем-то живет. А как в Москве иначе - не в общаге же!.. И вот что еще вспомнил, да. Ушла она недавно из нашего ГИДа. В другой телекомпании ей хорошее место предложили, в "Фаворите", у нас же в Останкино, а это, старик, этажом выше, если о деньгах. Молодец, в общем!.. Ну, вот потому и не видел ее давно, кроме как в бане пару раз... А хорошая девка, скажи, я имею в виду тело и мордаху? Вот так-то! Ну, давай еще выпьем, коль такие дела...

Да, вот такие дела. Хорошо посидели они тогда с приятелем. Уже на ночь глядя отправился П к себе домой, переспал с собою же, а поутру, испив чаю, вспомнил вчерашнее и стал занудно думать. Как-то застряло это вчерашнее в его душе.

Странно и противоречиво. Обвал чувств. Несется поток, и в нем всё смешано. Вот Танька-Понька, а П о ней уж и забыл. И вот, оказывается, она в Москве, и вот он ее видит голую - голую, да не его, а другого мужчины. Увидеть женщину, с которой был, глазами другого мужчины - это, доложу вам, что-то отдельное! Тем более когда перед тобой фотографическое доказательство, да не какое-то маленькое, а тридцать на сорок, искусство. Знакомое тело, овал лица, глаза, нос, губы, улыбка. Вот только запаха сырого сена нет.

Это уже не твое, чужое. А ты собственник? - спрашивает себя П. Ну, как и всякий мужик: хоть чуть-чуть, но да, именно. А ты разве хотел, чтобы она стала именно твоей собственностью? Нет, не хотел. И чего же ты тогда нудишь, какое ты на нее имеешь право и чем она тебе обязана? Ничем, но... неуютно, черт возьми, неуютно все-таки! Что ж, переживи. Да, но... все-таки неуютно, когда кто-то, пусть и старый приятель, касается до твоей женщины!.. Ой, какой-такой твоей? Твоей? Этой проститутки, которую ты подцепил в задрипанной Кандаляшке? Нет, вообще-то это она меня подцепила и ни рубля с меня не взяла, замечу! И почему она - проститутка? А мы? Ну, в известном смысле, конечно. Мы все и всегда расплачиваемся друг с другом, мужчины и женщины. Вот и приятель мой, например. Приваживает к себе из нудистской бани юных дам и потом, сорокапятилетний, уже с брюшком, дарит им их же, красавиц, - тридцать на сорок. Да не дарит - расплачивается! Расплачивается именно так. А то приезжали бы они к нему, не зная, что так и будет? Фигушки!.. Сплошная выходит у нас проституция: ты отдаешь, я отдаю. Бартер.

Бартер, карьера, маленькое, но стабильное удовольствие. Главное, чтобы

было устойчиво, как заметил наш приятель. Но заметил и другое, будем справедливы: интересно ей, Таньке, жить хочется, и тут деньги - средство, а не цель. Потому, кажется, сделает она не только приличную для нее карьеру, машину и квартиру, а - самостояние, род достойный наконец...

Ладно, вздыхал П, полдня выгребая из-под себя ошметки обвала, ладно, проехали, мало ли что бывает, ладно, пахнет сырым сеном, взгляд исподлобья, холодные ладошки вверх-вниз, мелкая проститутка из Кандалакши, теперь администратор в Останкино, сам проститутка, да и приятель твой тоже, а почему до сих пор этим сеном сырым так пахнет и талия - та самая мартовская сосулька - все наровит истаять в твоих горячих руках? А потому что не неандерталка - душа в ней подсвечивает. Дурь духовная, к которой, хоть трижды постарей, а все тянет. Плюнуть и растереть!

2

Проходит, кажется, еще полгода, и вот наконец встречаются все они, наши герои, на Курском вокзале. Конец августа, утро, над Москвой сеет мелкий дождичек, а состав еще не подали, поэтому стоят они под навесом на перроне. Они - это: наш Акакий Акакиевич, в шинельке своей вечной, наброшенной на выдавший виды сюртук; старик, в застиранной белой рубашке до колен; Танька-Понька с полоской голого пуза меж короткой блузкой и поясом коротких же шортиков, где - меж! - пупок завлекательно мерцает; ну и П, сам по себе весь обычный, никакой, ибо шпион: все ему визнавать интересно.

Ладно, хорошо-то как: ведь встретились наконец. И купе у них на всех одно, но только поезд пока не подают. Да куда он денется, червяк длинный, хотя, крякает Акакий Акакиевич, извлекая из брючного кармашка плоский кругляк часов (не иначе, дореволюционного Буре) и мягко хлопнув по его серебряной крышечке, уж пора бы, десять минут осталось, того! Старик все моргает сухими веками, обозначая сеточки морщин на скулах и, как всегда, помалкивает. Танька-Понька вроде тихо улыбается одной себе и тоже молчит. И тут наконец подают состав. И тут происходит следующее происшествие.

Они уже подошли к своему вагону под номером четыре, купейному, П (так сказать, организатор путешествия) достал их билеты, чтобы предъявить проводнику, как вдруг к ним, скучившимся перед входом в тамбур, подлетает совсем замокшая в дожде девочка. Лет пятнадцати. Маечка на худом тельце, за спиной (кажется, будто на крылышках) кожаный рюкзачок-с-кулачок, а из-под мышки у девочки торчит обшарпанная книжица, худенькая, как и ее хозяйка.

- Дяденьки, тетенька (эта она Таньке-Поньке), возьмите меня с собой, а?

Мы молчим, дождь идет, хочется в сушь и тепло, в купе наше долгожданное, молчим пару секунд, и тогда девочка эта, воробей намокший, котенок под дождем, продолжает, почти поскуливая:

- Ну, нет у меня билета и денег нет, но, дяденьки, тетенька, я вам не помешаю, я буду тихо-тихо! А любить я вас буду, если и вы ко мне хорошо! Как хорошо, когда так!

- Ну, ты чума! - наконец откликается один из нас, и это, конечно, Танька-Понька. Но добро как-то. А потом и вовсе прыскает: - Чума! Спятила, дак?

Все это длится с десятков секунд, не более, даже проводник ничего не понимает.

- Нет, не спятила, - трясет головкой мокрый воробей, котенок под дождем. - Тетенька, - и смотрит уже только на Таньку-Поньку, - мне, понимаете, сбежать надо,

чтоб одной, самой. Понимаете? Родители, ну! Москва эта орастая, ну!.. Понимаете, тетенька?

Тетенька, которой теперь всего-то двадцать два, ослабивается и переводит взгляд на П. А П на стариков своих любимых. Акакий Акакиевич смотрит на мокрый перрон, потом с трудом, явно преодолевая прошлое, поднимает глаза.

- Барышня, - говорит, - вы, того, только не печальтесь. Да и зонтик ваш где же или накидка какая?

И тут старик чуть вскидывает голову и, обратив на себя внимание этим движением, тянет руку к подмышке девочки, воробья мокрого, котенка под дождем.

- Что это у тебя там, дочка?

Вот тогда впервые и прозвучало среди нас это его слово: *hijita* - ихита, то есть дочка. Но она, будущая наша дочка, ничего по-испански не разумея, что-понимает (а может быть, понимает, напротив, все) и отвечает вполне внятно и радостно:

- Ой, на последние тридцать рублей купила, прямо здесь, на развале перед вокзалом! Худенькая книжица, как раз в дорогу. Не читала и писателя такого не знаю. Но обложка-то какая, какой рисунок, дяденька, посмотри!

Дяденька, то есть наш старик, берет в старые свои ладони эту книжицу, аккуратно, даже трепетно, и, видит П, глаза его, остаются по-прежнему сухими.

- Хорошая рыба, - произносит спокойно. - Вполне правильно нарисовали. Так и было с ней и со мной.

- Как было?

- Ну, почитай, а потом я тебе расскажу еще кое-что, потому что никто более меня об этой истории не знает. Пошли, ихита, дочка.

Старик первым минует проводника и проходит в вагон. А все мы, включая девочку, воробья-котенка, - за ним. Так и поехали. "А куда мы поехали-то?" - спрашивает она, наконец согрившись. "Да в Крым", - отвечаем. "Ой, хорошо, спасибо, никогда моря не видела, никогда!"

И если помните, что делала она, девочка наша, в поезде, все лежа на верхней полке? Читала и читала эту книжицу свою. И, изредка свешиваясь, кричала нам радостно: "Нет, вы послушайте! Э, вот... Рыба, а рыба!.."

3

В первые сутки, еще в поезде, Танька-Понька относилась к нашей бродяжке, девочке-дочке, критически, хотя старалась не выказывать этого никак. Но П замечал. И улыбался внутренне. Ясно, тут природа женская, ничего не поделаешь: в ограниченном пространстве на ближайшее время - маленькая, но конкурентка, эта пигалица, котенка, воробей только что просохший! И как они, мужики-старики, на нее смотрят: ласково, добро, все нарывают ненавязчиво лишним бутербродом угостить, или чаем, или кофе, или вторым одеялом перекрыть. Разомлели от, считай, забытого счастья! Да что забытого - никогда ими не ведомого: ведь ни у Акакия, ни у старика, ни у П детей, дочери тем более, никогда не было, вот так!.. Поэтому, понимал П, тут у Таньки-Поньки конкурентный мотивчик возник вовсе не по сексу. Ведь ее саму так никто-никогда не холил, не любил. Всё сама, сама. Вот именно: всё сама. А они, гляди - ну, прямо с ладони кормят бродяжку эту московскую!..

Но на другой день, едва прибыли в Коктебель и поселились в двух скромных комнатках пансионата под Карадагом (мужчины в одной комнатке, женщины в соседствующей, с общим балконом и туалетом-душем), маятник в душе Таньки-Поньки сразу качнулся в другую сторону: она стала опекать девочку, опекать и учить, и это вдруг доставило ей, Таньке, неизъяснимое удовольствие, впервые. Будто

делает она все это не только для девочки, а еще и для себя самой. Изначальная оппозиция "она - я" внезапно сплелась для нее в странное "мы - я". Бог знает, размышлял П, может быть, так и вызревает материнский инстинкт?..

Сладко было поначалу. Солнце, море, любимый Коктебель, пока никакой токсикоинфекции, тишина, долгожданные свои рядом. И даже то, что сразу пришлось изменить диспозицию их бытования в пансионате, П никак не угнетало, даже напротив - доставляло некое странное удовольствие. Ведь поначалу было задумано, что он, П, и Танька-Понька будут жить в одной комнатке, а старики в соседней, но вот появилась девочка-дочка, и тут же стало ясно, что бытование надо делить по половому принципу: женщины и мужчины раздельно. Так и поселились, и всем, кажется, было уютно-спокойно, даже, повторим, П - из-за побежденного им в себе самцового эгоизма...

На третий день, прямо с утра, Танька-Понька и дочка-ихита куда-то пропали, но вот возвращаются к обеду радостно-возбужденные. Танька, хоть и улыбается приметно, но молчит, а ихита кричит, едва войдя в их комнатки:

- Дяденьки! Что у нас будет теперь каждый день? Теннис! По два часа! Ну... - приостанавливается она, - то есть у нас с тетенькой Таней. Там, в писательском Доме творчества, на кортах. Ой, какие корты! Первый раз утром, с восьми до девяти, до завтрака, а потом с пяти до шести, перед ужином. Ой, здорово!.. Тетенька Таня, - вдруг сбрасывает она верхнее "до", - спасибо, еще раз спасибо.

Тут тетенька, конечно, исполняет роль если не королевы, то вполне высокородной дамы: отмахивается, как от незначущего, и без эмоций проговаривает: "Нормально, девочка, нормально".

А ведь действительно нормально, понимает ее П, потому что это - искренне и возможно. Возможно. То есть ты уже можешь делать добрые дела, поскольку вполне обеспечен. Такое пьянит...

Потом они - П, Танька-Понька и девочка - идут на пляж (прямо за оградкой пансионата), и первый спрашивает вторую, поскольку третья уже умчалась вперед, в воду:

- Ну и как дело было, расскажи?

- Да какое это дело! Нормально. Нашли эти корты в Доме творчества, и оказалось, можно купить часы. Да сколько хочешь, только плати, разумеется! Я и купила. На нас двоих, каждый день, два раза по часу. И тренера купила. Я-то хоть чуть-чуть могу, а девочка наша никогда ракетку в руках не держала. Вот пусть и учится, ну и я тоже... Нормально, оплатила, на неделю вперед.

- М-да, - только и качает головой П.

Танька-Понька в ответ тоже качает головой, но совсем по-другому поводу:

- Брось ты! Есть вещи, на которых нельзя экономить. Я обязана быть в форме. Теннис - это форма. И девочке надо быть в форме, на будущее. Воробушек еще, а ножки какие, заметил? Класс будет, класс! Подумаешь, два раза в день по десять долларов на женщину! На женщину, дак!

- Слушай, ведь договорились! - напоминает П.

- Извини, - распахивает Танька буратинный рот. - Больше не буду.

Это действительно их уговор: всякий раз, когда в ее речах будет проскакивать северный говорок, П должен ее урезонивать. Так между ними и происходит. Чтобы она, молодая дама с телевидения, в Москве только гладкими фразами отличалась, никакой провинциальщины! Вот такая Танька-Понька, существо обучаемое: сама это надумала, а вовсе не П. И что ж, вполне гладко говорить стала, по-московски. Хотя чуточку жаль: так нравился ее северный говорок, да ничего не поделаешь: ведь ей выжить надо в столице, крепко выжить.

Наконец они ложатся на горячую гальку, а где же ихита? А ихита в море. Вон,

ее головка меж мелкими волнами кувыркается под солнцем. Вверх-вниз. "Девка дурная! - ругается П. - Куда уплыла, а? И ведь не докричишься теперь". - "Брось, не волнуйся, - ленно говорит Танька-Понька и скидывает одежду. - Она хорошо плавает, мальчишка, лягушка длинноногая, через пять минут будет здесь, лежи, копти кожу".

Ну, с Танькой-Понькой все ясно. Скинула одежду и предстала скромной роскошью. Голой и не голой одновременно. Это уже московская женщина, это не ночь в задрипанной Кандалакше, когда серо-бело и вдруг шепот: "Лезь под одеяло". Ничего не видно - все только наощупь, наощупь... А и наощупь ведь было неплохо, вспоминает П, любясь Танькиной спиной с неповторимой (сосулькиной!) талией, а ниже вполне голыми ягодицами, меж короткими вроде бы какая-то узенькая полоска материи. Зачем она теперь на ней, непонятно.

Но непонятно и другое. Наконец (слава Богу!) выходит из моря наша ихита и, смешно балансируя на мокрых камнях, еще неуклюже, совершенно по-детски, подбирается к тетеньке и дяденьке П. (Так она их называет, заметим: Таньку - тетенька Таня, старика - дяденька старик, Акакия Акакиевича - дяденька Акакий, а П. - дяденька П.)

Так вот, дяденька П не понимает: на ихите оказывается тот же купальник, что и на Таньке-Поньке. Ну, в смысле, тот же фасон: почти ничего на груди и уж совсем почти ничего ниже. А поскольку попка еще маленькая, то известная полосочка все нарывает то влево сдвинуться, то вправо. Смешно, честное слово! Но хорошо-смешно.

П поворачивается на живот и шепчет в ухо Таньке-Поньке, загорающей в аналогичной позе со снятым лифчиком купальника:

- Ты с ума сошла, она еще не женщина! Небось это ты ей такой купальник купила?

- Я, сегодня. Она женщина. Пусть уже сейчас привыкает к дорогим вещам.

- Ну, не с пятнадцати же лет!

- С пятнадцати. И не учи меня, женщину, жить. Я теперь сама кого хошь научу.

- Не "хошь", а "хочешь",- следует поправка.

- Спасибо, поняла...

А старики наши посиживают в тенике под навесом на террасе ближайшего кафе и - что бы вы думали? - дуются в карты, мелко попивая кофе. Это старик научил Акакия Акакиевича: во-первых, что именно в жару и надобно пить кофе, только какой и как; и во вторых: играть в испанского дурака или в английского "примеро", это не то что в русского, тут соображать надо, а не только на случайный расклад надеяться, понял Акакий? Акакий почти с ходу понял, вот ведь голова-то, оказывается! Очередной морфоз, не иначе.

Ну а старик по вечерам отправляется к местным рыбакам в соседнюю бухту и что-то долго с ними обсуждает профессионально, усевшись на поваленные вдоль берега сети. Там пахнет солью и йодом, и ночной бриз уже сладко обдувает... Вот только как они понимают друг друга, неизвестно. Но ведь понимают, однако. П представлял себе, что мог бы им, местным, рассказать старик о своей ловле в океане и о пойманных им рыбах. И конечно, о главной его рыбе. Но рассказывал ли? Молчун наш старик, в основном только с собою диалоги ведет, зато постоянно.

4

Вот таким вышло начало этого странного коктейбельского житья-бытья: просто сказка-конфетка, особенно для нашей бродяжки, девочки-дочки, ихиты. Идиллия.

С утра-пораньше женщины уходили на свой теннис (П этого не слышал,

поскольку еще спал), а вот старик и Акакий Акакиевич, пташки ранние, с удовольствием провожали их до Киловой горы, что на полпути меж пансионатом и Домом творчества, и вскоре возвращались. Как раз и П пробуждался, пил с ними утренний кофе, который готовил старик в их же номере на Бог знает где добытой им спиртовке. Болтали с часик, сидя на террасе над морем, и П опять благостно думал о том, как же чудесно, что наконец они встретились, что он вывез их (и себя тоже) сюда. А тут и женщины показывались, махали им руками вниз и, мокрые после тенниса и ходьбы под жарким солнцем, сразу сбегали на пляж, чтобы броситься в море.

Да, сентиментален стал П с годами, в свои сорок пять. Сидит, покуривая, на террасе и умильно смотрит сверху, как Танька-Понька и ихита дурачатся в прибое. Отсюда не слышно, но все видно. Танька верховодит, конечно. Ах, Танька!

И вот так, смотря умильно, вспоминает П их первую московскую встречу. После его давнего отъезда из Кандалакши. После того как и думать о ней забыл, да вот извлек приятель свой альбом с "тридцать на сорок", и там обнаружилась Танька-Понька. Голая, все еще пахнувшая, как выяснилось, сырым сеном...

Он хорошо запомнил название той телекомпании, в которой, как сказал приятель, теперь служит администратором (а то, может быть, уже и ассистентом режиссера?) Танька из деревеньки Поньга, что на берегу реки Онеги, а впоследствии привокзальная девка в задрипанной Кандалакше. "Фаворит" - так называется эта компания. Запомнил и назавтра позвонил туда (а как узнал номер телефона - не важно, потому что это теперь элементарно).

Дозвонился, трижды прослушал музыкальную вставку вместо "ждите ответа", и наконец возник в трубке знакомый голос:

- Вас слушает телекомпания "Фаворит", меня зовут Татьяна, говорите, пожалуйста.

Нет, ей-богу, голос оказался знакомым, но не ее, Таньки. Ну, мисс Элиза Дулитл после обучения у профессора Хиггингса. Шоу проклятый!

П замялся на пару секунд, но потом сделал ход конем:

- Татьяна, вы секретарь?

- Нет, - последовал вежливый ответ, - секретарша отошла по делам, я ассистент режиссера, а вам, простите, нужна именно секретарша? Тогда какая именно?

Тут уж, сложив ситуацию, П решил более не играть.

- Танька, которая из Поньги! Два года назад ты обещалась прислать мне кунжу. К Новому году. И не прислала! Ни к тому Новому году, ни к следующему. Обманщица, вот ты кто!

Возникла пауза, мертвая, такая, что П даже рассмеялся.

- Ну? - затем обозначил себя вполне ласково. - Так что, Танька, которая из Поньги?

Она выделала горлом некие рулады и, явно взяв себя в руки, произнесла вполне дипломатично (видимо, рядом с ней находился кто-то еще):

- Пожалуйста, оставьте мне номер вашего телефона... Отлично, записываю. Я перезвоню вам. Через десять минут, устроит?

- Устроит. Звони...

Но вот что странно (или совсем не странно?): пока она говорила с ним, перед глазами стояло ее голое тело, ее лицо (взгляд исподлобья, растянутый почти до ушей рот в улыбке, белобрысая челка) - голое, но отснятое не им, П, а другим мужчиной, пусть и старым приятелем. Будто это голое принадлежало не ему, П, а приятелю. Короче говоря, другому. И этими другими глазами он сейчас ее и видел. А вот своими глазами - почти уже нет...

Она перезвонила не через десять минут, а через двадцать. И тут он не то что удивился - просто обомлел. Потому что это была уже не мисс Элиза Дулитл, а та самая Танька-Понька. Царевна-лягушка, вновь надевшая прошлую кожу.

- Ты чё, дядя, ты где? Ох, ё-мое! Как ты меня нашел? Слушай, ну сто лет! Это где мы виделись, в Кандалакше? Ну да, где же еще! Да, помню тебя, помню. Как мы потом гуляли с тобой хорошо на заливе. Ни с кем не гуляла так. Ну и что ты, что ты, что позвонил-то, дак?

А действительно что, усмехнулся П про себя?

- Я, дак, всё про кунжу обещанную, - усмехнулся уже вслух.

Она, Танька-Понька, опять сотворила паузу, теперь маленькую и не мертвую.

- Хочешь встретиться? - сказала затем спокойно.

- Пожалуй.

- Ладно, "пожалуй". Я тебя помню. Давай договариваться, только времени у меня теперь и всегда в обрез...

Несмотря на последнюю оговорку, время нашлось. А кой-когда находилось и после. Странно все было опять же. Сначала он должен был привыкнуть, что это Танькино тело - именно его, а не кого-то другого, хотя, конечно, выяснилось, что живет она с кем-то, неким продюсером, у него дома. Какие-то у них полулюбовные, но очень деловые отношения. Надо дело делать. Ему - кино, ей - карьере. Каждый помогает каждому, и пока (чтоб не сглазить!) все хорошо. Компания держится на плаву, деньги идут, а она, Танька, вполне свободна как женщина, никому никаких обязательств не давала и никогда не даст, вот так-то, мой милый! А с прошлым покончено, это было, что ж, необходимо, но жуть как не интересно. А вот теперь интересно! Жить интересно, а не по холодному вокзальчику шастать в поисках очередного мелкого командировочного или местного алкаша при внезапных деньгах. Понял? Понял суть нашу молодо-бабскую, провинциальную? Там у нас, на севере, ведь большинство девок таких. А че, это мы виноваты? Извини-подвинься! Жрать-то хочется и хоть дом какой иметь, а разруха кругом!.. Ладно, все, проехали. Теперь я сама, здесь. Накоплю сначала на машину (это уже более чем реально), потом на квартиру. И первую ступень моя ракета отработает. В космос еще не выйду, но вполне подберусь к нему.

- А что для тебя космос? - валяя дурака, спрашивает П.

- Как это что? Ты не понимаешь, пишуший? Дом - моя крепость, в котором мой род, моя семья. Дети и внуки. Плотно и богато. Здесь, в твоей Москве. А потом, ну, поглядим, может, и где-то там... ну, за кордоном... Ладно, размечталась я, с тобой лежучи, извини, что все о делах. Ты б поцеловал меня вот сюда, а? И почему мне с тобой так ласково и спокойно, будто в стоге сена под дождем? Вот только, спасибо, здесь мыши не спуют, как там. Ты когда-нибудь ночевал с девкой в стоге сена, да еще в дождь? Нет? Ой, как там мыши бегают! Только ноги раскроешь, а и не знаешь, что или кто туда первым заскочит!.. Ну ладно, не хохочи, целуй куда сказано! Мне хорошо, правда...

Как правило, она сама звонила ему домой (ну, где-то раз в месяц), но изредка он тоже звонил ей в Останкино и, когда везло (не на совещании, не в монтажной), слышал выдержанный в лучших английских традициях холодновато-дружелюбный голос: "Добрый день. Татьяна у телефона". Если бы она еще добавляла "сэр" ("Татьяна у телефона, сэр!"), было бы уж вполне по-английски. Это жуть как забавило. П хохотал в трубку и, играя, кричал: "Танька-Понька, это я!" Уже попривыкнув к таким его вывертам, она не изменяла наущениям профессора Хиггингса: "Спасибо, я вам перезвоню минут через десять, еще раз спасибо". Сэр!..

И еще один момент. Как-то странно была она, эта мелконоворусская дипломатка из Останкино, с ним откровенна. Ну, будто их связывало общее

прошлое. Да какое-такое прошлое, если всего-то два дня вместе, а потом более двух лет прошло, в течение которых ни слуху ни духу, полное забвение!.. Странно, правда. Вот П спрашивает ее, например:

- Слушай, а все-таки: как ты, оказавшись в Москве, оказалась в Останкино? Ведь просто удача!

- А головой надо думать, а не копчиком, - с ходу отвечает она. - Головой, а перед тем всю душу выплакать, понял? Ну, скопила я, скопила, пока сначала в гостинице отдавалась, а потом при вокзале. А че коплю, думала? Ну, квартиру с мамкой прикупим. А тут мамка и померла. Привет! Третью моих денег ушла на похороны, но две трети остались. Вот и решила, просохнув от слез: дерну в Москву, баста, хватит дуру валять в постели, а там найду мужичка толкового и запродамся ему за эти деньги - чтобы пристроил меня по делу. Только бы не промахнуться, понимала: надо действительно делового найти, а не кобеля очередного. Я ему, он мне... Повезло, наверное. Уж несколько дней ошивалась в останкинском вестибюле, между вертушкой и охранниками, и тут он появляется, из вертушки же: плащ нараспашку, богатый костюм, галтук небось за сотню баксов. Я тут же уразумела: барин! И с ходу: "Я у вас работать хочу, я пока немного умею, но я обучаемая". Он глянул оценивающе и мотнул головой в сторону бюро пропусков. "Стой там и жди. Как твоя фамилия? Паспорт при себе? Вот и хорошо, минут через десять будет тебе пропуск..." Вот такой пропуск мне и вышел на следующие годы. За деньги, конечно. За мои проституткины деньги. Я ему не только дала, но и деньгами отдалась, чтобы он меня у себя пристроил. Так я оказалась в ГИДе - за проституткины деньги, но при барине. Потом уж сама, после того как натурщицей снималась: курсы администраторов, а теперь, вот, ассистент режиссера.

- Ну а что твой барин?

- Барин другой молодухе карьеру делает - за деньги и за тело ее, конечно.

Хобя у него такая.

- Хобби, - мягко поправляет П. - Такое... А ты, если не секрет, с кем сейчас и где?

- Тебе чё, фамилия его нужна? Да какая разница! Я ж сказала тебе: свободна я, дело вместе делаем, иначе не приезжала бы к тебе. С той жизнью покончено, наелась, все! Это поначалу пару раз позволяла себе развлекаться параллельно, к одному нашему режиссеру ездила домой, чтобы будто сниматься на фото. Это так он меня приваживал, ха-ха, а то я не понимала!.. Кстати, фото он сделал отличные, мастер, классная обнаженка, даже и не думала, что я такая. Молодец! Он и не понял, что этими фото мне еще больше уверенности придал. Дураки вы, мужики, прости меня, мой милый...

Да, усмехался потом П, знал бы его старый приятель обо всем этом! Так никогда и не узнает: не таков П, чтобы, даже подвыпив, делиться сокровенным. Он же не фотохудожник, не профессионал. И тем не менее, м-да, как-то странно они закольцевались: сначала П спал с Танькой-Понькой, потом с ней спал старый его приятель, который к тому же сделал ее роскошные "тридцать на сорок", но из этой их троицы только П знал, что все они знакомы друг с другом. И Танька-Понька: зачем ей говорить, что П видел ее тело на этих фотографиях, сделанных в Москве неким телережиссером - как оказалось, старым приятелем П, ее давнего знакомца по задрипанной Кандалакше, где, переспав, они ходили на залив, а потом гуляли, гуляли до расставания, до ночного московского поезда, и было им престранно-хорошо, привокзальной проститутке и мужчине сугубо транзитному? Незачем, конечно, рассказывать о том Таньке-Поньке - в частности, об этих фотографиях, где есть всё, кроме запаха сырого сена. Но этот запах П запомнил сразу и навсегда.

Хотя вот смехота: в таком сене, бывает, жуть как мыши возятся!

5

Да, повторим, вот таким вышло начало их странного коктебельского житья-бытья: просто сказка-конфетка, особенно для бродяжки, девочки-дочки, нашей ихиты. Идиллия...

День на пятый, наверное, пробуждается П от неясного бубнящего говора. А, догадывается: это за стенкой, в женской комнате! Но странно - ведь Танька-Понька и ихита сейчас должны быть на теннисе... Прислушивается - и верно: Танька что-то выговаривает там на повышенных тонах. Странно опять же: ведь не ссорились они ни разу, даже намек не было.

Одевшись, П входит туда и видит: ихита и Танька сидят напротив друг друга на еще не прибранных после сна постелях; первая - с опущенной головой, перекрывшись одеялом, вторая - как всегда, считай, голая, голову воинственно подняв.

- Что случилось? - вопрошает П.

Танька поводит плечами:

- Вишь, заболела, говорит! А нам на теннис. А я говорю: пошли, пересиль себя! Пересилишь, все пройдет. Надо быть сильной, понимаешь? - обращается она уже к ихите. - Мямля, возьми себя в руки, пошли! Не научишься такому - как выживать будешь, а?

Ихита - ну, будто побитая собачонка. Жалостно смотрит на П и бубнит, как извиняется:

- Дяденька П, правда, что-то нехорошо мне, знобит, мурашки бегают по плечам и спине, как табуны лошадей по степи, один табун за другим. Лечь хочется, и укрыться, и спать. И тошнит еще, сильно тошнит.

- Ну вот, опять завела! - шумно вздыхает Танька. - Как же ты любишь себя, оказывается!

Теперь ихита говорит уже ей:

- Тететька, извините, я знаю, вы оплатили, а я... Ну, тогда идите сами, без меня, еще успеете. Извините. И деньги ваши не пропадут.

- Да при чем здесь эти сраные деньги! - огрызается Танька всерьез. - Ты - вот что при чем!

- Не что, а - кто, - поправляет П и, махнув на Таньку рукой, подсаживается к девочке. - Дай-ка мне свой лобик и ручку.

А ручка уже горячая, да и лобик, как определяют губы П, горяченький. Тридцать восемь, не иначе.

- Ложись, ложись, я тебе укрою, согреешься. Все пройдет. Ну, простудилась, бывает. Перекупалась, ясно. Говорили тебе: ну хватит, вылезай же наконец, даже губы посинели! А ты - дорвалась, да?

Ихита пытается улыбнуться через силу, уже под одеялом:

- Дорвалась, дяденька. Никогда моря не видела. Ой, какое море!

- Лежи, - успокаивает П, - лежи, сейчас мы со стариками чаю тебе организуем, прямо в постелю, как в лучших отелях. Все будет хорошо, день-два, и все наладится, опять плавать будешь.

Но тут она резко приподнимается:

- Ой, в туалет мне надо, извините, ой! Тошнит и... и это...

К вечеру температура у нее, кажется, уже под сорок. Это старик определил, который, сменив П, теперь сидит у диванчика ихиты не отлучаясь. Акакий Акакиевич меряет шагами террасу, скрестив руки на груди, и все от времени вопрошает П: "Как

полагаете, обойдется? Инфлюэнца в наше время... то есть, того, в мое время, это, знаете ли, вполне опасно, не дай-то Бог". Если это инфлюэнца! - думает П. Не похоже, однако. Такая рвота, такой понос...

Так они мучаются теперь: ихита - физически, а старик, Акакий Акакиевич и П - духовно. А вот Танька-Понька вовсе не мучается: взяла и исчезла.

Она не вернулась на ночь, а потом и вовсе запропала на целых три дня. Ясно, загуляла. И печалиться об этом, не говоря уж о том, чтобы искать блудницу, у П, да и стариков тоже, не было даже желания, потому что их девочке становилось все хуже и хуже. И в те редкие моменты по ночам, когда П, отдав дежурству старику, спускался на террасу, чтобы покурить над морем, он, усевшись в плетеное кресло рядом с клевавшим носом Акакием Акакиевичем, все-таки думал и о Таньке-Поньке, причем думал как-то вовсе не зло.

Ну, пропала, гуляет, это ее дела. Она, и верно, тут никому не обязана, даже П, как и в Москве. Она - сама. Добрая, но жесткая. Жизнь научила или предуготовлено в ней такое? Скорее, второе. Не было бы второго, не выжила бы она в своей Кандалакше. Там ведь и до сих пор ходят по ночному вокзалу подобные самочки, и будут ходить, покуда, как говорится, не выйдут в тираж; потом - какая-нибудь продавщица в продмаге, матюгающаяся на старух и алкашей. А Танька-Понька вырвалась из этого мертвого круга. Стержень в ней есть от роду, ох какой стержень! Жесткость, никаких себе и другим поблажек или сантиментов. Например, как сейчас: ну, заболел человек, ну, очухается через пару дней, тоже мне проблема! Ну, съела что-то не то, подумаешь, с кем не бывало! Поэтому, ребята, отдыхайте, а я - погулять. Воли хочется!..

Вот такая она, Танька-Понька. Хотите - любите ее, хотите - нет. Добрая и жесткая, но судьбу свою знающая, будто вычислила ее, лишь став женщиной в свои семнадцать, когда, оказавшись коридорной в гостинице в Кандалакше, пошли ей первые деньги. За час - столько-то, за ночь - столько-то. Правда, половина - что поделаешь - суке-администраторше (у которой зато, ха-ха, ни кожи, ни рожи!)...

Ладно, оставим пока ее, эту Таньку, кралю северную, что из деревеньки Поньги на левом берегу реки Онеги, которая (река) уже готова впасть в самое Белое море. Оставим до поры эту Таньку, теперь ассистента режиссера на TV, потому что дела тут у нас сплошь серьезные.

Назавтра выясняется, что в пансионате заболели еще человек десять. Сиимпоты те же, что и у нашей девочки. И тут П узнает от одного из местных, что аналогичная картина в Крыму уже с середины лета - то там, то тут, даже в Ялте и Феодосии. Какая-то ползучая токсикоинфекция. Спасибо, мрут мало, но кой-кто мрет все-таки. "Неблагополучие тут у нас, - поведал местный. - По части водоснабжения и канализации, труб и канав сточных. Питья и испражнения то есть. Как будто другого неблагополучия было нам мало".

П переводит это старику, тот моргает сухими веками и говорит: "Иди к врачу, а я с ихитой посижу, совсем ей худо". На террасе остается один Акакий Акакиевич, как капитан на мостике всеми оставленного корабля в океане. "Если и старики еще заболеют, что мне делать? - думает П, спеша в поселок. - Как я буду жить? Я-то не заболею, это точно. Я ведь должен все это потом описать, я обречен если не на жизнь, то на существование, вот беда-то!"

Но тут он, спасибо, ошибается, потому что старики наши заболевать и не думают. Ну, ясно: они уже бессмертные, ничто их взять не может. Отболели свое, отстрадали, достойно помыкались. Теперь они вполне невосприимчивы к людской заразе. Поэтому старик и говорит П, когда тот возвращается от поселкового врача: "Ладно, антибиотики, рисовый отвар, питье. Попробуем пару дней. Рисовый отвар - знаю, а что такое... эти, антибиотики?"

Проходят еще сутки, и у ихиты, отдавшей из себя, кажется, уже все, начинаются мелкие судороги. Сначала в пальчиках рук и ног, потом в предплечьях и голених. Мелкие такие судороги. "Последнее, - произносит старик шепотом, прикрыв глаза, - это когда начнет сводить мышцы челюстей. Это - все, я знаю, видел. В океане такое было, когда десять дней без пресной воды".

А чего он только не видел, конечно... Появляется на террасе, где взад-вперед ходит трясущийся Акакий Акакиевич да постоянно курит П, и говорит тихо, но жестко:

- Акакий, мы соберем наши деньги, и прямо поутру ты пойдешь за солью, морской. В аптеку.

Акакий Акакиевич понимает по-испански еще с трудом, и старик выговаривает жестко:

- Аптека, аптека! Пойми ты, аптека. Морская соль. Иди скорей!..

Но это вы уже знаете: как Акакий Акакиевич наутро побежал в поселок и как там нашего титулярного советника привычно, если вспомнить его прошлое, ограбили, и как он (уже непривычно - морфоз!) умудрился таки спасти наши деньги (а деньги были наперечет, потому что Танька-Понька, богатенькая наша, в тот момент взяла и исчезла!), и как уже сам старик следующим утром пошел в поселок, где и достал на тамошнем черном рынке некую драгоценную соль, только ему ведомую.

6

Всё будет хорошо, сказал П ихите, а затем то же неоднократно повторял старик, и Акакий Акакиевич в том скоро уже уверился. А почему? Да потому что все они - одно и то же, разве вы еще не поняли? Живет себе П, а в нем живут эти двое. Хотя, признаем, всяк живет в нем по-своему. Старик - как его нарисовал именно его автор, а Акакий Акакиевич - как наш фантаст из позапрошлого уже века. Да вот странность: иногда случаются с ними, того, морфозы. И с Танькой-Понькой тоже. А что до девочки, то есть ихиты, - так она еще только начинает; посмотрим, куда ее вывезет кривая или, дай Бог, прямая...

Теперь у них было главное, чем решил обзавестись старик, чтобы спасти ихиту да и всех остальных: какая-то его морская соль и вода в пластиковых флягах. Соль, как помните, добыл сам старик, а фляги с питьевой водой еще вчера прикупили в местной лавке П с Акакием Акакиевичем. Старик повторил: "Умываться и даже зубы чистить - только этой водой. И чай или кофе готовить - только на ней же. Всем нам, не только ихите. Хотя сейчас - только она..."

Потом он попросил освободить ему стол в номере и, когда это было исполнено, расставил там свои кульки с солью, всю наличную у них тару (стеклянный кувшин да пару стаканов) и одну из фляг с водой. Дальше пошел процесс смешивания-перемешивания, точнее, растворения соли. Вода мутнела, соль еле растворялась, и по всему объему кувшина плавали крупные хлопья. "Такое она не сможет пить, - понял старик, - надо прокипятить пару раз, чтобы осело. Идите в столовую, принесите кастрюлю".

Это длилось еще с час: в жаркой кухне пансионной столовой П кипятил на электроплите мутный состав в трехлитровой эмалированной кастрюле, которую, спасибо, ему выдали местные поварахи. Кипятил, потом спешил в свой номер. Там старик разливал принесенное по кружкам и в кувшин, ставил на пол балкона, чтобы остыло, и П вновь спешил на кухню со следующей порцией мутного раствора. Потом старик сказал: "Хватит. На пару дней хватит, а больше, дай-то Бог, и не надо".

Он нацедил через оторванный им кусок занавески (марли, конечно, под рукой

не оказалось) полстакана почти уже прозрачной жидкости и, вздохнув тяжело, прошел в соседнюю комнату, к ихите. Сел у нее в ногах. Потом, вспомнив, крикнул: "Акакий, будь любезен, я забыл, принеси таз из туалета". А потом - уже девочке:

- Ихита моя, сделай два глоточка. Противно это, сам знаю. Но мы с тобой должны победить. Не выпьешь это, не победим. Помнишь, у него был такой рассказ - "Непобежденный", помнишь? Я тебе расскажу, как это было взаправду. И о рыбе своей расскажу все взаправду. Только выпей два глоточка хотя бы. Тебя будет рвать, а ты будешь пить. Но с каждым разом на один глоточек больше в тебе останется. Что и нужно. На один глоточек больше. У нас с тобой всего день остался, чтобы выжить. Ну, присядь, облокотись на меня, вот так, вот так, давай... Ну, пусть рвет, а ты потихонечку, ну еще, ну давай...

К следующему вечеру П и Акакий Акакиевич, сидящие в своей комнатке, слышат тонкий голосок из-за стенки: "Дяденька!.." Впервые такое слышат за прошедшие дни вместо стонов и звука рвоты. И спешат туда, к девочке. Она уже не под двумя одеялами, скрюченная от озноба, а полулежит на высоких подушках. Не иначе, старик соорудил ей это под спинку. П и Акакий Акакиевич входят, и ихита тут же оборачивается к ним:

- Ой, дяденьки! Дяденька П, дяденька Акакий, здрасте! Кажется, мне легче. А что у вас?

Акакий Акакиевич бессловно крестится - естественно, справа налево, а вслед за ним так же бессловно крестится старик - естественно, слева направо, и только П остается недвижимым. К чему ему эти жесты, зачем?

- Устала я, дяденьки, - шепчет ихита. - Легче мне, а устала. Посплю часик, ладно? Извините, посплю. И ты, дяденька старик, иди, поспи тоже, ведь помаялся со мной, да?

Старик только покачивает головой:

- Спи, ихита, хорошо, и я подремлю, а потом, как обещал, рассказывать тебе буду.

- Ой, хорошо, хорошо-то так, - еле проговаривает она, кажется, уже из сна...

Вот так и продолжилась ее, ихиты, и его, старика, та самая книга - как он сказал, взаправдашняя.

- Нельзя человеку одному на старости лет оставаться, думал я тогда, помнишь? А куда денешься? Не забыть бы съесть тунца, пока он не испортился, а то еще ослабею... Смотри не забудь, - сказал я себе.

- А тунец, это кто, рыба? - вышептывает ихита из сна.

- Рыба, - улыбается старик. - На окуня похожая, только большая, в океане я ловил таких, до трех метров бывало, но это редко. Жирная, не то чтоб уж очень вкусная, но полезная. Филе из нее, пойманной, сделаешь, и на пару дней хватит даже в море, только в тень положи, под корму или парус запасной. Тогда и не ослабеешь.

- Что, прямо сырую?

- А как в лодке иначе, ихита? Приправь соком, лимонным например, и хорошо.

- Ну а потом? - вышептывает она. И старик продолжает:

- Может, зря я стал рыбаком, думал я потом. Но ведь на то я родился. Только б не забыть тунца съесть, когда рассветет. А вслух сказал: "Вот был бы мальчик со мной". Да только нет с тобой мальчика, подумал. Один ты, и надеяться тебе не на кого...

- А кто этот твой мальчик? - спрашивает ихита. - Ты столько уж раз его поминал. Кто он?

- Эх, - сладко вздыхает старик, - хороший мальчик! Я его учу рыбу в океане ловить, и он все уже понимает. Хороший рыбак будет. Я тебя с ним потом

познакомлю, теперь это уже ясно.

- Зачем это? - отмахивается ихита, как от назойливого комара. - Мальчик, ну и что?.. Ладно, а вот дальше, дальше, когда рыба твоя уже зацепилась на крючок, и повисла на леске на твоём плече, и ты, не снимая леску с плеча, водил ее пару часов, помнишь? Или даже целый день, помнишь?

Старик опять улыбается погасшим ртом - дескать, как не помнить?

«- Слушай, рыба, я ведь от тебя только мертвый отстану, - сказал я негромко. - Потому что понял, ихита, какая рыба у меня на крючке. Такой у меня никогда не было. С такой, когда ее продашь на рынке, разделав по частям, почти три месяца прожить можно, а то и больше, с долгами расплатишься. Да, большой долг у меня в нашей лавке, за кофе особо, а о сигаре я уж не мечтаю... Поэтому и сказал ей: "Знаешь, рыба, я люблю тебя и уважаю, но не успеет зайти солнце, как я тебя убью».

- Как же это можно - любить и убивать? - почти стонет ихита.

- Да, - вздыхает он, - понимаю, но ты должна выслушать меня дальше.

«...Старик посмотрел вдаль на море и почувствовал, до чего ж он одинок. Но ему видны были и преломленные на большой глубине солнечные лучи, и тугая леска, устремившаяся куда-то вперед... Облака перестраивались в ожидании пассата, и, посмотрев прямо перед собой, он увидел стайку диких уток, высоко над водой; на какой-то момент стая вдруг почти растворилась, потом вырисовалась еще четче, и старик понял, что никогда не будет человек одинок в море».

- Ладно, слушай дальше. «Это же всем рыбам рыба, понял я, и я должен ее урезонить. Главное, чтобы она о своей силе не догадалась. Я-то на ее месте все бы силы сейчас собрал и рванул вперед... Но, слава богу, они умом до нас, до убийц своих, не доросли, зато в благородстве они нас превосходят, ну и ловкостью тоже... Хорошо б она уснула, тогда и я поспал бы и увидел сон про львов. И почему это львы - главное из всего, что у меня осталось?»

- Ты был а Африке? - спрашивает ихита.

- Нет, никогда, мне моего океана хватает. Но снится. Слушай...

Тогда вместо львов мне приснилось огромное стадо крупных дельфинов. Затем приснилось, что я в деревне лежу у себя на кровати, что дует северяк, и я совсем замерз и отлежал правую руку. И только после этого мне начал сниться длинный желтый пляж; я увидел, как в ранних сумерках на нем появился первый лев, а за ним и другие, а я стоял на носу корабля, опершись подбородком на деревянную обшивку, обдуваемый вечерним береговым бризом, и ждал, не придут ли еще новые львы, и был счастлив.

- Ну а потом? - нетерпеливо вопрошает ихита. - С рыбой твоей, когда она всплыла и ты ее наконец увидел?

- Слушай, рыба, - сказал я ей. - Тебе ведь все равно умирать. Так ты что, и меня заодно прикончить хочешь?.. Нет, прости, это было чуть раньше, а когда она наконец всплыла, я был поражен: она оказалась длиннее моей лодки, уж метров семь-восемь, не меньше. Меч-рыба. Ну а дальше...

- Нет-нет, - вскидывает руки ихита, - не хочу, не могу это слушать, прочитала еще в поезде, прекрати, пожалуйста! Давай на этом закончим - как ты ее поймал, как притащил к себе в бухту. А?

- Что притащил? - вздыхает старик. - Скелет обглоданный!

- Ну, все! - просит ихита.

- Именно так, дочка, все. И потому не бойся: доскажу хорошее. Я ведь тоже должен свое досказать, именно тебе. Сначала про акул. Вот они и одолели меня, подумал я тогда. Стар уж я, чтобы акул ослопиной до смерти заколачивать. Устал ты, старый, сказал я себе, нутром устал... Засыпай, ихита моя, засыпай, ты

выздоровливаешь, да и все мы, спасибо Пресвятой Деве, живы. И пока засыпаешь, послушай напоследок. Может, это главное, что я понял.

«...Старик постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, - что поделаешь, такова ее природа...

А дальше, уже в своей хижине, старик опять спал. Он по-прежнему спал лицом вниз, а мальчик сидел у постели и оберегал его сон. Старику снились львы...»

А сейчас, здесь, досказав свою историю, он тоже задремал, уже удовлетворенно, поскольку перед тем понял, что ихита спит. Свесил голову на грудь и через несколько минут всхрапнул внезапно; вот от звука в тишине ихита и очнулась.

- Дяденька, - спросила, будто и не засыпала, - а ты с ним, с писателем твоим, знаком был?

Старик поморгал, возвращаясь в реальный мир, и не сразу, но вспомнил:

- А, с этим, который с седой бородой, с американцем нашим? Был знаком, да. Все он меня расспрашивал, хотя и сам неплохо под парусом ходил и в рыбах толк знал. Но я-то был рыбаком, чтобы выживать, а он - так, охоты ради... Нет, хороший был человек, мужчина. Я читал потом, что он про меня написал, мальчик где-то достал, принес. Все правильно. Хотя, конечно, мне-то лучше знать, как было на самом деле. И другое его читал, помню. Хороший писатель, фамилию его только забыл. На фамилии у меня всегда голова слабая. Вот если о сортах кофе, или сигар, или названиях бейсбольных команд!

Тут ихита, сладко зевнув, тихонько хмыкает:

- Дяденька старик, а хочешь - подскажу?

- Ты о чем это?

- Да не про сигары или бейсбол, а как твоего писателя звали. Вон, книжка моя лежит, моя-твоя, ты опять забыл?

7

Что было назавтра, вы уже знаете: П отыскал Таньку-Поньку, нашу блудницу, точнее гулену, и уже вдвоем они вернулись в пансионат. Все ей оказались рады, даже старик, а ихита особенно. Протянула к ней худые ручки и заговорила быстро: "Тетенька, тетенька Таня! Ой, вы!" А тетенька Таня, если помните, не опускаясь до ответных эмоций, лишь усмехнулась: Жива?" Потом перешла к делу:

- Да, - протянула, оглядываясь и почесывая в затылке. - Да, мужики! Мыть тут у нас все надо подчистую. Хлоркой или как его... хлорамином, во, дак! И в туалете в первую очередь!.. В этом засраном пансионате хоть какой-то фершел или медсестра есть? Гигиена крымская!..

Хлорамином у них пахло еще долго, даже ночью, после того как Танька-Понька, все отдраив, побежала к морю. "Всё, теперь в воду, как Ихтиандр! Трижды пропотела в этой жаре. Хоть бы вентилятор какой тут, в номере, придумали!.."

Она долго плавает, а ихита вдруг просит старика вывести ее на балкон, чтоб подышать морским воздухом. Старик поднимает ее с диванчика, укрывает одеялом и ведет, еще пошатывающуюся. Усаживает в кресло, перекрывает ей колени.

- Не знобит? - спрашивает.

- Уже нет. Слабость только. Голова - ну, будто отдельно от меня летает.

- Значит, будешь жить, теперь долго, - кивает старик как о решенном. И вслед за тем растягивает рот в улыбке: - Это хорошо, дочка, это чисто по-женски: голова - ну, будто отдельно от тебя летает! Значит, ты женщина. Хорошо. - И помолчав, уже

без улыбки, продолжает: - Помнишь, я тебе рассказывал вчера, как постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, - что поделаешь, такова ее природа. Значит, ты и есть море. Которое для нас всегда.

Рядом усаживаются П и Акакий Акакиевич.

- Жива! - вышептывает Акакий Акакиевич и опять крестится троекратно. - Ну, чудо, того.

- Брось, Акакий, - откликается старик. - Выживать, это стойком надо родиться. И бороться с акулами. Когда они тебя, когда ты их, но только чтобы ты их чаще. Иначе какой улов ты привезешь себе на берег? Вот женщины, к примеру, это понимают лучше нас.

- Да-да, вы правы, конечно, - кивает Акакий Акакиевич. - Как же поздно я это понял, но понял ведь - хорошо!

А П сидит себе рядом с ними и помалкивает. Ему тоже хорошо. Ихита, девочка наша, жива, Танька-Понька нашлась (вон, все кувыркается в ночном прибое), а что до стариков, то мало ли какие им, бессмертным, мысли в их старые головы приходят! С этим можно соглашаться, а можно и нет. Дело вкуса и духовных предпочтений наших. Кто крестится справа налево, кто слева направо, а кто не крестится вовсе.

8

Вот пора и заканчивать. В последний их день в героини вышла, конечно, Танька-Понька. Что ж, и ее черед настал. Сначала героем у нас был Акакий Акакиевич, когда после нападения на него сумел отстоять общие деньги; вслед за ним героем стал старик, добывший свою соль, которая спасла нашу ихиту, да и не только ее, но и всех заболевших в пансионате, поскольку, естественно, о чудодейственном средстве и способе его приготовления, пусть долгом, наши персонажи тут же рассказали остальным. Да и П отличился если уж не геройством, то кой-каким поступком: разыскал Таньку-Поньку, беглянку, и вернул ее ко всем. В общем, всяк свершил свой морфоз, как это определяет наш Акакий Акакиевич. А что такое морфоз, кстати? Ведь ранее мы обещались истолковать странное, не раз упомянутое выше понятие, помните?

Ну, если перевести с сугубо научного языка на общепринятый, обывательский (что нам и нужно), то это - достаточно внезапное изменение. Изменение не только внешности человека (скажем, приехал он на юг, и через пару дней его кожа покрылась хорошим загаром; то есть всегда был белым и вдруг стал почти черным), но и его поведения, а до того - строя мыслей, чувств, а дальше и поступков. Короче говоря, вдруг непривычно поступает человек, непривычно не только для себя, но, главное, для окружающих, которые давно знают, что он вроде бы всегда такой, а тут вдруг - не такой. Но вот что существенно: это внезапное изменение - вовсе не чудо, а оказывается, предуготовлено в тебе же, только до поры ты о том и сам не знаешь. Как сказали бы ученые, такая программа поведения записана в твоих генах, но скрыта до поры - той, когда ситуация это востребует. Резкая ситуация, драматическая, а иногда и трагическая. Нет такой программы в генах - не будет и морфоза, хоть ты тресни! Что бы там ни случилось вокруг, не будет с тобой ничего нового: будешь жить как жил - затихая, умирая.

И как до этого докумекал (верней, что-то еще только почувствовал) наш Акакий Акакиевич, ничего в науках не понимающий? А не исключено, потому и почувствовал, что его изначальный создатель - отец, так сказать, натуральной

школы - приписал Акакию Акакиевичу черты вовсе уж унижительные, какие-то просто никакие, и вот когда автор приказал ему долго жить, Акакий Акакиевич вдруг шумно воспротивился такому повороту событий и стал шастать по Петербургу привидением, делая то же, что сделали с ним самим. То есть грабя.

Вот уж это полное того! - понял как-то Акакий Акакиевич - полная литература, причем отнюдь ненатуральная. Это зачем же грабить-то, когда есть другие способы осуществления жизни? И зажил заново. Стал книжки почитать, с людьми знакомиться, даже политикой заинтересовался, правда, на уровне газет. Интересно ему стало. Вот, если помните, как-то о русско-турецкой войне свое мнение высказал (а после его смерти, автором надуманной, почти полвека просвистело!), потом о литераторе Бернарде Шоу (а это просвистело еще больше!), потом еще Бог знает о ком. В общем, полный морфоз вышел с Акакием Акакиевичем. Значит, придумано в нем было такое, пусть и малое. А Гоголь-то его каким вывел? Нет, низко, правда, а главное - неправда.

Ну ладно, ведь мы сейчас о Таньке-Поньке - последний день все-таки.

Берет она Акакия Акакиевича под локоть, потом и вовсе под руку и говорит спокойно:

- Пойдемте, Акакий Акакиевич, погуляем по набережной напоследок.

- Это что, променад? - тушует он.

- Как? - переспрашивает Танька, но, уже давно запомнив, что показывать необразованность нельзя, тут же говорит: - А этот... ну, сюртук ваш. И не жарко вам в нем?

- Да привык, сударыня, издавна. Не оголяться ведь, как тут у вас принято?

Танька смеется и тянет собеседника на набережную. И пока они еще не отошли далеко, П слышит, как Танька просит:

- Прогуляемся, а вы мне расскажете свою историю, хорошо? Как с вас шинель сняли когда-то в Петербурге. Мне П говорил, что это даже описано... ну, в классике.

- Ох, да не хочу я вспоминать об этом, сударыня! - почти вскрикивает Акакий Акакиевич и даже пытается высвободить руку, хотя до того было видно, как ему приятно чувствовать на локте Танькину ладошку.

- А я - хочу, - проговаривает Танька ласково-жестко. - Не читала. Мне только П рассказывал. А сейчас сама хочу знать. Мне это знать нужно, классику.

Они уже отдаляются, и П теперь их не слышит, только видит. Зрелище интересное. Идут себе, прогуливаясь, старик и молодая женщина, она держит его под руку и все время кивает его речам. А он, возбудившись, все говорит, говорит, вскидывает руки, и Танькина ладошка смешно подскакивает вслед за летающим локтем Акакия Акакиевича. А потом, уж напоследок, такая сцена: Акакий Акакиевич останавливается, поворачивает Таньку к себе лицом и, опять размахивая руками, кричит что-то, отсюда неслышно. Танька резко качает головой из стороны в сторону, а затем вдруг притискивается к Акакию Акакиевичу и обнимает его. Тот свешивает руки плетьюми, и вот так они и стоят с полминуты. Немая сцена. Все, пора бы и занавес, улыбается П и уходит с балкона...

А уж совсем поздним вечером они, все вместе, сидят за своим столиком на террасе и любуются затухающим морем. Ихита еще в свитерке, старик, как всегда, в своей застиранной хламиде, Акакий Акакиевич - в сюртуке, хотя и расстегнутом на три верхние пуговицы, а Танька-Понька в нескольких лоскутках материи на известных местах. Сидят - кто курит, кто потягивает сок, - и тут Танька говорит, вроде бы ни к кому конкретно не обращаясь:

- А вот так я решила. На следующее лето куплю рейс на яхте. Не два часа по морю, а чтоб надолго, хоть на несколько месяцев. Девочка наша никогда ведь на яхте не ходила, да и ты, П, тоже, ну и Акакий Акакиевич опять же.

- Ты не слишком горячишься? - спрашивает П, подумав.

- Да уж, сударыня, это слишком! - горячо подхватывает Акакий Акакиевич. - Сумасшедшие деньги, вы что? Это ж рублей, ну, того, никак под тысячу!

Тут все они хохочут, даже девочка разливается мелким колокольчиком.

- И потом, - продолжает возбужденный Акакий Акакиевич, - где мы остановимся?

Возникает пауза, и ее прерывает старик:

- Акакий, ты, как всегда, прав, но и неправ. Где остановимся? Да хоть где. Порыбачим. Заработаем на хлеб и на вино. В океане всегда есть чем заработать, если хотеть и уметь. Дойдем до Кариб. А там меня мальчик мой ждет. И тебя, ихита...

Уже ночью, когда месяц повис ятаганом над Турцией (но отсюда это было видно), Танька-Понька вошла в мужскую комнатку и спокойно позвала П, никого не стесняясь: "Пойдем погуляем". А и верно - кого стесняться, все тут свои. Он набросил на себя маечку и двинулся за ней, как всегда, почти голой, - на пляж, конечно, к морю.

Сели у самой воды, бросают плоские голыши в темное море. Тихо, спокойно. Волна мелкая шумнет раз в минуту, побренчав камушками, и всё. Ятаган над тем краем моря все бледнеет и бледнеет - никак, и братья наши, которые с супротивной стороны, успокоились, на ночь глядя. Два баклана, еле белея, тихо покачиваются на дальней воде - не иначе, спят уже, он и она. А они, Танька-Понька и П, о чем они говорят? Да ни о чем, в общем-то. Так, мелкая словесная безделица, и хорошо. Например, такая.

- Слушай, странно: небо, море, а Акакий - ну, не идет он у меня из головы.

- Почему же тебе это странно? Хорошо.

- Да?

- Кстати, тебе известно, что означает его имя - Акакий? Беззлобный. А в нашем варианте - Акакий Акакиевич - беззлобный вдвойне, так выходит.

Удивленный смешок, а то, может быть, это волна лизнула камушки у самых ног.

И опять вопрос:

- А откуда тебе это известно, что именно так - беззлобный?

Теперь другой смешок:

- Да из Святцев.

- Э, Святцы. Слово-то такое. Мамка что-то говорила, давно, дак... Ладно, ясно... Слушай, но ведь это совсем не... не вариант, понимаешь? Беззлобный, а еще вдвойне! Какой-то уж совсем ненормально добрый, дак? Нежилец он, понимаешь! Выживать-то как в этой стае волков?

- Да вот только благодаря такой, как ты. Бывают исключения. Тогда, глядишь, и морфоз случится.

- Морфоз? Э... это что?

- Ладно, Танька, помолчи с минутку, хорошо мне...

Помолчали, но минутки, кажется, не прошло.

- Слушай, а все-таки: как ты относишься ко мне?

- Тебе это важно?

- Не столько важно, сколько интересно.

- Хороший ответ, женщина!

Выстреливает очередной голыш в воду, и очередной вопрос:

- Ладно, и все-таки: как?

Есть время подумать, потому П вскоре говорит:

- Был такой писатель Киплинг, знаешь?

- Э...

- Ну, "Маугли", например.

- Ой да, мультик! Чудный, классный!

- Конечно, хотя помимо этого мультика, Киплинг еще кое-что написал, стихи в том числе. Но бог с ними, со стихами. Вот такое было у него высказывание, слушай.

- Слушаю.

- Мужчина помнит трех женщин: первую, последнюю и единственную.

Возникает пауза, и даже очередной голыш не летит в темную воду. И потом:

- Ты это что - предложение мне делаешь?

- Помолчи, Буратино! В мои-то годы?

- Ладно, папа Карло! - смеется она в ответ. - Ладно, проживем-увидим....

А вот про поющие трубы в облаках, это, кажется, она мне не сказала, это мне приснилось после.

- Я только тут, с вами, и почувствовала, как это - жить. Ну, будто трубы в облаках поют, понимаешь? Во! Облака над морем, и в них трубы поют, дак!..

9

На 12 декабря, по традиции, П до сих пор звонит Акакию Акакиевичу. Хотя, отметим, день этот с недавней поры перестал быть дурным, как мы определили его в самом начале, если еще помните. Ну, совпадение: именины Акакия Акакиевича и - вот те раз! - День конституции. Чертовщина, правда, да такая, что и г-ну Гоголю никогда бы она не привиделась.

Но вот совсем недавно... То ли кто-то подсказал нашим значительным лицам, то ли с них самих затмение сошло, но так или иначе подсказали они самому-самому значительному лицу (этими выделениями мы опять поминаем славного сочинителя), что день 12 декабря только и славен, что именинами Акакия Акакиевича. В результате этих тихих речений и затем продвигаемой вверх по главной канцелярии бумаги День конституции был отменен, напрочь. Фантастика, ей-Богу! И главное, всё взаправду.

Поэтому Акакий Акакиевич как бы освободился от коросты, и наш П, звоня ему, чтобы поздравить, теперь вполне с ним не ироничен. Не дурной день, а совсем чистый, то есть, того, нормальный, как в последний раз сказал Акакий Акакиевич. И далее обнаружил такую мысль, чем опять вполне поразил П.

Знаете ли, сударь мой, сказал г-н Башмачкин, что конституцию в России придумывали не единожды, но всякий раз это выходило, ну как гвоздь в одно место. Например, еще двести пятьдесят лет назад наш славный Денис Иванович Фонвизин вместе с графом Папиным сочинили трактат вполне ценный, да бабушка Екатерина только горько посмеялась и, спасибо, не сослала в Сибирь этих драгоценных писаек; потом император Александр I, ее внучек, вознамерился даровать конституцию подданной ему Польше, но вовремя одумался; потом Павел Иванович Пестель пятнадцать лет сочинял свою "Русскую правду" - Российскую Конституцию, да за то его и повесили на кронверке Петропавловской крепости уже при следующем императоре, при Николае. Ой, ну и дальше, дальше: какие-то манифесты, гарантии неких свобод... А чем всё кончилось? Кончилось воистину гениальным: конституцию таки принять, но никак ее не выполнять, да так, чтобы никто об том не догадывался. Чистый Гоголь, ей-ей, того! Вот так прошла у вас (у нас, тут же поправляется бессмертный Акакий Акакиевич) сталинская конституция, затем брежневская, затем еще черт знает какая. И верно, зачем она тут - какая-никакая? Словеса, фантастика, чистый отец мой названный - Гоголь. Недаром его назвал какой-то последующий

балбес основателем натуральной школы. Да нет, натуральной фантастики, именно!

Ладно, заканчиваю, говорит Акакий Акакиевич и покашливает мелко. В общем, отменило сегодняшнее значительное лицо День конституции. И хорошо, если теперь уж навсегда. То есть конституция как бы есть, но как бы и праздновать день ее принятия не следует. Зачем? Что праздновать-то? То есть вы разумеете, того...

Вот такую речь произнес г-н Башмачкин. И П с ним вполне согласился. Поэтому запомните, глубокочтимые судари и сударыни: 12 декабря - это день именин Акакия Акакиевича, сына Акакия и отца его истинного - Акакия же, и это навечно, ибо не отменяется никак!

А что до старика и наших женщин - Таньки-Поньки и ихиты, девочки-дочки, - то они живы-здоровы и по-прежнему с нами, будьте в том уверены.

книга четвертая

НА ГОРЕ

Глава 1

- Скажи, а почему Большой Ульген на Кодорском хребте, а Малый вот здесь, на Бзыбском? - сквозь одышку спрашивает Кристина.

Мы делаем еще несколько шагов по снежнику. Наконец я отвечаю:

- Спроси у тутошнего главного картографа.

Теперь она, кажется, смеется:

- Вершинам давали имена не картографы, а местные, тутошние, как ты сказал. И не вчера, а тысячелетия назад.

- Спасибо за справку. И вообще – хватит, много говоришь. Ты же знаешь: на горе – нельзя.

Тут мы улыбаемся оба. Это мне видно – то, что Кристина улыбается. А чуть раньше она смеялась одними глазами, чего, понятно, не разглядишь за темными стеклами ее очков – потому я и сказал «кажется». А улыбаемся мы оба оттого, что это уже вошло в смешную привычку – говорить, чего на горе (то есть при подъеме) нельзя; например, нельзя разговаривать без крайней необходимости (так устаешь быстрее), нельзя кричать (а то, не дай бог, лавину сотворишь), нельзя курить, нельзя подниматься без темных очков (схватишь снежную слепоту), нельзя есть снег (жажда будет еще сильнее), нельзя останавливаться в глубоком следе (так ступни замерзнут), а надо вытоптать небольшой кружок и стать в нем, чтобы перевести дух. Чего-то еще нельзя, но об этом в другой раз.

Тут, где мы в сей момент, уже за тысячу метров высоты, снежник и приличное превышение. Всё по времени года и по погоде. Еще немного, и время года не будет иметь значения, поскольку наступит безвременье. Жить в безвременье престранно-интересно, то есть и чудно, и чудно. Это нам предстоит.

Пихты теперь чуть ниже нас. Огромные, черные восклицательные знаки на белом фоне, и такие же тени от них – узкие, длинные, как свалившиеся с небесной крыши почерневшие апрельские сосульки, свалившиеся на снег и потому не разбившиеся. Лежат себе на боку.

Зона лесов уже ниже, теперь глубокий снежник и еле приметная тропа на нем. Тропа... интересно, кто тут поднимался в последний раз? Наверное, с неделю назад. Тем не менее, тропа различима, значит, нет шансов заблудиться. Еще несколько часов подъема, и за новой грядой будет видна наша цель. К концу светового дня или в раннем сумерке, надеюсь, успеем. Вот тогда, в сумерке, вдруг остро запахнет сырой снежной хвоей. Странно, лес много ниже, а запахнет хвоей, остро и сыро. Не забудешь этот запах.

Козья деревня была вчера. И Кордон был вчера. Последнее общение с редкими людьми. В Козьей деревне – с абхазами, на Кордоне – с нашими.

Только гора, глубокое ущелье с рекой осталось далеко внизу и слева. Тишина-то какая – мертвая. Никого-ничего. Огненный пятак солнца, но этот космический костер как-то не греет. Греют только собственные движения. Значит, лучше не останавливаться, разве лишь чтобы перевести дух.

- Ты как? – спрашиваю я Кристину.
- Со мной Анцва, а с тобой?
- Выдумщица!
- Ну а все-таки? – произносит она лукаво.
- Все-таки?.. Нет, я язычник...

Постояли пару минут, переминаясь с ноги на ногу, и двинулись дальше, дальше и выше. Хотя превышение пока еще не слишком большое. Вот за этим гребнем, на новой гряде, будет склон – да, всем склонам склон! – вот тогда и начнется превышение. Зато будет видна цель – конец подъема. А когда видна цель, то и жизнь имеет смысл.

И все-таки всегда и во всем отыщется положительное. Например, даже в этом дурачком «на горе нельзя». Идешь рядом с женщиной, и она молчит. Пусть даже это любимая женщина, а хорошо, что она молчит. Второй день молчит, пока мы на горе. Хотя ночью... Ну, ночью мы не поднимались, а лежали в спальнике на Кордоне, когда заночевали там. Можно было и в Козьей деревне, но она, хоть и существенно выше, однако чужая, в ней одни абхазы-горцы, а они не слишком приветливы. Лучше ночевать у своих, тем более у них дом хороший, из крепкого сруба, сухо, деревом пахнет, а не скотиной, как в деревне. Вот там и заночевали. А перед тем поужинали с охранниками. Нормальные мужики, оголодавшие до общения. Что охраняют – ясно (заповедник и водоканал, то есть ущелье с рекой), а вот от кого? Разбойники ушли в другие края, золотое руно давно похищено, всякие там красавицы Медеи, хвала богам, перевелись, равно как перевелись и почти все чужие, пришлые. А местные, они народ спокойный, послушный – сказали им, тут заповедно-охранная территория, и никакой лишней сюда не сунется, только те, которые из Козьей, но они-то старые знакомые. А вот что до Армянской деревни, которая еще чуть повыше, то там уже никого: стоит деревня пустой, все дома пусты, ушли армяне из своих каменных домишек, всё бросили и ушли, только овец и баранов продали, то есть тех, которые у них еще остались, то есть которых не забрали, не отобрали.

Вот на Кордоне и заночевали, перед тем отужинав во дворе у очага с двумя мужиками-охранниками. Огромные собаки крутились у ног. Огромные, мохнатые, но спокойные, молчаливые. Привыкли: кругом никого, только хозяева, а если кто и поднимается вдруг, так его по узкому ущелью издалека-снизу хорошо видно, никуда он не денется из этого узкого горлышка, в конце которого и стоит сей крепкий дом – Кордон. И ежели кто и вовсе незнакомый придет снизу, то команда известна: «Предъявите пропуск!» Вот я и предъявил, на Кристину и себя, пропуск от Управления водоканала: дескать, двум лицам, ученому-этнологу, гражданке такой-то, и ее сопровождающему с целью охраны, гражданину такому-то, разрешается проследовать по территории заповедной зоны до метеостанции, пребывание в коей разрешено сроком на десять дней. А да, еще там написано, что не положено отклоняться от ущелья и высокой тропы.

Про десять дней, это смешно, конечно: время там прекратит существование, что мне известно. Но в пропуске положено указать срок. Ладно, десять так десять. Смешно...

Значит, вчера ночью на Кордоне, когда мы наконец улеглись в спальнике, Кристина уже вовсе не молчала, а всякое наговорила мне, прижавшись всем телом,

чтобы не уходило тепло. Это ее хлебом не корми, это она обожает: просвещать меня после сладких минут любви. Просвещать сопровождающего ее лица с целью охраны.

- Помнишь знаменитую телеграмму в Афины?

- Какую телеграмму?

- Цитирую. «Подплывая к Колхиде, вижу благодатную землю. На обратном пути завоюю. Ясон».

- А, ну да, только это была не телеграмма, а факс. Конечно! У них же на «Арго» был факс!

- Хорошо, пусть факс. Может, я и спутала.

- Спутала, госпожа ученая! Ладно, и что дальше?

- Вот с этого всё и началось. Герадот Герадотом, а после похищения золотого руна Ясон с подельниками-аргонавтами колонизовал Абхазию, которая была одной из провинций Колхиды. И начался античный период в истории Абхазии - греческий. А потом, понятно, был период римский. А потом византийский. А потом, уже в средние века, османский. А потом, конечно, российский.

- Погоди, не тараторь, выдумщица, поконкретней.

- Да запросто! В составе Османской империи Абхазское царство или княжество было до 1810 года, а затем, после изгнания турок, свято место заняла Российская империя, хотя кавказское побережье она завоевывала еще долго. Много людей полегло – и среди русских, которые, значит, колонизаторы, и среди горцев, в их числе и абхазов.

- Про некоторых русских помню. Например, про погибших там декабристов. Бестужев, Одоевский...

- Молодец! Именно так. Сообщаю. Точнее, даю справку.

Александр Бестужев, который Марлинский, годы жизни: 1797 – 1837.

Литературный критик, публицист и прозаик, сторонник романтизма. Был широко известен, а в 30-х годах XIX века его даже называли «Пушкиным прозы». До декабрьских событий вместе с Рылеевым издавал знаменитую «Полярную звезду», его отмечал и ценил Пушкин, затем Белинский, а в 80-е годы повести Марлинского переиздал Суворин, а это знаковый момент, потому что, когда автора переиздают через полвека после смерти, то сам понимаешь!

Понятно, был в армии, точнее в гвардии. Уже в чине штабс-капитана Лейб-гвардии драгунского полка за участие в заговоре декабристов был осужден, лишен всего, что полагалось, и сослан в Якутск, оттуда в 1829 году переведен в действующую армию на Кавказ – рядовым с правом выслуги. Это особая милость – под пули, но «с правом выслуги». Участвовал во многих сражениях, получил чин унтер-офицера и Георгиевский крест, был произведен в прапорщики. И успевал много писать, много и хорошо. С 30-го года его повести – сначала безымянные, затем под псевдонимом Марлинский – стали издаваться в Петербурге.

А воспользоваться тем самым правом выслуги он не успел: погиб в 1837 году во время стычки с горцами в лесу у мыса Адлер. Тело его так и не нашли, что нетипично и странно, ибо русские всегда подбирали своих после боя...

Дальше. Теперь второй, тобой упомянутый.

Александр Одоевский, 1802 – 1839. Из известного дворянского рода. Корнет Лейб-гвардии конного полка. Был близок с Рылеевым и Бестужевым-Марлинским. Романтический юноша! Вот и увлекся романтикой заговора, и одним из первых был принят в Северное общество. Однако уже во время следствия быстро отошел от идей декабризма. Его осудили по 4-му разряду на 12 лет каторги. Отбывал наказание в Чите и Петровском заводе. Потом, с 1832 года, в ссылке на поселении, и там он уж совсем простился с прошлыми декабристскими идеями. Вскоре

высочайшим указом был переведен «в порядке милости» рядовым на Кавказ в Нижегородский драгунский полк.

А на Кавказе, воюя, сблизился с Лермонтовым, творчество и литературный стиль которого стали ему очень близки. Сам же Одоевский из некогда просто романтика превратился в религиозно-философского романтика, хотя в его лирике поэтическое мастерство несомненно. А вот что касается знаменитого «Ответа декабристов Пушкину» на «Послание в Сибирь», то этот «Ответ» приписывается Одоевскому без точных оснований. Короче говоря, авторство нельзя считать доказанным. Если он и автор «Ответа», то это довольно странно, потому что тогда для него куда более характерно мягкое воспевание самодержавия, панславизм и оправдание колониальной политики. Вот такая эволюция.

Его не стало в 37 лет, как и Пушкина. Но не от пули, а из-за малярии. Это случилось в 1839 году в форте Лазаревское недалеко от Сочи. Лермонтов посвятил ему «Памяти А.И.О.» Впоследствии, уже при Советской власти, предположительно на месте могилы в курортном парке у моря установили мраморную плиту с его именем. Вот и всё, если вкратце и сугубо формально.

- Да, ну и память у тебя! – в очередной раз восхищаюсь я. – Небось в институте зубрилой слыла?

- Это не только институтские знания, это следствие духовной привязанности. Сама себя, как пса бродячего, посадила на цепь, - в очередной раз объясняет мне Кристина.

- Цитируешь?

- Всё-то ты знаешь!

- Эх, если бы!.. Погоди, мы ушли от темы. Так, выходит, знаменитое «Из искры возгорится пламя» написал вовсе не Одоевский? А большевики его почитали именно за это! Ведь ленинская «Искра»... Потом даже плиту установили в парке.

- Ха-ха! – смеется она. – Это в точности неизвестно, Одоевский написал или нет.

- А что твоей науке известно в точности? – иронизирую я.

- Ну, скажем, то, что последующий народ всегда правее предыдущего.

- Это почему?

- Запомни: историю пишет последующий народ, и потому он всегда прав. То есть тот, который угнездился в данном месте, вытеснив или переварив аборигенный этнос. Он и прав, получается. Это закономерность, а на закономерности нет смысла обижаться. Вот твои истории...

- Я не пишу историй.

- Но ты их переделываешь по-своему. Ты сводник. Сводишь персонажей из разных эпох да еще утраиваешь им очные ставки. Ты исторический сюрреалист.

- Да? Интересный термин, надо его обдумать... Ладно, пусть я такой, однако поклонник забавного. Знаешь, что ответил государь Александр Второй, когда его мягко укорили за то, что, продолжая завоевание Кавказа, Россия колонизирует местные народы? Он гордо ответил: «Мы их не колонизуем, а цивилизуем!» Значит, ты верно сказала: русский народ всегда прав, поскольку он тут последующий. И не только тут.

- Я так сказала? Никогда! У каждого своя правда, а общей правды нет. Это верно и для конкретных людей, и для народов. А исторический диагноз – кто эволюционный победитель.

- С ума сойти, и с такой женщиной я состою в интимной связи!

- Кажется, еще полчаса назад ты об этом не жалел.

- Именно так.

- Тогда победитель – я, - луково смеется Кристина. – И с тобой, и вообще. Ты при мне, это раз, а два... когда-то была Колхида, теперь есть Абхазия, потому что есть

ее народ... Ладно, давай спать.

- И верно, пора. - Я сладко зеваю.

- Э, погоди!... Слушай, ну ясно, что на горе нельзя, а перед тем, как выходить на гору, можно?

- Если очень захотеть.

- Тогда вперед, я очень захотела...

Вот так было той ночью на Кордоне. А сейчас мы на горе, и высота уже полторы тысячи, похоже. Потому что последний на нашем пути гребень позади, а впереди, на вершине крутого снежного склона наконец видна наша цель. Она еще далеко, но она видна. А если видна цель, то есть смысл, так?

- Смотри, - сдерживая частое дыхание, произношу я и вытягиваю руку. – Видишь? Вот она, метеостанция.

Кристина смотрит, затем снимает очки и, щурясь, вглядывается, куда я указываю. И кивает удовлетворенно:

- Вижу, да. Ну и чудесно. - И тут вспоминает про одного персонажа из истории, которую я ей рассказывал. - Цезарь там есть, еще жив?

- Что значит «еще жив»? Цезарь бессмертен...

Мы начинаем крутой подъем. Очень крутой. Одно хорошо: снег тут уже неглубокий – значит, не проваливаешься, если вдруг промахнешься мимо старого следа (похоже все-таки, что кто-то поднимался тут с неделю назад!). Дышать тяжело. Спасибо, снег не так слепит, ибо дело к сумерку. Небо наливаются затухающей синью. Половинка лунного диска всё ярче и ярче, колет мне в левый глаз. Так колет, что там даже кратеры и моря видны. Лучше не смотреть на этот закинутый в небеса алмаз. Лучше смотреть вперед на домик метеостанции, до которого еще около часа подъема.

Цезарь, да. В прошлый раз, много лет назад, он высмотрел нас сразу, лишь мы появились на последнем гребне. И залился грозным лаем на всю мертвую округу. И затем бросился вниз, нам навстречу. Пришельцы, черт возьми! Черная лохматая зверюга несется на тебя – жуть! Но тут же возникла фигура Володи на вершине. Выскочил из дома, что-то по-своему крикнул псу, и тот перешел с осторожного (чтоб устоять на лапах) галопа на шаг. Мы, конечно, остановились: что будет? Цезарь подошел, весь подобрался, вытянув шею, обнюхал, сел. И вдруг завилял хвостом, шурша им по снегу. Узнал, меня узнал – точнее, признал... Тогда, много лет назад, это была другая история, с другой женщиной и другим мной. Меня и звали по-другому. И всё было иначе, страшно поначалу, странно потом, с печальным, но все-таки светлым концом. Всё было по-другому, только Цезарь был тем же Цезарем, и метеоролог Володя-абхаз был тем же Володей и тем же абхазом, только борода его была рыжевато-черной, а не седой, как нынче.

Это я различаю, когда Володя-абхаз уже приблизился к нам, чтобы помочь. Так всегда, так положено. Гости, к тому же здорово уставшие на подъеме. К тому же тут женщина. Вон, еле дышит, бледная, как смерть. Надо взять у нее рюкзак. И на Цезаря ласково шикнуть: молодец, службу знаешь, но пошел-ка в дом, бандит, поднимайся!

- Эй, Аркадий, никак ты? – восклицает этот постаревший абхаз, узнавая меня. – Ну да, ты. Ай, здорово! И не изменился почти! Ай, молодец!

Мы обнимаемся. Потом он помогает Кристине стащить рюкзак, потом вынимает из кармана ватника плоскую бутылку с горячей еще водой и протягивает нам. Это вовремя, это согревает, когда озяб и чертовски устал.

- Попейте, попейте, - говорит Володя-абхаз, - попейте и пошли, уже скоро, еще немного.

Мы начинаем это последнее «еще немного».

- Скажи, какие-то гости поднялись к тебе недавно? – спрашиваю я его.

Он кивает:

- Ага, поднялся тут один, с неделю назад, да. Станный такой, по-русски хорошо говорит, а не русский. Словак, сказал. А кто это такой, словак, а, Аркадий? Вроде русский и не русский. Откуда он тут взялся? У нас внизу таких никогда не было, даже в Сухуми никогда не было. Русские, да, грузины и армяне, да, даже семья греков, да, хотя все эти ненаши теперь уже ушли, а вот таких, как он... словак, да?.. таких не было. И старый почти – седой, с бородкой. Но улыбается, да. Живет у меня, а что живет? Не знаю. Просто живет, да. А и пусть живет, мне не жалко, готовить научился на печке, даже лепешки испек, а днями сидит на лавке у склона и на солнышке греет кости. Я спрашиваю: вы кто, в кого верите, кем работали? А он: я лесник, и даже не просто лесник, а самый главный лесник... Во чудак, да? Какой-токой лесник, у нас тут таких не было... Ладно, как вы говорите, бог с ним, а мы пошли, пошли, а то мне скоро данные снимать на площадке и за рацию садиться. Пошли, пошли, еще немного... Вас как называть, женщина? - обращается к Кристине минут через пять. – А, вот как, интересно! Звать вас интересно, говорю, да. И кто вы, в кого верите? Ах, как интересно, да! Почитаете нашего Анцву! Но ведь вы не наша, да, это как? А, ну ладно, потом, потом, обязательно потом. Но интересно, да. А вот ты, Аркадий, всё еще язычник, да? Да-да, я помню, помню...

Глава 2

Когда они познакомились и стали общаться, Аркадию показалось несколько странным, что женщина с таким именем (Кристина, а в славянском варианте – Христина) вовсе не христианка, хотя вроде и верующая. Вот именно «вроде», потому что понять, во что она верит и в кого, было невозможно. Сплошная путаница. А к тому эта самая Кристина оказалась невероятной выдумщицей, и исторические события в ее голове путались, склеивались, иногда просто перевирались и насыщались тем, что в психологии-психиатрии называют конфабуляциями, то есть измышлениями с переносом событий из одного времени в другое. Вот уж кто исторический сюрреалист! Хотя знала она многое, отличалась профессиональной памятью, точностью датировок и знакомством с общепринятыми в науке оценками. Как всё это совместить? Странно, не правда ли?

Но назвать Кристину вруней тоже нельзя. Некая простоватая искренность отличает ее. Казалось, что, устав путаться в собственном восприятии истории, она когда-то плюнула на себя и стала верить именно тому, что ей казалось в данный момент. А плюс ко всему – дефицит юмора. Например, если она упоминала о телеграмме, посланной Ясоном с «Арго» в античные Афины, то эта была ее, Кристины, правда, и к этому относиться с юмором мог кто угодно, только не она. Или сказанное вскользь, что она верит в древнего колхидского бога Анцву (единого бога, а не одного из компании других богов), это тоже было Кристининой правдой, но правдой на сегодняшний день, поскольку завтра или через год покорить душу этой женщины мог другой бог (например, даже кровожадный бог ацтеков Вицли-Пуцли) или какой-нибудь идол какого-нибудь народа-племени.

Подвиг Аркадия состоял в том, что такую Кристину он принял, вскоре поняв, что шизофренией тут не пахнет. Тут пахнет историей, историей народов, пусть порой и вставшей с ног на голову. Тут неожиданные интерпретации и заключения. Тут доисторическая поэзия, которая не есть стихотворчество, стихосложение, а есть чистое сочинительство историй Земли, где не разберешь, что тут реальность, что миф, а что предутренный сон, явившийся из темного света души.

С Кристиной интересно. Это главное. Однако не менее главное и то, что с ней чудесно как с женщиной, то есть тоже интересно. И еще: она союзник. В том смысле, что подыгрывает Аркадию, когда он сам творит свои истории, или, как говорит Кристина, занимается сводничеством.

Чего она только не выдумывала! Например.

- Да ты что, кельты-бритты были милейшими людьми! Спокойные, мирные, неагрессивные.

- Ну да, только воины зверские.

- Ой, что говоришь! Да когда англы и саксы пока еще только занимались разведкой, что там и кто, то есть еще до завоевания Британии, они говорили, что там живут спокойные чудики, поэтому завоевать эти новые земли – делать нечего. Вот и приплыли войском из своей германской Ютландии, и завоевали, и от римского влияния там, в Британии, не осталось и следа. Вот уж кто завоеватели! Как и покорившие затем этих англосаксов викинги-норманны. Вот они-то и прибрали к рукам английское королевство уже окончательно. Помнишь, Вильгельм-завоеватель раздолбал англосаксов при Гастингсе, если точно, в 1066 году, и от них-то, норманнов, и пошли королевские дворы по всей Европе, так что сегодняшняя благочестивая королева Англии – какой-нибудь потомок того самого викинга Вильгельма, большого бандита, между прочим.

- Это даже мне известно, - кивает Аркадий.

- А почему же тебе неизвестно, сэр, что кельты были милейшими людьми? Как и абхазы. Да, вот эти абхазы. Они никогда никого не завоевывали, жили себе мирно-спокойно, кушали плоды и купались в своем Понте Эвксинском. Кстати, с древнегреческого это значит «Гостеприимное море», да будет тебе известно, а теперь оно Черное, фи!.. А вот по их благословенной земле кто только ни шастал! И хетты, и персы, и греки, и римляне, и турки, и грузины, и русские. И что? Абхазы – что ж делать! – всем покорялись, однако особо не озлобились. А почему? Собой остались, в своей исходной вере – кто в язычестве, кто в единобожии, поклоняясь богу Анцве, единому и вездусущему. А здешнее мусульманство и христианство... По нашим данным, большинство местного населения – все-таки язычники, даже если они называют себя христианами или мусульманами. Первые, то есть так называемые христиане, не посещают церкви и не соблюдают постов, а мусульмане едят свинину, пьют вино и не делают обрезания. Здорово, да? И все религиозные праздники, хоть православные, хоть исламские, сводятся к застолью. Пей, кушай на здоровье, пой песни, веселись!

- Вот это правильно. Пожалуй, я за такую религию – религию застолья.

- Но тут нюанс, - продолжает Кристина, и глаза у нее блестят. - Многие абхазы уверяют, что они вовсе не язычники, вот! А кто же они? Они утверждают, что верят в Единого Бога Анцву. Да-да, в него. Есть даже гипотеза, что абхазская религия – это реликт, пример изначального монотеизма, то есть еще добиблейского! И именно их религия – одна из древнейших религий единобожия на Земле. Похоже, так. И знаешь, большинство здешних людей признают, что имеют традиционные святилища, хотя вообще-то я не исключаю, что часть таких святилищ – языческие. Поди разбери! Абхаз, он особь скрытная, не всякому чужаку открывается.

- И тебе тоже?

- Мне... - тянет Кристина, - ну, мне другое дело. Я ведь тоже поклоняюсь Анцве. То есть пока...

Вот такая Кристина, ученая выдумщица, этнолог, кандидат этих мудреных врушкиных наук. И почему она любит Аркадия, а он ее?

- И еще, - вспоминает она в другой раз, - знаешь, как абхазы называют свою страну? «Страна апсов». Апсы – это древнее именование их народа, самоназвание.

И еще: свою страну они называют «Страна Души». Как тебе это нравится – красиво, да?

Аркадий усмехается (с Кристиной бесполезно спорить – полезно только усмехаться):

- Такой «души», что, когда они устроили межнациональный мордобой, то в конце концов выдавили отсюда почти всех несвоих – попросту говоря, выгнали, заставили бежать или покинуть свои дома. Грузин, армян. Ну, только русских особо не трогали. А в Сухуми, например, кто теперь хозяева в богатых армянских домах? Ага! Ты же сама видела и всё это знаешь.

- Не уверена, что такие случаи типичны, - неуверенно замечает Кристина. Но поскольку она простовато-честная, как уже знает Аркадий, то дальше слышит вот что: - Да-да, по прошлой переписи, в Абхазии было чуть более полумиллиона жителей, из которых собственно абхазов – только около 18 процентов. А теперь, после военного конфликта с грузинами, общая численность населения сократилась почти три раза, и, да, в основном за счет нетитульных наций – грузин, армян, русских и других. Поэтому, вероятно, теперь доля абхазов среди населения Абхазии стала существенно выше прежней, довоенной. Хотя точных данных на сегодня нет.

- А злые языки утверждают, - добавляет Аркадий. - что теперь доля абхазов в Абхазии не только много выше прежней, но они и живут лучше, потому что заняли жилища беженцев и вообще поживились за счет последних.

Кристина пожимает плечами, потом вздыхает, потом просит дать ей закурить.

- Сейчас можно, сейчас мы не на горе, где ничего толкового нельзя, вот и дай мне сигаретку, господин сводник, сэр, ненавистник кельтов и прочих древних народов.

Дать сигарету любимой женщине, это Аркадий может.

Всему есть свое пространство и время, а вот для метеостанции на Малом Ульгене сложилось по-своему. Пространство тут имеет место быть (см. соответствующие координаты), но вот время...

То, что мы называем временами года, здесь расплывчато и смазано. А как иначе, если вокруг – уже зона всегдашних снегов и даже в июле под ногами снежник, пусть и набухший, комковатый. Далее – облачность: в любой момент она может затянуть вершину горы с ближними склонами, и это протяжное серо-белое одеяло укутает так, что и в паре метров от себя ничего не видать – слепота, и коли ты минуту назад вышел из избы и, скажем, поднимаешься на метеоплощадку, то лучше сразу же остановиться и переждать, пока сойдет облако, а то свалишься куда-то, сделав неверный шаг. Да и температура тут плюс-минус одна и та же – считай, некий термостат. И пихты, которые виднеются далеко ниже, они всегда при своей пушистой хвое, а лиственные деревья там, ниже, не произрастают – значит, не увидишь, как опадает листва, а затем и голых ветвей. Где осень, где весна? Получается, здесь их нет, только по календарю.

И для нас тут тоже некое безвременье, для всех, кроме Володи-абхаза (кстати, это двойное имя закрепилось за ним издавна и стало единым, собственно именем, а никак не указателем его национальности). Вот для Володи-абхаза время существует предельно точно и строго-настрого, но это не то время, которое как бы вообще, а время вполне локальное, конкретное. Через каждые три часа он обязан подняться на метеоплощадку и снять показания приборов, всяких там анемометров, гигрометров и прочих штук, самая нехитрая из которых – это всем знакомый и хорошо узнаваемый флюгер. Сняв и записав эти самые показания – и днем, и черными ночами с помощью фонарика, – он возвращается в дом, садится в своей

комнатке за рацию и передает данные в метеоцентр Сухуми, причем передает специальным метеокодом в виде цифровой сводки. Да-да, именно по рации, как было двадцать, тридцать и пятьдесят лет назад. Технические перемены почему-то не коснулись этих мест. «Время вообще» тут то ли остановилось, то ли его действительно вовсе нет.

Значит, для Володи-абхаза жизнь – это и есть через каждые три часа, в любую погоду. А когда же он спит? А, в общем-то, никогда. Он постоянно в ауре вечной дремоты, некоего плавуна, как он сам определяет. Ходит по метеостанции в своем плавуне, иногда реагирует на тебя, иногда нет. Но раз в три часа вскакивает по будильнику, как солдат по тревоге. И ничего, жив-здоров, и нормально себя чувствует. Работает, поджидая, когда поднимется сменщик, то ли через месяц, то ли через полтора, это от глубины снежного покрова зависит, и если он слишком глубокий, то, случалось, и не осилишь подъем.

Так и было до недавно, но в последний год сменщик перестал подниматься, потому что исчез, уехал отсюда, ибо он грузин, а грузины почти все записались в беженцы. И – ничего не поделать – Володя-абхаз тоже записался – жить-работать на метеостанции уже постоянно. А как уйдешь – ведь кто-то должен снимать показания приборов и общаться по рации с Сухуми, да и Цезаря кормить надо, он большой любитель до этого дела.

Вот и вышло, что Володя-абхаз стал тут тоже особью безвременной, если не считать его «раз в три часа». И значит, хорошо, что мы поднялись к нему, а неделей раньше поднялся словак Александр, хорошо потому, что общение, это раз, и всю готовку гости взяли на себя, это два, поэтому наш метеоролог питается теперь не всухомятку и урывками, а полноценно и регулярно.

А что до остальных, которые теперь тут, и того или тех, кто еще может здесь оказаться, то и говорить нечего – безвременные.

- А есть ли у нас какие-нибудь пряности? – обращается Кристина к Володе-абхазу. Она возится у печки, готовя борщ. Печь большая, с широкой плитой и разными металлическими кругами поверху.

- Э, пряности? – переспрашивает полусонный хозяин. Наконец понимает вопрос: - Э, да, нет.

- Так да или нет?

- Ну, я же сказал – нет. Нету пряностей. Не забросили летом. Может, забыли, а может, этого в списке не было, вот и не заказали на базе.

- А жаль, - говорит Кристина, - для борща бы не помешало.

- Так вы, пани Кристина, возьмите лимон, лимон, - с лежака подает голос Александр, - лимон у пана имеется, я видел. Лимон для борща вполне особо прилично, так моя матушка делала.

- Лимон есть, да, - сообщает Володя-абхаз, - сейчас схожу в погреб, принесу. – И поднимается от печки, прихлопнув заслонку.

- А скажите, пан милейший, - останавливает его Александр, - как вам сюда продукты... э, как это вы сказали – забрасывают?

- Летом, на вертолете. Раз в год, да, летом. Зимой, знаете ли, погоды часто дурные, то есть облачность низкая тут у нас в горах. Высота же, да, почти под две тысячи, до Бога Анцвы недалеко. Так я говорю, Кристина? Так, да, правильно я говорю, я знаю. – И опять Александру: - Вот забросят по большому списку, всего полно, чтобы, считай, на год. А что? Ведь на одного человека. Тут человек один. На весь Ульген, и на много-много километров вокруг. Один человек и его приборы. А, вот еще Цезарь. Вот и всё. И хорошо. Внизу война шла, а у меня тут даже выстрелов

не слышно. Какая война, да? Тут сплошной мир. Только за приборами следы и сеансы не просыпай. Вот когда база в Сухуми мне не отвечала две недели, тут я не понял: что случилось внизу? Но потом ответила, и я успокоился. А потом мне сказали: была война с грузинами. Вот так, а зачем? Это я себя спросил: зачем война? Потом Анцву спросил. И он промолчал.

- Умный Бог, - тихонько, только себе, замечает Аркадий.

- Ладно, я в погреб за лимоном, - сообщает Володя и идет к двери.

- Будьте так добры, пан милейший, - улыбается Александр ему вслед, а затем улыбается Кристине: - Я вас научу, пани, как лимон для борща пользоваться.

- Спасибо, пан... э...

Дело в том, что Кристина никак не привыкнет называть семидесятилетнего Александра просто по имени, без отчества, как он просит. Старик ведь, неловко как-то! Даже у Аркадия поинтересовалась ночью, шепотом:

- Слушай, сэр, а как его по отчеству?

- А черт его знает! Не знаю. Знаю только, что он сын столяра и родился в какой-то тихой словацкой деревне. Он человек без отчества, зато первый секретарь компартии Чехословакии и один из отцов «Пражской весны». Но всё это было уже давно, а потом он погиб. Нет, не убили – попал в автокатастрофу. И еще многое, чего я знаю. И я тебе это говорил. Поэтому зови этого сына столяра Столяровичем или просто паном Александром, тут не ошибешься.

- А зачем ты позвал его сюда? Ведь он милейший старик, приятный во всех отношениях.

- У тебя все приятные во всех отношениях, - ласково усмехается Аркадий.

- Ну, так уж и все! Так зачем позвал, спрашиваю?

- Много знать – вредно. Спи! – И он целует ее в ухо.

- Сплю. А еще кого позовешь?

- Кого?.. Кое-кого.

В этот момент раздаётся приглушенный звон будильника из-за стенки.

- Ну вот, Володе-абхазу опять на службу! – вздыхает сердобольная Кристина. – Если б умела, хоть иногда сама снимала бы эти чертовы показания приборов, а он хоть одну ночь поспал бы толком.

- А ты научись – думаю, дело не хитрое. Только смотри – там по ночам голодные волки бродят.

- Да ты что, серьезно?

- Если серьезно, не волки, а медведи. А если уж очень серьезно, то там бродит только ветер, свет от звезд разгоняет. Там столько звезд, когда безоблачно!

- Еще не видела.

- Ну, вот сойдет хмарь, будет ясная ночь, и увидишь. И никогда не забудешь, никогда...

Аркадий как подгадал: ясная ночь случилась назавтра. Днем было облачно, даже сумрачно, поэтому и в засветло, и вечером сидели в доме, и каждый занимался своим делом: Кристина решила напечь оладий, Володя-абхаз исправно служил метеорологом, а пан Александр и Аркадий валялись на спальниках и читали, время от времени выбираясь на воздух, чтобы покурить на лавке у самого склона с замутненным из-за облаков видом окрестностей.

Кстати, о чтении. Тут, на метеостанции, еще с издавна имелась, можно сказать, своя библиотека, хоть и маленькая: однажды вертолет забросил сюда сотню книг, полученных в дар от сухумской городской библиотеки по просьбе Управления заповедниками Абхазии; правда, подбор этих книг был странноватым – в основном,

детские и юношеские, то есть сказки, мифы, рассказы о животных и мореплаваниях, фантастика Жюль Верна и Стивенсона, роман Майн Рида, ну и что-то еще в этом роде, словно отсылали эти книги в дар не метеостанции, а школе. Но что чудесно, были они прекрасно изданы, с красочными иллюстрациями, и хорошо тут сохранились, потому, видимо, что сменяющие один другого метеорологи, включая Володю-абхаза, охотниками до чтения не были и в руки эти книги не брали, хотя, черт их знает, может быть, им «репертуар» не подходил. Аркадий же сейчас читал, чтобы хоть чем-то себя занять, а вот старый Александр читал запоем, книгу за книгой, будто детско-юношеское восприятие мира вернулось к нему вновь. То есть пока дурачилась погода, он проводил эти дни в большом удовольствии. А вот Аркадий с Кристиной явно скучали.

В тот вечер, о котором речь, уже поздно, сидят они в большой комнате за общим столом и попивают чай напоследок. Володя-абхаз, вернувшись с метеоплощадки, направляется к себе за рацию и, следуя мимо, произносит одно слово, спокойно-небрежно, будто ничего не произошло.

- Звезды, - произносит спокойно-небрежно и уходит. И не видит, как мы вскакиваем в радости, как быстро натягиваем на себя куртки и спешим в коридор, а затем на крыльцо. А там запрокидываем головы и глядим.

Проходит, верно, минута, и Кристина говорит:

- Да, никогда подобного не видела.

- А я подобное видел, - вздыхает Александр, - в Турции видел, тоже в горах, меня туда возили, в верхний Дом приемов, высоко, очень высоко.

- Ох, вы и в Турции были? – удивляется Кристина, не отрываясь от созерцания звездных россыпей.

- Был, пани, был. Послом там был. Правда, недолго, всего год. Это когда меня сняли.

- Не поняла! – говорит пани и теперь смотрит на старого Александра. – Как это, сняли – и послом? Посол – это ведь о-го-го!

Тот улыбается, а Аркадий поясняет:

- Понимаешь, пани Кристина, была у нашей власти такая привычка: после отстранения от высокой должности отправлять ставшим неугодным товарища в почетную ссылку – послом куда подальше. Но ненадолго: вскоре отзыв на родину, и вот тогда – уже полное политическое небытие.

- Да-да, это вы верно заметили, пан Аркадий, - улыбается Александр, - небытие.

Забывушка Кристина не унимается:

- А с чего... с кого вас сняли?

- С должности первого секретаря компартии Чехословакии.

- А, да-да, теперь вспомнила, мне Аркадий рассказывал. Ничего себе! То есть с главного?

- С самого главного в стране. Хотя есть и президент, конечно, но это так, выставочная должность.

- Значит, послом? Ну и как там, в Турции? Я там еще не была.

- Там? – вздыхает Александр и тут предлагает: - А давайте посидим на лавочке, посмотрим на звезды, покурим.

Лавочка – рядом, в паре метров, над самым обрывом склона. Они садятся на нее, а старый Александр перед тем успевает сбросить куртку, чтобы Кристина уселась не на холодные голые доски. Она благодарит, но не забывает спросить в ответ:

- А вы-то сами не замерзните?

- Не стоит беспокоиться, пани, - отмахивается он с улыбкой и достает из нагрудного кармана кожаной безрукавки трубку и зажигалку. Пыхтит, закуривает, опять смотрит на звезды. – Да, чудесно, чудесно!.. А ваши сигареты при вас? Вот и

хорошо, курите, курите.

- Дай и мне, - Кристина протягивает руку к Аркадию. – Ну и как было в Турции-то, пан Александр?

Он поводит головой из стороны в сторону:

- Как? Никак. Мне никак. Поначалу очень депрессия была. После всего.

Понимаете, август 68-го, танки в Праге, подавление надежд, домашний арест, этот спектакль на заседании ЦК, отстранение от должности, опять почти домашний арест. И вот, решение о назначении послом в Турцию. А мне всё равно. Что ж, пусть так, мне всё равно. Депрессия. Прибыл в Анкару, стал входить в курс дела. А всё равно. Мои замы все делали, секретари посольства, которые по обязанности еще и следили за мной, докладывали в Прагу. А мне всё равно. Такая большая депрессия была. Супруга моя очень беспокоилась, бедная, чтобы я... как это по-русски?... чтобы я не тронулся умом, вот, ха-ха! И я не тронулся, нет. И что меня спасло? Вы не можете знать, вы не поверите. Меня спасли ковры.

Аркадий усмехается, а Кристина не понимает:

- Ковры? Какие ковры?

- Турецкие, - улыбается Александр, - турецкие ковры.

Он раскуривает погасшую трубку и продолжает:

- Понимаете, так. Вскоре после назначения меня повезли в Стамбул и решили показать знаменитый базар. Я ходил, смотрел... ну, базар, да... и тут меня ввели в очередной павильон. И я увидел: ковры! Я ничего подобного не видел. Они лежали на больших прилавках, висели на стенах, как... как это?... как яркие водопады. Понимаете, считается, что самые знаменитые ковры – персидские. Не знаю, может быть. Но мне сказали в Стамбуле, что турецкие ковры тоже очень знаменитые и по рисунку даже более интересные... более умные, что ли. Что такое умный ковер? Я понял. Он таит в себе рассказ о судьбе. У каждого из нас своя судьба, и надо найти такой ковер, где расписана именно твоя судьба. Надо долго вглядываться в вязь рисунка, в знаки этого рисунка и увидеть картину твоей судьбы. Но это надо уметь. Я это понял, понял еще там, в павильоне на базаре, потому что на одном из ковров увидел рисунок моей судьбы. Вот я, сказал я себе. Александр, сказал я себе, вот он, ты! Смотри: тут и прошлое твое, и настоящее и твое будущее... В общем, я распорядился купить тот ковер для меня, но хозяин павильона, богатый турок, тоже распорядился: он сказал, что этот знаменитый восточный ковер приносит в дар господину послу из небольшой, но гордой европейской страны. Так и сказал: гордой. И еще он сказал мне, что господин посол все верно понял и умно увидел. Да-да, так и сказал, мне повторили перевод: умно увидел. Я понял, что мы с ним поняли друг друга... Его люди погрузили мой ковер на тележку и отвезли к нашей машине у ворот базара. Потом мы вернулись в Анкару, и я повесил этот ковер на стене в моей спальне. И мы стали друзьями. Если мне не спалось по ночам, а не спалось мне тогда часто, я включал ночные светильники и глядел на мой ковер, читал мою судьбу и разговаривал с ним. Моя супруга полагала, что все-таки я тронулся умом, но это не так. Я нашел друга. Но это был еще мой первый друг. Э, потом...

- Потом были другие ковры, - вдруг говорит Кристина.

- Верно, пани, - удивляется Александр. – Как вы догадались?

- А вы же сказали раньше - ковры, а не ковер, то есть во множественном числе.

- О, вы внимательно слушаете, спасибо.

- Это у нее профессионально – внимательно слушать, - вставляет Аркадий.

- А кто вы по профессии, пани?

- Любитель историй, мифов и легенд, - по-своему отвечает за Кристину Аркадий. Александр кивает:

- О, интересно!.. Да, потом были другие ковры, с другими рисунками, другими судьбами и рассказами о них. Премного интересно и поучительно... Я покупал эти ковры там же, на базаре в Стамбуле, когда оказывался там. Покупал на свои деньги, конечно, потому что никогда не пользовался своим положением, а к тому же знал, что нахожусь под наблюдением. Да, немалые деньги, но ковры, ковры! Без них я уже не мог. Это были мои друзья, с которыми наконец я мог разговаривать, с которыми интересно. Мне стало вдруг интересно, я не один, понимаете? В Турции, а не один, то есть будто и не в ссылке... Я развесил эти мои ковры по стенам по всему дому и только и ждал часа, когда меня привезут с работы из посольства, чтобы пообщаться с друзьями. Но через год меня отозвали на родину, куда я и вернулся со странным чувством: да, домой, а впереди - неизвестность. Конечно, я вывез с собой мои ковры. Опять развесил их по дому, теперь в Праге, и в основном только с ними и общался, однако... Уже вскоре меня исключили из компартии и отправили в мою родную Словакию. Естественно, туда я перевез своих друзей, мои ковры. Это было в 1970-м году. А там, в Словакии, знаете, кем меня назначили?

- Знаю, - подает голос Аркадий. – Наконец-то вы заняли истинно прекрасную должность.

- Верно, мой друг пан, верно, - улыбается Александр. – Меня назначили, пани Кристина, главным руководителем лесничеств Словакии. То есть я стал Главным лесничим. А!

- Здорово! – радостно кивает Кристина. – Головокружительная карьера! – добавляет без иронии, искренне.

- Именно, - соглашается Александр, но это выходит у него все-таки грустно. – Покой, тишина, постоянные поездки по лесам, а их у нас в Словакии очень много. Жил в Братиславе, со своими коврами, конечно, так и служил Главным лесничим республики до самой пенсии. Да, мне исполнилось шестьдесят в 1981-м, и меня тут же отправили на пенсию. Вот и вся, как вы сказали, пани, головокружительная карьера.

- У коммунистов, - опять вставляет Аркадий.

- Да, правильно. Потому что потом, через несколько лет...

- Но это уже другая история, - опережает его Аркадий и поднимается с лавки. – Что-то я примерз малость, пошли-ка в дом спать.

- Верно, верно, пошли, пора, а то я заговорил вас, молодые люди, уж простите словоохотливого старика.

- Ой, да что вы! – улыбается Кристина. – Мне жуть как интересно! И что было дальше, и что было раньше. И почему вы, пан Александр, так хорошо говорите по-русски, мне тоже интересно.

Аркадий хмыкает про себя, пока они поднимаются на крыльцо. Кристине всё интересно. Она любопытная. Хотя, если по ее версии, любознательная.

- Хорошо-хорошо, в следующий раз обязательно расскажу, пани, - отвечает довольный Александр, но вдруг приостанавливается и опять запрокидывает голову к небесам.

- Как это прекрасно – видеть такие звезды. Вот ковры... почему я о них вспомнил, увидев эти звезды? Эти звезды напомнили мне о моих турецких коврах. Это так же прекрасно. С ними можно разговаривать, любясь. И понимать, что ты не один. Эти звездные рисунки, смотрите. Эти реки и письма, письма судьбы. Плыть по этим звездным рекам и читать судьбу, читать...

- Кстати, разрешите поинтересоваться, если не секрет, - уже у двери в дом спрашивает Аркадий, - вы сказали, что на одном из ковров была расписана ваша судьба, в том числе и ваше будущее, так? Ну, и каким оно там было, это будущее?

- Неожиданно светлым, - слышит в ответ. - И так и вышло.

Кристина все-таки уговорила Володю-абхаза помочь ей разобраться с приборами на метеоплощадке, чтобы самой снимать показания. Поначалу тот отнекивался, но если упорная Кристина что-то задумала... Через несколько дней она вполне освоила не столь хитрую премудрость, иногда даже вставала по ночам и приносила в дом к рации листок с многочисленной цифирью. Нашему метеорологу оставалось только стучать морзянкой. И хорошо: теперь он все-таки уже не через каждые три часа выбирался наружу, где иногда по ночам было довольно холодно, да и на звезды Володя-абхаз не глядел и с ними не разговаривал, в отличие от старика Александра.

Разговаривал Володя-абхаз преимущественно с Кристиной, к которой особенно привязался. Их дружба стала даже трогательной. Аркадий понимал, что дело тут в ее рассказах об истории Абхазии и, конечно, о специфике местной религии. Метеоролог заворожено слушал нашу выдумщицу и тоже ей кое-что открывал, но в конце концов их духовно объединил именно бог Анцва, да так, что несколько раз эта религиозная парочка куда-то пропадала на час-другой в перерывах между обязательными сеанса связи по рации. Оказалось, как вскоре открыла Аркадию Кристина, Володя-абхаз водил ее к своему святилищу, которое уже давно соорудил в небольшой пещере на соседнем склоне. Вот туда, если склон не был затянут облаками, он и водил поклонницу его Бога, тем даже беря грех на душу, поскольку эта вера не поощряла пребывания в культовом месте всяких там любителей покопаться в исторических традициях. Однако конкретно Кристине, решил Володя-абхаз, туда являться можно, ее пребывание там не смутит Анцву и не осквернит святилища. Понятно, это никак не относилось к Аркадию, не то язычнику, не то и вовсе атеисту, и уж тем более к явившему неизвестно откуда старику Александру, какому-то словаку, поскольку он однажды обмолвился, что, да, когда-то был членом компартии, хотя вообще-то его духовной ориентацией всегда оставался европейский социализм или социал-демократия. Короче, полная ерунда! Коммунисты, они оголтелые безбожники, с ними всё ясно, но скажите, что это за хреновина – какой-то европейский социализм и социал-демократия? В общем, в отличие от Кристины, Александр не стал центром притяжения на метеостанции.

Кстати, о последнем, о поклоннике социал-демократии. Как-то раз Аркадий увязался за Кристиной на верхнюю площадку и там сказал ей:

- Слушай, дорогая. Пожалуйста, не расспрашивай Александра о его раннем прошлом.

- Почему?

- Потому что оно было коммунистическим, и ему тяжело это вспоминать. Вот потом – ну, там их «Пражская весна», «бархатная революция» – это пожалуйста. Но это уже его вторая жизнь. А была еще и третья, и четвертая.

- Ничего себе, четыре жизни! – хмыкает Кристина. – Ну ладно, если о первой не спрашивать, то тогда расскажи сам.

- Хорошо, расскажу, что знаю. Значит, родился он, как тебе уже известно, в словацкой деревне в семье столяра. То ли этот столяр был коммунистом, то ли только сочувствующим или его просто завербовали, но так или иначе он вдруг оказался вместе семьей у нас в Союзе. Сначала они жили где-то в Средней Азии, в Киргизии или Узбекистане, и Александр учился там в русской школе. Потом они переехали в Нижний Новгород, который затем стал Горьким, где Александр и окончил среднюю школу. Вот откуда совершенное знание русского языка, поняла?

В 1938 году он вернулся на родину, вскоре война, оккупация, и он активно участвовал в антифашистском движении, даже был ранен, кажется, дважды. Потом... потом в Чехословакии воцарился социализм по-советски, с этих пор

Александр на партийной работе. Но параллельно учился на юридическом факультете Братиславского университета, получил диплом юриста, а затем... затем он опять в Москве, но теперь – в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, которую и окончил в 1958 году. Тогда ему было 37 лет. Он вернулся домой, и тут – стремительное восхождение по партийной линии, сначала в Словакии, то есть в Братиславе, потом в Праге. И вот венец карьеры: в 1968 году, после смещения тогдашнего лидера Новотного, нашего Александра избрали главой компартии Чехословакии, ее первым секретарем. То есть фактически главой страны, и заметь, в 47 лет, а это не типичный случай, даже, пожалуй, исключительный в пределах соцлагеря. Конечно, такой головокружительный взлет произошел с ведома и согласия нашего Политбюро. А вот почему выбор пал именно на него, не знаю. Может быть, потому, что «наш человек», недаром столько лет прожил в Москве. Но это уже мои домыслы, а всё, что сказал раньше, – архивные факты.

- Да, лихо! - резюмирует Кристина. – А что дальше?

Аркадий медленно достает сигарету и, закуривая, поглядывает на один из приборов.

- Эй, небожительница, глянь-ка, барометр падает.

- В каком смысле? Он на месте.

- В смысле – давление падает. Внизу будет шторм, а у нас ветер и облачность.

Кристина нахмуривает лоб:

- Ага, падает, точно. Значит, опять облака ниже нас, вот черт!

- Нет, на сей раз так и надо.

- Что надо?... Погоди, ты рассказывал про Александра и я спросила, что было дальше, после того как он стал главным у себя в Чехословакии.

- Дальше? Дальше – это уже его вторая жизнь, тут-то и начинается что-то нетипичное. Если, как ты иронизируешь, я творю исторический сюрреализм, то для нашего Александра история написала серию катаклизмов, полную перевертышей: вверх – в бездну, опять вверх – опять в бездну, в небытие. Хотя этот чтец судьбы по коврам считает, что последние годы его жизни оказались неожиданно светлыми, как он сказал. Но об этом как-нибудь потом, любознательная моя.

Однако до этого «как-нибудь потом» случилось еще одно событие, которого ожидал Аркадий. А пока...

Барометр упал, нашла густая облачность, и когда вокруг метеостанции на вершине горы изредка чуть рассеивалась молочная туманность, можно было разглядеть плоские гряды облаков ниже на склонах. Казалось там, ниже, уже ничего-никого, и от сущего мира если что и осталось, так это метеостанция на вершине. И всё небе заволочло, отчего валил и валил густой мокрый снег. Не выйти из дому, чтобы походить по ближней округе, даже Цезарь сидел на крыльце, с него не спускаясь, ибо увязал по грудь. А внизу, как сообщил Володя-абхаз после очередного сеанса связи с Сухуми, бушевал шторм. Нет, море и шторм, это не здесь, это на другой планете, а здесь никого-ничего, и время остановилось, а вообще-то его тут и нет. Кто это выдумал – время!..

В такую пору только и делать, что сидеть у печки и пить водку с хорошими людьми. Ну, хорошие люди тут есть, а вот с водкой проблема. Была одна бутылка, да ее давно выпили. И летнее вино выпили («летнее», это то, канистру с которым еще в июле доставил вертолет вместе с запасом продуктов). Значит, что остается? Попивать чай, играть в шахматы с Александром или почитать детско-юношеские книжки с чудесными картинками. Вот у Володи-абхаза и Кристины хоть есть какое-то занятие – несмотря на снегопад, через каждые три часа выбираться к приборам,

записывать показания, потом их зашифровывать и по радиации передавать сводку в Сухуми. А что – хорошее занятие, очень нужное нынче, когда погода и не думает меняться, законсервировалась – можно смело давать прогноз на пару недель вперед. Консервная банка Абхазии.

- А вот и нет, - возражает выдумщица-трепушка Кристина. – Не консервная банка, а место творения. Модель мироздания. Тут в Абхазии сотворена лучшая модель мироздания, честное слово!

Володя-абхаз, который самый благодарный слушатель Кристиных мифов, усаживается напротив своей почти учительницы, которая младше его на полторы жизни, и, открыв рот, изготавливается слушать. Зная, о чем пойдет речь, Аркадий продолжает оценивать явно проигрышную позицию на шахматной доске, а Александр, напротив, отрывает от нее взгляд и с интересом смотрит на Кристину. Она продолжает, но вдруг адресуется не к Володе-абхазу, а к Аркадию, будто не прекращала с ним давний спор:

- Да, мне по душе именно их модель мироздания. Почему? Поэзия! Мифы – это первичная форма поэтического сознания. Недаром еще Фазиль Искандер – кстати, он родом из Сухуми – недаром он сказал, что история не может не быть поэтизированной. Поэтический взгляд на историю есть единственно возможный взгляд – так он сказал. Слышишь, Аркадий?

- Слышу, слышу, - отвечает тот, занимаясь тем же – изучением позиции на доске, - ну, так он поэт, писатель, разве он мог изобрести что-то иное?

- Он не изобрел, а понял: да, история всегда поэтизирована, - самозабвенно возражает Кристина. - Отсюда даже не ошибки, а вранье. Но даже и не ошибки, и не вранье, а поэтизирование эпизодов прошлого. Без этого народ не может, это система его выживания, один из способов выживания, а если может, то это лишь пока-народ, потому что у него нет будущего. Наука об истории и история в народе – это не всегда одно и то же. Увы и ах: наша наука должна понимать, что у истории нельзя отбирать ее мифы. Вот, например, наши русские вечные споры об Иване Грозном или о Петре, или о Сталине, или о нашей несчастной Великой войне – что это? Это, по сути, споры о том, быть мифам или не быть, быть поэтизации прошлого в нашем историческом сознании или не быть, а если быть, то какова «допустимая доза» для такого кровосмешения истины и вымысла.

- Согласен, в этом вашем мнении есть разумное зерно, пани Кристина, - встревает в дискуссию Александр, - но вот я не историк и не ученый, а бывший политик, поэтому я за факты и только за факты, за правду, какой бы она ни была, иначе наши дети...

- Вы не только бывший политик, но и бывший лесничий, - подает голос Аркадий, по-прежнему глядя на шахматную доску, - поэтому пусть наши дети любят сказки, разве не так?

Александр успеваешь сказать лишь: «Э, да, но...», и тут опять вступает Кристина:

- А картина мира абхазов – это и есть первичная поэзия. Их мифология - поэзия осмысления Природы. Природа – макрокосм, а человек в ней - микрокосм. Это первые попытки познать роль человека, смысл его жизни, того, как он появился на Земле, что ему тут надо и что его ждет в будущем.

- Именно! – кивает Володя-абхаз. – Именно, да. И что дальше, Кристина?

- Дальше? Мифы о мироздании – это космогонические мифы, а они наиболее древние. Вот и выходит, что абхазская мифокосмогония – очень древняя, подобной нет у предков русского этноса, то есть среди племен, из которых он сложился. Я понятно говорю?

- Понятно, понятно, - опять кивает ее пожилой ученик, тем самым вдохновляя учительницу.

- Тогда дальше. По мифологии абхазов, первичен Космос, а человек и другие живые существа появились позже по воле Анцвы, единого Бога.

Тут Аркадий наконец вскидывает голову:

- Да? А я слышал, что твой Анцва – вовсе не единый бог, а стоит во главе целой компании богов... ну, ладно, во главе языческого пантеона богов, наподобии того, как было у древних греков с их Зевсом. А что – хорошая компания!

- Нет-нет, это по языческим понятиям, а мы, а я...

- Спокойно, Володя!- вскидывает руку Кристина и всем телом разворачивается к Аркадию. – Анцва – вообще первый Бог в религиозной сознании человека, реликтовый, я ж тебе не раз говорила. Это уже доказано. Добиблейская модель единобожия. Слово «Анцва» и означает «Бог». Он первотворец и демиург, он блюститель порядка и справедливости. И он обитает на небе. Недаром в мифологии абхазов понятия «небо», то есть «верх», и «Анцва» родственны.

- Да-да, именно, да! – опять кивает Володя-абхаз. – Он – всё, вокруг и в каждом, он идеал.

- А вот тут, Володя, не совсем так, - поправляет Кристина. – Анцва действительно всё, но как божественная личность он не идеален, и именно это прекрасно! Анцве присущи некоторые людские слабости и даже пороки. Например, он самолюбив. У христиан, особенно у ранних, – это грех, но Анцва и сам такой, и в людях такое терпит. Но не терпит, если кто-то не подчиняется его воле. Тут он нетерпим и не оставит человека безнаказанным. То есть он и нетерпим, и мстителен. Вот и получается, что этот Единый Бог очеловечен куда более, чем иные Единые, более поздние. Поэтому ему не надо оправдываться за всякое им содеянное, в том числе и за себя, свои слабости или пороки. Его – такого – всегда поймут люди, те, кто в него верит. Скажи, Аркадий, разве всё это не лучшая модель мироздания? Как же абхазы должны быть внутренне счастливы и достойны, имея такого Бога!

- Я им завидую. – Аркадий поднимается из-за стола. – Завидую. – И идет к двери, чтобы покурить на крыльце. – Слушай, дорогая моя, а зависть есть грех, так? Ну ладно, я завидую. А твой Анцва завидовал?

Кристина, молодец, смеется:

- Не строй из себя тупого, дорогой мой! Кому или чему Анцва мог завидовать? Других богов не было, другой Земли тоже. Зависть – свойство сугубо человеческое, а не Божье. Понял?

- А, вот теперь понял. И просветлел. Ты многознающа и правильно-умна, я прав, что люблю тебя. Теперь самое время покурить.

- И я люблю тебя, и тоже покурю с тобой, - говорит Кристина.

- И я тоже с вами, пожалуй, - улыбается старый Александр и тянется за трубкой, чтобы набить ее табаком...

Вот тогда, стоя на крыльце, они и увидели, как из снегопада, из молочного тумана возникла фигура в черном, заснеженно-мокром одеянии. Кажется, в старомодном френче. Человек сделал последние шаги на вершину и, отдуваясь, остановился. Странно: сидящий тут же Цезарь разок гавкнул для приличия и опять задумался о чем-то своем.

- Вы дошли, вы дома, проследуйте к печке поскорее, надо обсушиться и отдохнуть, - удовлетворенно говорит Аркадий пришельцу. – Прошу!

Глава 3

На второй день очередной гость вполне освоился. Другие гости ему не мешали, а хозяин, Володя-абхаз, относился к крайне редким на метеостанции гостям терпимо,

даже хорошо: во-первых, долгожданное общение, а во-вторых, готовку на плите берут на себя. Вот только некоторые из нынешних гостей все-таки странные. Ну, Аркадий и его Кристина, они люди нормальные, свои, а вот Александр какой-то чужой, хоть и отлично шпарит по-русски; теперь другой гость: лет сорока пяти, серьезный, молчаливый, неулыбчатый, иногда даже капризный. И одет нелепо, в каком-то полувоенном френче, как пояснил Аркадий. Ну, пусть во френче, темно-зеленом, почти черном, без погон, и не поймешь, кто он, откуда, из каких краев, одно ясно – русский, только речь его будто из прошлых времен, похоже, которая была при царе-батюшке. Вот и выходит, странноватые эти гости. А и ладно, пусть живут.

И как его называть, этого второго, как к нему обращаться? Похоже, даже Аркадий путается: то скажет «ваше превосходительство», то «господин адмирал», то просто «дорогой Александр Васильевич». А вообще-то пришелец, он и есть пришелец, и нечего дурака валять!

А и ладно опять же, пусть разбираются, они люди праздные, а у метеоролога на занесенной снегами и закрытой густой облачностью метеостанции дел полно. Кстати, надо и гостей привлечь к работе: с крыши снег покидать, окна откопать, а то уж до половины занесло, метеоплощадку тоже от снега освободить и откопать там осадкометр и второй, нижний, термометр. Да, жуть сколько снегов напало, что-то Анцва щедр нынче, большая вода будет в марте, большая, все ручьи и реки взбухнут, все, какие с гор в море бегут! Большие травы будут внизу на склонах и в долинах, большие урожаи лимонов, мандаринов, инжира, айвы и прочего, прочего.

Ну, это про нижние дела, а на метеостанции... На второй день, освоившись, этот пришелец закапризничал: папиросы ему подавай! Его папиросы, видите ли, отсырели и промокли из-за снегопада во время подъема, а отсырели они потому, видите ли, что были в обыкновенной пачке, а не в его любимом серебряном портсигаре, который он отдал-подарил то ли конвоиру, то ли солдатику из расстрельной команды. Во дела, да? Подарил, значит, только одну папиросу себе оставил напоследок. Во пришелец! Ну ладно, да. Так, значит, поскольку тут все-таки Черное море внизу, говорит, так нельзя ли, сударь (это он Аркадию), снести с Батумом, с тамошней папиросной фабрикой Джавахишвили, чтобы заказать у него для бывшего командующего флотом сразу пачек двадцать его прекрасных папирос. Ну, вам же известно, конечно, сколь прекрасны и знамениты эти батумские папиросы Джавахишвили... Никак не получится, отвечаем мы, потому что с городом Батуми связи не имеем, да, и не то что по рации, но и связи дипломатической, ибо сей город а Аджарии, а она в Грузии, а с Грузией... В общем, вот так, да, никак не получится с вашими папиросами, так что можем предложить сигареты (это Аркадий ему говорит) или покурить трубку (а это пан Александр предлагает, и не ту трубку, которую курит сам, а вторую, запасную, которая, оказывается, всегда при нем на всякий случай; во, какой предусмотрительный этот словак, да!). Значит, помялся-пожался этот престранный пришелец, хмурился, молчал, гордо мучился еще полдня и в конце концов соизволил снизойти до запасной трубки пана Александра. Тот сказал: «Берите, берите, очень обяжете, и не стоит благодарности, я очень рад оказать вам услугу!» Во, какой благородный и культурный пан у меня на метеостанции нынче, да...

Ночью Кристина шепчет Аркадию в самое ухо:

- Ты зачем его сюда притащил? Ты что?

- А ты его узнала? – в свою очередь шепчет Аркадий.

- А ты меня всё за выдумщицу держишь или вовсе за дурочку? Конечно, узнала!

Читала кое-что, читала, интересовалась. Он же, во-первых, ученым был,

исследователем, и каким знаменитым! Стажировался у Нансена, потом две полярные экспедиции, которые вошли в историю российского освоения Севера. Его именем Толль остров назвал в Карском море у берегов Таймыра, а его ледовыми лоциями по Севморпути пользовались даже во время Отечественной войны, пользовались и не знали, чьи это лоции, кто их составил. Эх, если бы не война... да не Вторая Мировая и даже еще не Первая, а русско-японская! Вот она и свихнула его с истинного пути, с пути блестящего морского исследователя, сокровенной мечтой которого было знаешь что? Эх ты, серый, не знаешь! Найти Южный полюс! И нашел бы, да началась русско-японская война, и он – сразу туда, в морские сражения. Знаки отличия от самого адмирала Макарова, а за заслуги в обороне Порт-Артура царь пожаловал ему Золотую саблю с надписью «За храбрость». Потом плен, потом...

- Помолчи! – перебивает ее Аркадий. – Давай-ка оденемся и выйдем на крыльцо, только тихо. Вставай, пошли, заодно покурим.

Осторожно, чтобы не разбудить спящих здесь же гостей-соседей, они одеваются и проскальзывают за дверь в коридор, потом выходят на крыльцо. И видят: мать честная, звезды! И тихо, и снег не валит, и вся Вселенная видна, кажется. Вот так подарок после двухнедельного пиршества средиземноморского циклона над черноморским Кавказом! Ну и славно. С утра солнце будет, склоны заискрятся. Всё возвращается к началу в этом мире, чтобы опять пройти по известному кругу, подтвердив формулу, начертанную поэтом.

- Какую формулу? – спрашивает Кристина.

- «Изменяется мир, но он остается как прежде».

- Ну да, ну да.

Они закуривают и всё глядят и глядят на звезды. Из-за стены глухо трезвонит будильник Володи-абхаза. И этот звук – единственный на всё безмерное пространство. Время себя обозначает. Да, время. Пора метеорологу идти к своим приборам, снимать показания и так далее.

- Так мы говорили о нем. Кого ты узнала, - напоминает Аркадий. – Продолжай. Нет, погоди, я напомним тебе, что стало с той Золотой саблей за Порт-Артур, которую ему пожаловал царь, как ты правильно сказала. Печальна судьба этой сабли. Он всегда возил ее с собой. В 17-м году к нему, командующему Черноморским флотом – кстати, по повелению того же царя, высоко оценившего заслуги молодого адмирала в морской войне против немцев на Балтике...

- Да-да, - кивает Кристина, перебивая, - он выиграл войну на Балтике, и как! Не то что не допустил германский флот к Кронштадту и Ревелю, а заставил его отсиживаться на своих базах.

- Именно! Так вот, летом 17-го к нему в адмиральскую каюту ворвались революционные матросы, потребовали сдать командование и заодно отдать им эту Золотую саблю, висевшую на стене каюты. «А вот ее вы не получите! – холодно отрезал адмирал. – Не вы мне ее вручали, не вам ей и владеть». И, выйдя на палубу своего крейсера, выбросил саблю за борт в море... Ладно, извини за справку, продолжай.

- Да ты и сам всё знаешь, - говорит Кристина. – Ну, хорошо. Черное море... Всё это было почти вот там, - она указывает вперед и вниз, - ага, там, под нами. Вступив в командование Черноморским флотом по высочайшему повелению Николая Второго, он и не думал обороняться, что делали до него. Не оборонительная война, а наступательная! Что стоит его преследование германского крейсера «Бреслау»! Но главное, он начал готовить неслыханно-дерзкую операцию: захват вождеденных проливов – Босфора и Дарданеллы. И захватил бы, потому что не знал поражений. Одержимый, дерзкий и удачливый. Он был гениальным военным стратегом.

Никакого просчета, всё продумано до деталей! Но... февральская революция, отречение государя. И вот в Батуми...

- Где знаменитая папиросная фабрика, - усмехается Аркадий.

- В Батуми он находился на совещании военного командования, и вдруг поступает срочная телеграмма из Петрограда, из Главного штаба: в городе волнения, беспорядки, гарнизон перешел на сторону мятежников. Всё было кончено – какие там проливы! Вскоре бывший комфлота сел на поезд в Севастополе и отправился в революционный Петроград, в Генштаб. От него требовали отчета и покаяния. От него! И он начал свое самое длинное и на сей раз гибельное путешествие по маршруту Петроград – Лондон – Сан-Франциско – Токио – Пекин – Харбин – Владивосток – Омск – Иркутск...

А здесь звездная ночь. Мимо проходит Володя-абхаз, спешит к своей рации.

- Хорошо? – кивает на небо. – Анцва тоже звездами любит, да.

- Несомненно, - отвечает ему Аркадий. – Иди, и мы скоро пойдем спать... Да, всё так, - говорит Кристине, - всё так.

Помолчав, она просит:

- Слушай, объясни мне – почему? Почему это случилось с ним? Только без фактологии, я и сама кое-что знаю.

- Ладно, попробую. Значит, почему... Его подвела завышенная самооценка, переоценка своих возможностей. Смотри, как получается. Он всегда был блестящим, всегда победителем, всегда. Блестяще окончил Морской кадетский корпус, получил отличное образование, знал несколько европейских языков, освоил океанографию и гидрологию, потом эти грандиозные полярные экспедиции, всеобщее признание, слава. И характер: бесстрашный, упорный, смелый. Человек безмерно сильный духом и телом, с сильным аналитическим умом. Таким везет, над такими сияют звезды. Потом война – и опять он первый, опять герой. Да равных ему флотоводцев, считай, не было!.. Награды, два адмиральских звания к сорока годам. Всё это сформировало в нем комплекс неуязвимости, уверенности в своих силах и возможностях. И всё это было адекватно, всё правильно. Но – в зоне науки, путешествий и экспедиций, морских сражений, командования флотом. И вдруг ему предложили, как говорится, сменить амплуа, причем резко: стать политиком, ввязаться в борьбу с большевиками. Да не столь важно, с кем, - важно, это не его стезя. Ему предложили, и он мог сказать «нет», но он сказал «да». Блестящий военный организатор и флотоводец, он решил, что и тут, в политике, возьмет верх – и переоценил себя, ошибся. Кристально честный, предельно порядочный, истинный патриот и, главное, абсолютно не властолюбивый, он не мог себе представить, что политика аморальна, безнравственна по определению. А он пытался ее делать в белых перчатках. Сей номер не проходит, ни у кого не проходил, никогда.

- И из этого правила нет исключений, - соглашается Кристина.

- И смотри, как удивительно: его моральный авторитет и военные заслуги были столь высоки, что 43-летнего адмирала избирают главой всего Белого движения – Верховным Правителем России, и это безоговорочно признают все генералы по антибольшевистской борьбе – Деникин, Юденич, Врангель и другие, а также лидеры Антанты. Но Верховный Правитель, это тебе не на мостике командовать и не готовить военную кампанию, это быть политиком! Они-то куда смотрели, Деникин и прочие? Не понимали, что он не политик? Не понимали. И он тоже еще не понимал. И начал проигрывать. Не сразу, но уже через год-полтора. Пытался, из кожи вон лез, но после некоторых успехов пришли поражения, открывалась коррупция в армии и другие ее безобразия, двойная игра Антанты, а он не был дипломатом – значит, ссоры с союзниками, то есть неудачи и на этом фронте. Хочешь, почти фантастический и очень симптоматичный для нашего разговора факт? Летом 19-го

года финский генерал Маннергейм предложил ему – как Верховному Правителю – союз против большевиков, союз и сделку: Маннергейм двигает на Петроград свою 100-тысячную армию, одерживает победу, но это в обмен на последующее признание независимости Финляндии. Однако наш политик-дипломат это предложение с негодованием отверг, хотя оно сулило Белому движению невероятную выгоду. А почему отверг? Патриотом неделимой России был, ее целостности. И вскоре после этого фронт стал быстро откатываться к Омску.

И вот финал. Его предали, предали свои же, союзники, предали, арестовали, хотя предлагали бежать в солдатской форме, но он наотрез отказался. Арестовали, сдали большевикам (вот тут-то свершилась сделка, но об этом потом!). Дальше понятно: расстрел в Иркутске, быстро, тихо, по приказу Ленина из Москвы – и тело в приток Ангары, в прорубь под лед. Блестящий полярный исследователь навсегда ушел под лед, и его любимая Прикол-звезда, Полярная, которая вела его все прошлые годы, уже не спасла.

- И произошло это под утро 7 февраля 1920 года.

- Ну и память у тебя, просто поражаюсь!

- И тот серебряный портсигар... Когда его вывели на расстрел, он попросил напоследок выкурить папиросу. Ему разрешили. Он достал папиросу, а портсигар бросил одному из солдат расстрельной команды.

- Небось потом командир отобрал его у того солдата – серебряный все-таки!.. Так ты получила ответ на свое «почему»?

- Если по сути – да.

- Его подвела психология, переоценка себя. Жутко обидно. Блестящий человек, блестящий адмирал, герой двух войн, а до того ученый и герой-исследователь Арктики. После революции, когда он был за границей, ему предлагали профессорскую должность в Штатах по океанологии и полярным морям, издали книгу его исследований, звали, а он сказал «нет» и вернулся в Россию бороться с большевиками за родину и честь, и не просто бороться, а возглавлять борьбу. Вот тут ошибочка и вышла. Повторяю, жутко обидно.

- В XIX веке идеальным в этом плане, то есть военным и политиком в одном лице, был Наполеон, а в XX – Шарль де Голль. Похоже, это случается раз в столетие, и на нашего адмирала места уже не хватило.

- Ну да, раз в столетие и только среди французов.

- Ладно, хохмач! Лучше скажи, зачем ты свел их здесь, их, таких разных?

Аркадий усмехается:

- Им нужно кое-что выяснить друг у друга. Свести счеты.

- Счеты? Колчаку и Дубчеку?

- Вот именно.

- Ну, ты даешь!

Глава 4

Хорошо, что у нас есть Кристина: присутствие в ограниченном пространстве женщины, еще довольно молодой и довольно миловидной, способствует мирному течению времени в безвременье. Да, вот такой парадокс нынче на метеостанции, затерянной высоко в горах: время вроде есть, но и нет его. И как это предусмотрел Аркадий?

Да причем тут Аркадий – речь о Кристине, молодой и миловидной, этнологе, выдумщице и врушке, напичканной всякими путаными историями про прошлое, почитательнице какого-то Анцвы, любительнице поговорить и частенько заниматься

любовью. И всё это у нее здорово получается. А у остальных обитателей метеостанции получается как-то умиротворяться в ее присутствии.

Ну, Володя-абхаз, тот просто млеет рядом с Кристиной, с Аркадием всё понятно, но и остальные, то есть пан Александр и последний появившийся тут гость (будем называть его «Адмирал»), они, стоит возникнуть нашей женщине, или вовсе прекращают свои частые дебаты, или стараются спорить мягко, делано-дружелюбно. И это у них пока выходит, потому что оба – люди уже далеко не молодые, не горячие, хорошо воспитанные, деликатные, к тому же при жизни пообтесались в высшем обществе (каждый в своем) и умеют себя вести.

Странно или нет, но тут они как бы уравнились в возрастах, хотя внешне остались такими же, какими были на финале своих жизней: Александр – 71-летний седой старик, а Адмирал, которому сорок шесть, вообще-то всегда был темным шатеном, но в последнюю ночь совершенно поседел, чем очень удивил вошедшего к нему под утро в камеру председателя иркутского Губчека товарища Чудновского. Ну а с какой вестью под утро может явиться главный чекист губернии после тайного приказа товарища Ленина, это ясно.

Но когда это было! А тут и теперь, в нашем безвременье, повторяем, они как бы уравнились в возрастах, что позволяет им относиться друг к другу без излишнего пиетета и спорить, как уже сказано, делано-дружелюбно, особенно в присутствии Кристины.

Как-то сложилось почти сразу, что некий холодок возник между ними. А ведь никак не могли знаться прежде, что понятно. Вот не глянулись друг другу, и всё. Психология, интуиция! Однако, если по правде, это пан Александр сразу не глянулся Адмиралу, а уж затем возникла аналогичная позиция с другой стороны. Адмирал ведь человек прямой, обостренно честный, помнящий обиды, причем нанесенные не только лично ему, но и тому, что он любил. А Александр? Он дипломат, он ведь и послом был, поэтому выдержка стала изменять ему далеко не сразу, не в пример Адмиралу. Тогда уж и присутствие молодой-миловидной особо не помогает.

А вот присутствие подле себя только Аркадия их никогда не смущает. Будто он тут есть и тут же его нет. Странно.

- И как же вам, пан милейший, жилось-служилось у большевиков? – едко иронизирует Адмирал.

- Ничего, терпимо, - пока спокойно реагирует Александр.

- Так терпели, что до главы партии у себя доросли?

- Дорос. И тогда начал реформировать, исправлять систему.

- Ну-ка, ну-ка поведайте нам с Аркадией, как это – реформировать большевизм?

Очень любопытно!

Александр всё еще спокоен.

- А вы послушайте, господин Адмирал, послушай сердцем, без иронии. Я, когда стал главой компартии Чехословакии, я и несколько моих товарищей из руководства, в их числе один генерал, герой войны, мы задумали и сделали... Нас никто не понуждал, мы сами, сами, от сердца!.. Короче говоря, вскоре это назвали «Пражской весной». Да, весной было дело, весной 1968-го, и это была весна социализма, а не его морозная зима. Это я придумал – социализм с человеческим лицом! А что это есть? Это есть программа радикального реформирования социализма, социализма, так сказать, дубового, то есть советского, который насаждала Москва. Наша программа, если коротко: идейный плюрализм, отсутствие цензуры, свобода слова, истинный федерализм. Вы понимаете, господин Адмирал?

Тот качает головой и усмехается:

- А не проще ли, сударь, было вернуться к тому, что уже давно изобрело человечество: нормальное функционирование цивилизации?

- Проще, если у вас есть танки и вообще мощная армия. Тогда с Москвой можно было тягаться только силой. Но, как я знаю, и вы на то не оказались способны.

- Меня предали, - негромко произносит Адмирал. Александр этих слов не слышит и продолжает:

- Поэтому надо было осторожно, изворотливо. Например, мы никак не декларировали переход на капиталистический путь развития. Это потом, потом, полагали мы, лишь бы сейчас Москва не вмешалась, не помешала. Сейчас хотя бы элементарные свободы! Но Москва... Москва терпела не долго, до августа. Как я потом узнал, главным инициатором подавления нашей «Пражской весны» был Юрий Андропов.

- Это кто? - резко спрашивает Адмирал, поэтому Аркадию приходится дать короткую справку:

- Наиболее радикальный из высшего руководства в Москве, член Политбюро Компартии Советов, всесильный шеф тайной службы, именуемой Комитетом государственной безопасности, сокращенно КГБ. Интересно следующее: еще раньше, в 1956 году, когда начались антикоммунистические события в Венгрии, Андропов был там послом СССР. Вот потому-то он реально знал, чем теперь, уже в Праге, может закончиться эта, так сказать, антисоветчина. В 56-м он ратовал за силовое решение проблемы и советовал Хрущеву ввести танки в Будапешт. Теперь, будучи уже главой КГБ и членом Политбюро, он убедил Брежнева и прочих высших сделать то же. Что и произошло в августе 68-го. Советская система социализма в Чехословакии была быстро реанимирована. Но как вам эта параллель, пан Александр? Андропов – посол в Венгрии, вы – посол в Турции, хотя он – до того, а вы – после того. Совпадение, мистика?

- И что дальше? – отмахнувшись от этой «справки», вопрошает Адмирал.

- К печали, всё просто, - усмехается Александр. - Нас оккупировали. Блокировали военные аэродромы, ввели танки и части воздушно-десантных войск. Нас подавили. Меня и других наших лидеров арестовали, хотя ненадолго. Потом меня убрали из руководства и сослали послом в Турцию, Аркадий правильно сказал. А потом... - тут он уже смеется, - потом меня назначили Главным лесничим страны. Как в сказке, вот.

- А меня расстреляли, - просто говорит Адмирал.

- Так выходит, мы оба пострадали от большевиков, - пытается отыскать золотую середину Александр, но ему это не удается.

- От большевиков – да, пострадали, но я-то именно потому, что вы меня предали. Вы – то есть чехи. Точнее, чехословаки. На вас грех.

- Александр Васильевич, дорогой, - вступает в дискуссию Кристина, - вас предала, во-первых, Антанта, этот хитрюга генерал Жанен, а чехословаки...

Адмирал резко поднимается со стула:

- Стоп, господа! Теперь я даю справку, я, бывший Верховный.

- А не пойти нам на воздух, там жуть как хорошо, заодно покурим, а вы, Александр Васильевич, всё и расскажете, - вслед за Адмиралом встает от печки Кристина и улыбается.

- Предложение принято, - произносит тот спокойным тоном, но жесткость в голосе присутствует...

Ах, этот горный воздух! Кажется, легкие лопнут. Особенно когда безоблачно, когда жарит холодное солнце и искрятся снега на вершинах и склонах. Некий доктор рассказывал когда-то: тут такая чистота, такое ничтожно малое количество микробов, меньше, чем в самой чистой операционной, – прямо хоть делай операции на открытом воздухе. Во как! И тогда какие еще проблемы могут быть в жизни?

- Продолжаю, - продолжает Адмирал, бывший Верховный Правитель России. –

Это было в январе месяце, в январе 20-го. Сначала мне изменила Антанта, этот подлец француз генерал Жанен, вы правы, дорогая Кристина. А чехословаки захватили весь мой Золотой запас, всё бывшее у меня золото Российской империи – 30 тысяч пудов. И затем арестовали меня, меня и членов моего правительства, которые были в моем поезде. Это случилось на станции в Верхнеудинске, что на Транссибирской магистрали. Мой поезд там стоял в ожидании развязки. И меня арестовали вместе с другими и сдали большевикам. Вот так, господин-товарищ Дубчек! Ваши арестовали, ваши! Разве я не прав, Аркадий?

Аркадий кивает:

- Правы. И я обязан уточнить. То, что вы не знаете. После того как Антанта, так сказать, умыла руки, руководители Чехословацкого корпуса, которых у нас потом называли «белочехами», сговорились с большевиками из Иркутска и арестовали вас в Верхнеудинске, теперь это город Улан-Удэ. Сговор был таким: большевики позволяют «белочехам» со всем, что они прибрали, беспрепятственный проезд по Транссибирской магистрали в сторону Владивостока, откуда они намеревались отбыть морем на родину через Америку, а в ответ получают от них арестованного Верховного Правителя и половину Золотого запаса – 15 тысяч пудов. А вторая половина по этому тайному договору остается у чехословаков.

Адмирал запрокидывает голову к небесам, Александр, напротив, голову опускает, а Кристина качает головой и укоризненно смотрит на Аркадия. Так проходит, верно, минута.

- Ну и как, убедились, милейший? – наконец обращается Адмирал к Александру. – Кто же меня предал и отдал на растерзание большевикам? А еще и золото, наше золото прибрал к рукам!

- Убедился, - горько соглашается тот. - Но вы не знаете всего. Не знаете – почему. Почему эти самые белочехи так себя вели. Если уж правда, то вся.

- Я тоже за это, - говорит Аркадий. - Но давайте, господа, сделаем перерыв, тем более нам обедать пора. Кристиночка, милая ты наша, мы голодны, черт возьми!

Следующим днем они усаживаются у печки, и Аркадий предлагает:

- Итак, господа, если вы согласны, я расскажу вам то, что каждый из вас частично не знает и что ты, Кристина, частично не знаешь тоже. То есть я попытаюсь восстановить общую картину из ваших фрагментов. Идет?

- Сделайте милость, - кивает Адмирал.

- Прекрасно, пан Аркадий, - тоже кивает Александр.

- Значит, так, - начинает рассказчик. - Первая Мировая война еще в разгаре, и вот осенью 17-го года формируют чехословацкие части из военнопленных австро-венгерской армии. Это чехи, словаки, а также чехи, которые русские подданные. Получаются две стрелковые дивизии. Вскоре их сводят в корпус – Чехословацкий корпус с немалой численностью, около 45 тысяч. Он дислоцируется на Украине. Так? Так. Это вам известно, господин Адмирал. Однако в 18-м году после позорного для Советской России, но очень нужного Ленину Брестского мира в дело с чехословаками вступает Антанта: она объявляет находящийся к тому моменту в глубине Европейской части страны Чехословацкий корпус частью французской армии и требует от Советов его отправки из России в Западную Европу. Но Советское правительство принимает другое решение: эвакуировать Корпус через противоположную сторону, через Владивосток. И заодно ставит условие: Корпус должен быть разоружен. Это логично с позиции Советов – зачем им такой риск, когда через всю страну двигаются вооруженные и не слишком лояльные к тебе

войска? Возникла проблема, ибо разоружаться в то тревожное время никто не желал. Что тоже понятно. Состоялось тайное совещание руководства Корпуса, представителей Антанты и эсеров. Их решение: Корпус поднимает мятеж и пробивается во Владивосток силой оружия, а далее погрузка на пароходы – и домой.

Тут Аркадия перебивает всегда тактичный Александр:

- Поймите, пан Адмирал, поймите их, бывших военнопленных, поймите чехословаков! Они оказались внутри чужой страны и никак не могут вернуться домой. Сорок пять тысяч человек! Зажаты со всех сторон. И каждая сторона ищет свою выгоду. Да, мятеж...

- Ну, если против большевиков, то тут я не возражаю, - спокойно реагирует Адмирал, - но потом, уже в 20-м...

- Погодите, господа, - останавливает их Аркадий, - погодите, к этому мы еще не пришли. А пока у нас 18-й год. Мятеж начался в мае, и уже вскоре чехословаки (теперь «белочехи») захватили у большевиков многие города до Урала и по Транссибирской магистрали. Воевали и пробивались на восток, растягиваясь эшелонами по Транссибу, начиная от Пензы. Естественно, возник их тактический союз с белыми отрядами. Вместе с ними белочехи заняли еще Уфу, Симбирск, Екатеринбург и – вот, что важно – Казань...

- Потому что в Казани, - вдруг возникает звонкий голос Кристины, - в Казани находился Золотой запас Российской империи!

«Молодец, девочка! – про себя восхищается Аркадий. – Всегда-то она меня выручает в таких ситуациях». И повествует дальше:

- Итак, Казань взята, а с нею у большевиков захвачен Золотой запас Российской империи, составлявший 1600 тонн золота. По железной дороге белочехи переправляют это золото в Омск, где находится Временное сибирское правительство. То есть к вам, Александр Васильевич. Так?

Тот кивает:

- Так, но в принципе.

- И с этого момента возникло жаргонное, но укоренившееся в нашей истории понятие: «золото Колчака».

- Преинтересно в вашей истории! – усмехается Колчак. – Но я обязан уточнить.

- Погодите, дорогой Александр Васильевич, - опять встревает Кристина, и ее глаза горят, - простите, давайте я сама всё скажу.

Ну, как воспитанному человеку, будь он даже бывший Верховный Правитель, не уступить даме! Поэтому он вновь кивает и по-наполеоновски скрещивает руки на груди.

Теперь соло Кристины:

- После начала Первой Мировой войны, а именно в 1915 году, царь Николай Второй распорядился переправить весь золотой запас империи из Петербурга в глубь страны – в Казань. А запас тогда составлял, правильно, 1600 тонн золота. После революции запас в Казани охраняли большевики, но в ноябре 18-го года его захватил отряд белого генерала Каппеля вместе с отрядом Чехословацкого корпуса. И правильно опять же, золото переправили в Омск к... в распоряжение Верховного Правителя России. Однако вы правы, Александр Васильевич, тут необходимо уточнить: это был уже не весь золотой запас империи, а только 490 тонн золота, или около 646 миллионов золотых рублей.

«Ну и память у этой дотошной ученой!» – в который раз восхищается Аркадий, а сам шутит:

- Только 490 тонн золота – хорошо сказано, дорогая!

А вот Адмирал говорит вполне серьезно:

- Да, треть от императорского запаса. Это то, что нам доставили в Омск. А

вопрос про две трети – сей вопрос к большевикам. Или еще к кому-то, не знаю, не буду обвинять, не имею фактов... А вот что я имею. После этого часть запаса золота ушла за покупку за границей у стран Антанты вооружения и многого прочего, что было необходимо моей армии. А кроме того какую-то часть золотого запаса захватили войска этого бандита атамана Семенова. А вот уже потом, а именно в январе 20-го, весь бывший у меня золотой запас захватили чехословаки. То есть ограбили и присвоили, если говорить просто, по-русски. А вскоре их сговор с большевиками из Иркутска, и меня арестовали. Не большевики, заметьте, а именно чехословаки.

Пан Александр опять не выдерживает:

- С сегодняшних позиций, грех, да, но поймите еще раз: идет война, мы... то есть они, чехословаки, в чужой стране и вовлечены в борьбу противоположных сил – красные, белые, Антанта! А главная задача – наконец вернуться на родину, домой. Можно это понять?

- Да, так, - кивает Аркадий и смотрит на Адмирала.

- Понять можно, а оправдать нельзя. Предательство оправдать нельзя. Это аморально.

- Да, так, - опять кивает Аркадий и смотрит уже на пана Александра.

- За предательство, тем более такое – грабеж русского золота, сговор с большевиками, мой арест, - за такое предательство надо платить. Должна быть расплата, - сухо проговаривает Адмирал, не глядя на оппонента.

И снова Аркадий кивает, посматривая то на того, то на другого:

- Да, так. Да, так.

- Так и не так, - грустно произносит Кристина.

После этого возникает долгая пауза. Но вдруг Аркадий смеется:

- Дорогие мои господа! История полна не только великих драм, но и всяческих курьезов. А иногда они – драмы и курьезы – странно перемешаны. Давайте послушаем всё до конца. Согласны? Ведь вы этого уже никак не знаете – того, что вышло потом: вас, господин Адмирал расстреляли, а вы, пан Александр, еще не родились. И ты, Кристина, кое-чего не знаешь тоже. Тогда вперед.

Да, поначалу так и вышло: большевикам достался Верховный Правитель и половина золотого запаса, а это 240 тонн золота, или 15 тысяч пудов. Это нам уже известно. Дальше. Чехословаки вместе со своей половиной золота (опять же 240 тонн) готовились отбыть из Иркутска на восток. Но!.. Вновь секретная телеграмма из Москвы от Ленина: любыми средствами не допустить «утечки» этого золота! Любыми, Александр Васильевич, то есть чистое вероломство! И большевики стали минировать, а потом и взрывать тоннели и мосты у Байкала, чтобы один из трехсот эшелонов Чехословацкого корпуса, а именно тот, в котором был размещен золотой запас, не уплыл у них из рук, то есть не прошел на восток... А дальше сплошные «однако». Первое: однако чехословаки через осведомителей, подкупленных среди красных, узнали об этом вероломстве большевиков и кое-какие тоннели разминировали. Второе «однако»: однако у красных кончилась взрывчатка, чтобы минировать снова. У них ведь всегда чего-то не хватает, вечный дефицит. И тут третье «однако»: однако в условиях всегдашнего русского дефицита, наша голь всегда на выдумки хитра. Если нет взрывчатки, устроим горный обвал! Чтобы все пути раздолбать и поезд с золотом раздолбать.

Слушай, моя дорогая, это более для тебя, поскольку теперь не факты, а версия или легенда про «золото Колчака». Будто бы эшелон, в котором предположительно было золото, попал под сильнейший обвал с крутых отвесных скал у Байкала, эшелон разорвало на две части, одна из которых сошла с рельсов и ухнула в озеро, где и лежит на дне доныне, на глубине более километра. Так это или не так,

неизвестно, но, уже по современным данным, на дне Байкала в этом самом месте лежит что-то похожее на покореженные вагоны. Вроде это заметили с помощью глубоководных аппаратов, но только «вроде». Так или иначе, загадка «золота Колчака» так и остается загадкой. Ну, и как вам, господа и тебе, Кристина, эта легенда?

А вот что не легенда. Чехословацкий корпус благополучно добрался на эшелонах до Владивостока и в конце концов оказался на родине. Эта эпопея завершилась. Завершилась через два года после Версальского мира, после окончания Первой Мировой войны: домой вернулись военнопленные чехи и словаки какой-то канувшей в небытие австро-венгерской армии.

- Вот и слава богу, вернулись! - вздыхает Александр. - Это нам известно из нашей истории.

- А вот известно ли из вашей истории про то самое золото? - заканчивает свой рассказ Аркадий. - А именно: привезли они его с собой или нет? И если привезли, то все 240 тонн или меньше? Ведь нам это неизвестно. Но, знаете ли, злые языки говорят, что расцвет промышленности и взлет уровня жизни в Чехословакии в 30-х годах напрямую связан именно с оказавшимся там «золотом Колчака», а точнее, золотом Российской империи. Возникли новые банки, которые щедро финансировали производство и сельское хозяйство, давали кредиты. Ушла в прошлое безработица... ну и тому подобное.

Александр и удивлен, и растерян:

- Нет, я ничего подобного не слышал – про то, что это могло быть связано с русским золотом.

- Ну да, вы же учились в советских школах, - замечает Аркадий.

- Да нет же! – теперь горячится тот. – Я не слышал об этом и позже, когда вернулся из СССР, и еще позже, когда мы уже избавились от советского социализма.

- Что понятно, - усмехается Адмирал, - ибо какая же страна признает, что долго жила и процветала за счет награбленного!

Аркадий поправляет:

- Ну, не так уж и долго - до 1938 года, когда после Мюнхена...

- Что после Мюнхена? – сразу спрашивает Адмирал.

- А это совсем другая история, - быстро проговаривает Кристина. - Да, Аркадий, другая, и к той, о которой мы тут говорили, она отношения не имеет, так?

- Так, так. Ну, ладно, - соглашается Аркадий.

- Да уж, - вновь вздыхает Александр.

Они замолкают. Адмирал начинает возиться с печкой: отворяет заслонку и, опустившись на колени, кидает внутрь несколько поленьев. Кристина тоже поднимается с лавки и проводит ревизию на плите, заглядывает в кастрюли и сковороды. Старик Александр следует к своей лежанке и, похоже, собирается прилечь. Вдруг Адмирал говорит довольно жестко:

- А знаете, что я понял? Вернее, что я услышал в себе? Что я был прав – за всё надо платить. Это и произошло. Так всегда на земле происходит. За предательство надо платить, и плата сея высока! Слышите, пан Александр? Вот предыдущим днем вы поведали нам о том, как спустя много лет после тех событий вы вознамерились устроить вашу, как вы выразились, «Пражскую весну» и откреститься от большевиков, но они приехали к вам на танках и подавили, и раздавили, и вы опять остались при них. А почему? Потому что однажды, давно, пошли с ними на тайный сговор. Ну, не вы лично, а ваши, чехи. Предали союзника – Колчака, арестовали его, отдали большевикам, а заодно прихватили российского золото, 240 тонн, на котором наша страна потом жировала. Вот за всё это вам и воздалось, причем именно от

русских. Танки – и никакой «Весны»! Да, милейший пан, за всё надо платить. Такой вот урок в истории. Я удовлетворен, честь имею.

В течение последующих дней Адмирал и пан Александр фактически не общались – только кивки и редкие междометия. Кристина беспокоилась и выговаривала Аркадию, но он отмахивался. Подождем, говорил.

Подождали, и вот, прогуливаясь чуть ниже метеостанции, они видят их, тоже прогуливающихся. Удивляются, подходят, испрашивают разрешения присоединиться и слышат, судя по всему, продолжение речи Александра, обращенной, понятно, к Адмиралу:

- Да-да, повторяю, всё началось с вас! Что же вы у себя в России позволили отречься царю, допустили большевиков до власти, а потом так и не сладили с ними в Гражданской войне? А ведь вам Антанта помогала! Вы, белые, оказались слабы, и причина тому не в чехословаках и их предательстве. Это плохо, согласен, но это есть частность в истории той войны, простите великодушно, лично вас обидеть не хотел. А вот мы потом, потом, после тех танков, после всего, мы смогли, все-таки смогли! Мы устроили «бархатную революцию», без насилия, без крови, и всё у нас получилось, и мы сказали советскому социализму много «до свидания». Кстати, и в России вскоре сделали то же, хотя не так радикально, но все-таки сделали. А вот вы тогда не сделали, нет, увы. Мы сделали. Так что я тоже могу вам сказать: я удовлетворен, честь имею.

Адмирал молчит. Смотрит, не мигая, вперед, вперед и ниже, где невидимое отсюда Черное море. Александр говорит опять:

- А что до меня лично, то я тоже удовлетворен. После моего изгнания с политической арены, после ссылки послом в Турцию и затем в Главные лесничии, после этого прошли годы и меня, уже пенсионера, призвали к новой борьбе, меня вспомнили, воздали должное, я участвовал в нашей революции в 1989 году, и после победы меня избрали председателем Федерального собрания. Вот, даже так, избрали – меня, уже почти старика.

- А потом? – вдруг интересуется до того молчавший Адмирал.

- Потом, через три года, я погиб. Ну, так мне сказали, а сам я этого не помню. Будто какая-то страшная автокатастрофа. Так, пан Аркадий?

- Говорят, - задумчиво произносит Аркадий. И вдруг улыбается: - Да мало ли что говорят! Каких только историй в истории не бывает, да? Вот наша Кристина – она такая выдумщица! Ну, просто мастак придумывать несурезицы и всё ставить вверх ногами. Не в жизни, я имею в виду, а в историческом прошлом. Так что все претензии к ней. Как это, я смеюсь, дорогая моя? Я очень серьезный человек, ты же знаешь.

Странно или нет, но после этого жаркого дебата ситуация между, казалось бы, принципиальными оппонентами вдруг разрядилась.

Глава 5

Серьезный человек Аркадий отмечал, что, помимо Кристины, еще одним центром притяжения на метеостанции постепенно стал ее хозяин – Володя-абхаз. С Кристиной-то всё понятно, она дама приятная во всех отношениях, а тутошний

хозяин, он особь не слишком открытия. Но вот, поди ж ты!

Однажды, следуя по своим делам, он присел за шахматную доску, на которой Александр в одиночестве изучал какой-то дебют, и предложил сыграть партию. Сыграли, и Володя-абхаз выиграл, чем немало удивил соперника, ибо тот играл отменно и еще до профессионального погружения в партийную работу был кандидатом в мастера, поэтому, скажем, ему играть с Аркадием – это почти не интересно, скучновато. И вдруг!.. Проигрыш раззадорил нашего пенсионера – и пошло-поехало. Теперь, почти в каждое свободное от метеорологических дел время, коего набиралось лишь помалу, Володя-абхаз и Александр погружались в раздумья над фигурами, и счет их перманентных встреч за местную шахматную корону в конце концов стал равным, а с этим никак нельзя смириться, потому что, как известно, чемпионом должен быть кто-то один. Короче говоря, они нашли общее занятие, можно даже сказать, нашли друг друга, и это хорошо.

Но и Адмирал нашел в лице Володи-абхаза свой интерес. Началось с метеоплощадки. Бывший полярный исследователь, знаток гидрологии и климатологии, он с интересом изучал приборы наверху, что-то выяснял у Володи-абхаза, что-то пояснял ему сам, особенно по части анемометра, а вот имевший тут место барометр не привел его в восторг, потому что, сказал он, в Первую Мировую, когда он плавал на Балтике и Черном море, сей прибор был надежней и более компактным.

Вскоре дело дошло до кодирования, то есть до метеокода и цифровой сводки. Это Адмиралу, в общем, понравилось. А вот что до передачи сводки по радию, то тут выяснилось, что со времен упомянутой Первой Мировой все-таки произошел некоторый прогресс. И еще выяснилось, благодаря короткой лекции Адмирала, что американец Самуэль Морзе, приписывавший себе исключительное авторство в деле изобретения своего кода в конце 30-х годов XIX столетия, всячески отрицал кое-какие существенные усовершенствования, сделанные его коллегой, неким Вейлем, однако это не помешало всему миру долго называть изобретенный код «кодом Вейля-Морзе», а плюс к тому этот код потом усовершенствовал еще и немец Герке, и вот в таком виде он использовался во время упомянутой войны, хотя почему-то под названием «азбука Морзе», или просто «морзянка». Но с тех пор, признал Адмирал, внимательно ознакомившись с Володиной радиацией и принципом кодировки, система передачи улучшилась и, главное, полезно упростилась. В общем, он был удовлетворен, равно как и те, кто прослушал маленькую лекцию.

Вот и вышло: почти каждый из гостей-обитателей метеостанции был теперь при деле: Александр при шахматах, Адмирал при метеоприборах и радию, Кристина частично тоже при приборах, но в основном при плите. А вот Аркадий никаким делом не занимался – валял дурака, как всегда.

И вот так валяя дурака, он выходит прогуляться под слепящим горным солнцем и вдруг видит сквозь темные очки, как ему машет рукой тоже прогуливающий Адмирал. Через несколько минут они сходятся на тропе, протоптанной на ближнем склоне. И кажется Аркадию, что Адмирал опять печален, как-то сосредоточен, весь в себе. Ну, подозвал, а теперь молчит. Чего ж звал?

- Я хочу задать вам деликатный вопрос, - произносит он наконец и вскидывает голову, но глядит куда-то вдаль.

- Конечно. Извольте, - отвечает Аркадий.

- Есть ли у вас сведения... - Адмирал как-то мнетя, что совершенно на него не похоже. - Знаете ли вы что-то о ней... о той женщине?

- Об Анне Васильевне? – подсказывает Аркадий.

- Да, о ней, именно о ней, - облегченно произносит Адмирал. – Что с ней было, как она – вам хоть что-то известно?

- Да, известно, но... - теперь мнетя Аркадий, - но только в общих чертах.
- Я вас внимательно слушаю и заранее благодарю. Главное: она жива?
- Да, жива... Ну, так было, но в последние годы я не имел новых сведений...

Думаю, жива, да... А жизнь? После ареста и вашего... того, что случилось с вами, после этого она была под арестом, сначала еще там, в иркутской тюрьме, потом в другой тюрьме, так несколько лет, а затем – ссылка, поселение. Но главное – ее оставили в живых! Она прекрасно себя вела – и в тюрьме, и в ссылке. И наконец ее освободили. Она приехала в Москву, к родственникам, и жила... живет там, с ними. Всегда помнит о вас и всегда любит. Память о вас – ее самое сильное чувство и смысл жизни. Что еще мне известно? Она написала несколько очерков – воспоминаний о своей жизни и о вас. Они долго лежали в ее столе, но недавно их опубликовали в виде книги. В этой книге, помимо этих очерков Анны Васильевны, ваша биография, ваши дела и заслуги перед Россией. Видите, ничто не забыто.

Аркадий смолкает, ощущая, как под шапкой взмок его лоб. Адмирал смотрит себе под ноги на искрящийся снег. Говорит:

- То, что я не канул в Лету, это хорошо, но так и должно было быть. Однако сей факт – не главное для меня сейчас. Главное – это она, Анна Васильевна. Она много претерпела из-за меня, но, слава богу, жива. А то, что она меня всегда любила и любит, это тоже не могло быть иначе. Потому что она такая. Она великая женщина, это я понял еще до Харбина, где наконец мы стали вместе... Э, простите, деликатная тема, а вам спасибо преогромное за чудесные сведения, вы меня много успокоили. Спасибо, спасибо... Простите, пойду пройду, мне надо побыть наедине с собой, простите великодушно.

Еще через несколько дней опять задурила погода, опять прилетел средиземноморский циклон. Нет, уточнил Адмирал, не средиземноморский, это Бора, новороссийский волновой циклон с сильным штормовым ветром, тут это случается один-два раза в год... Ну вот, спасибо, теперь мы знаем, от кого и чего страдаем, сидючи на горе в облаках и снежной крупе с ветром.

А как раз за день до наступления означенной пакости, пока еще светило яркое солнце и было прекрасно-ясно, а барометр и не думал предупреждающе падать, Аркадий и Кристина отделились от прочих гостей по метеостанции, чтобы наконец побыть вдвоем.

А хорошо наконец вдвоем! Идут они себе на тропке вдоль вершины склона, дурачатся, рассказывают друг другу всякие истории, всякие небылицы, хотя и «былицы» тоже. Главное, не замерзнуть. А так – гуляй себе, дело полезное, особенно если двое любят друг друга.

Кристина, хитрюга, вдруг указывает:

- Смотри, сэр, вон пещерочка, давай спрячемся в нее, займемся кое-чем, ты как?
- Лежа на снегу?
- Ну, можно и стоя.
- Стоя мы там не поместимся. Так что придется потерпеть.
- Я истерпелась вся!
- Я тоже. Но что делать – мы тут не одни, а жилая комната для всех как раз одна, во второй – наш абхаз со своей рацией.

Кристина шмыгает носом и недовольно крутит головой. Но недолго. Опять улыбается, берет Аркадия под руку, прижимается боком.

- Давай хоть посидим на снегу с пяток минут, покурим спокойно.
- Хорошая идея, моя прелесть, только под попку я тебе куртку подложу, и не возражай старшим!..

Сидят, покуривают, и вот Кристина спрашивает:

- Ну и как тебе жизнь?

Недолго думая, Аркадий отвечает:

- Как мне рассказывал один самоубийца, жизнь, она как любовница, которая через много лет тебе окончательно надоела и ты ее наконец бросаешь.

- И он не пожалел, когда ты с ним общался?

- О чем не пожалел?

- О суициде.

- Нет, кажется.

Кристина тоже недолго думает:

- Не прав твой самоубийца. Жизнь, она не любовница, она как старый друг, с которым иногда ссоришься, но к которому возвращаешься.

- Твои изречения пора записывать в книгу мудрых мыслей, - усмехается Аркадий, но добро.

- Мерси... Ну, если так, то еще вопрос про твоего самоубийцу. Как он оценивал свою жизнь, тебе известно, он говорил?

- Да, я тоже задал ему этот вопрос, и он ответил словами одного философа советской эпохи, человека уже пожилого: «Жизнь была прекрасной, но она была дерьмовой».

- Красивый алогизм. Явный депрессант тот философ.

- Это был советский философ, а в сути – русский. В этом случае сочетание прекрасного и дерьмового вполне допустимо и простительно. Еще он сказал так: «И вообще-то мне кажется, что Господь Бог был русским. Всё сделал тят-ляп, халтурно. Хотя задумка была интересной. Но исполнение!.. Значит, сделал кое-как, потом понаблюдал некоторое время, попытался кое-что исправить, но в конце концов на всё плюнул и смотался куда подальше. Вот и вся божественная комедия».

- Да... - тянет Кристина, - не просто депрессант, а изначально недобрый философ. Философ имеет право быть шизоидом, но ясным, без злобства. Как Кант, например.

- Это тоже записать?

- Ладно, можешь и не записывать. А вот скажи... - Она делает паузу, вздыхает. - Скажи, пожалуйста, Александр Васильевич спрашивал тебя о ней, о своей женщине?

Аркадий внимательно смотрит на нее и наконец понимает, почему она завела этот, казалось бы, абстрактный разговор про жизнь. Но Кристина повторяет вопрос:

- Так он спрашивал?

- Спрашивал. А откуда ты знаешь?

- Он и меня спрашивал, но я ничего о ней не знаю, вот и сказала, чтоб он узнал у тебя.

- Да, он спросил.

- И что ты ему рассказал?

- Что теперь всё хорошо, что она жива.

- Это правда?

- Нет, неправда.

- Ох! И как же ты...

- Я не смог иначе. Ну... вот не смог! Понимаешь? Но она прожила долго, слава богу, и умерла хорошо, спокойно.

- Расскажи мне о ней, я ведь, повторяю, про нее ничего не знаю.

- Ладно, расскажу, пожалуй. Да, пожалуй, расскажу. Ты должна это знать.

Аркадий достает новую сигарету, чиркает зажигалкой, затягивается пару раз. Кристина ждет.

- Значит, так, если о главном. Они познакомились в 14-м году, вскоре после начала Первой Мировой. Она, Анна, Анна Васильевна – жена адмирала Тимирева, ей всего 21 год, а он – капитан 1-го ранга, женатый, ему около сорока, еще недавно знаменитый полярный исследователь и путешественник, а теперь офицер Морского Генерального штаба, в ауре славы, сильный, умный, порывистый, и адмиральские звания у него еще впереди, скоро. В такого нельзя не влюбиться. Да что там влюбиться – такого нельзя не полюбить!.. Она полюбила, и он тоже. Полюбили друг друга, а сошлись и стали близки только через четыре года, уже в Харбине, когда Анна Васильевна, оставив семью, приехала к нему, странствующему по миру после революции. И с тех пор они уже не разлучались до его расстрела. Она повсюду сопровождала его, вернулась с ним в Россию, в разборки Гражданской войны, и была с ним рядом всегда и везде, в том числе в его поезде, в том числе в Верхнеудинске на Транссибе, когда его предали и взяли. Она потребовала, чтобы ее взяли тоже. Их доставили в Иркутск, в тюрьму, и она опять потребовала – теперь, чтобы ее арестовали и посадили тоже. Что и исполнили чекисты. Как она потом сказала, она «самоарестовалась», это ее глагол. Случай в истории исключительный. Они сидели в соседних камерах. Когда под утро 7 февраля к нему вошли чекисты во главе с Чудновским и сообщили, что сейчас будет расстрел, Колчак попросил о последнем свидании с ней, «в ответ на что все расхохотались». Это я цитирую по записям Чудновского.

- Сволочи!

- Нормально. Для них – нормально... Ладно, дальше. Дальше – долгая и печальная история. И тоже почти исключительная. Анну Васильевну то арестовывали, то ссылали, то арестовывали вновь. Ее арестовывали семь раз, семь! С 20-го по 50-й. Ее лагеря: Забайкальский и Карагандинский. Ссылки – последняя в Енисейске. Долгие годы на поселении. Суммарно она отдала ГУЛАГУ тридцать четыре года жизни. Но, спасибо, ее не расстреляли, оставили в живых, и она, нестигаемая женщина, всё вынесла, не сломалась, не впадала в депрессию, не сошла с ума, не заболела туберкулезом или чем-то еще. Ее освободили после смерти Сталина, в 54-м, а в 60-м реабилитировали. Она вернулась в Москву, где жила на Плющихе у своих родственников, сестры и племянника. Потом сестра умерла, и она жила там уже вдвоем с племянником. Я бывал в этом доме на Плющихе и дружил с ее племянником, с Ильей, но с ним мы познакомились уже после смерти Анны Васильевны. А прожила она 82 года.

- Вот откуда ты так хорошо всё знаешь!

- Да, вот отсюда. Я видел ее записи, брал их в руки, читал их. Личный архив... И Илья много мне рассказывал – о ней, ее семье, детстве. Она ведь родом из семьи знаменитой: ее отец Василий Ильич Сафонов в свое время был очень известным музыкантом, дирижером и педагогом, даже директором Московской консерватории был – по настоянию и рекомендации самого Чайковского... Так вот, я видел такие фотографии и держал в руках такие документы!.. Кстати, справка: Анну Васильевну почему-то не расстреляли, а вот ее 24-летнего сына-художника, сына от брака с адмиралом Тимиревым, расстреляли, в 38-м. Зачем? Наверно, чтобы улучшить настроение его матери, которая тогда томилась в очередной тюрьме или очередной ссылке... Теперь ты понимаешь, почему ничего этого я не рассказал Адмиралу? Я сказал только, что она была в заключении недолго, что ее выпустили, что она жива. И что – а это уже истинная правда! – она всю жизнь помнила и любила дорогого Александра Васильевича, до последних дней. Только эти глаголы я произнес в настоящем времени – то есть «помнит, любит». Вот такая моя маленькая ложь... У тебя попка не захладила? Только это не хватало, тебе еще рожать когда-то! Пошли-ка в дом к печке.

Ночью, в крошечной тьме, в спальнике, Кристина опять шепчет Аркадию в самое ухо:

- Как странно, скажи? Я едва знакома с ними, а вот наслушалась их разговоров между собой и твоих рассказов о них, об их судьбах, и, кажется, прожила еще одну жизнь. Нет, не одну – еще две: пана Александра и Адмирала. Теперь у меня три жизни – моя собственная и их. Странно.

- Странно, но интересно, да? - тоже шепотом спрашивает Аркадий.

- Ну, интересно – это неверное слово. Как-то объемно, наполнено, а точнее, переполнено. Нести в себе чужие судьбы...

- Которые вдруг становятся твоими, как своими, - вставляет он.

- Вот именно, своими... нести в себе это... это что? А поняла! Это и есть духовное родство по вертикали.

- То есть?

- Объясняю. Вот мы с тобой кто? Любовники? Формально – да, а по сути, родные. Но генеалогически мы с тобой из одного поколения, и значит, это родство по горизонтали. А если родство с представителями предыдущих поколений, то это – родство по вертикали. Хотя могу сказать и так: это историческое родство... А теперь представь, что ты попал в их времена, и вот вопрос: ты стал бы Колчаком и повторил бы его судьбу, даже зная чем она закончится?

- Ты любитель крайних вопросов... Хорошо, отвечаю. Да, стал бы.

- О! А это и есть историческое родство, твое с ним. А я... я, прости, как Анна Васильевна. Я бы вслед за тобой, за таким тобой: самоарестовалась и так далее.

- «Так далее» – это не сладко, это три десятилетия неволи.

- А выбирать другое – это предательство, это предать тебя, и, может, главное, себя.

- Ах, вот кто моя любовница, теперь я знаю! Мало того что выдумщица и изрекатель мудрых мыслей, она, оказывается, – мой родственник и по горизонтали, и по вертикали! Полный атас! Такого не бывает в генеалогиях – ну, разве только при инцестных связях.

- А и ладно, пусть будет инцест, ты что – против?

- С тобой-врушкой – никогда!

Глава 6

Значит, на завтра пришла эта самая Бора – накрыла облачностью, завалила снежной крупой, застегала ветром.

Между прочим, слово-то это какое мудреное – Бора. Может быть от «борей»? У древних греков – это северный бурный ветер. Отмечен в мифах. Вот и тутошним местам пригодилось это словцо – никак досталось в наследство от тех самых аргонавтов во главе с Ясоном, которые промышляли в здешних краях, охотясь за золотым руном. Аргонавтов нет, как и прочих древних греков, а слово осталось. Выходит, слово покрепче народа. Интересно, что на это скажет этнолог Кристина, наша выдумщица?

Ну, Кристина потом, а сейчас наши гости, пан Александр и Адмирал, надо сказать о них. Пришла Бора, и они исчезли, будто растворились в снежной крутоверти. Не попрощавшись. Похоже, решили спускаться вместе. Или подниматься, кто ж их знает, безвременных. Но так или иначе, они исчезли, ушли, и, повторим, похоже, вместе. Вместе, оно, конечно, сподручней – что в их времена, что в наши, поскольку

во всякие времена у нас дурит, беспутствует злая погода.

А мы тут, мы еще на горе, на метеостанции, Кристина и я. И нам хорошо, потому что мы наконец вдвоем, не считая Володи-абхаза. А что делать вдвоем, когда за стеной беспутствует погода, валит снег, поет арии ветер? Конечно, заниматься любовью. Ведь теперь никто не мешает, и в доме тепло, ибо печь исправно пышет жаром, и настроение у нас приподнятое, ибо какие наши годы! И главное, Кристина, она большая мастерица и по части любовных игр, просто гроссмейстер, если вспомнить о шахматах.

Да, вот о шахматах: с кем же теперь будет играть наш Володя-абхаз, если со мной неинтересно, а пан Александр, кандидат в мастера, вдруг исчез? Хотя есть надежда, что, скажем, в Сухуми или Новом Афоне есть с кем на равных сыграть пару партий. То есть Володя-абхаз уверен, что не так и долго сидеть ему здесь, на метеостанции, поскольку рано или поздно поднимется сюда его сменщик Тенгиз – ну, вернется в эти края, как и прочие грузины, как армяне и даже греки, не древние, а вполне современные. Вот тогда и спустится с горы наш отшельник, он по семье соскучился, по морю и, да, по паре интересных партий где-нибудь в тенистом саду под персиками или на набережной, где прогуливаются ленивые красавицы, а местные мужчины попивают молодое вино, обсуждая футбольные новости.

Ладно, это я так, к слову. И теперь я занят, занят любовью, и не с кем-нибудь, а с поклонницей единого бога Анцвы, с Кристиной, высказывания которой, когда она не замирается, пора записывать в книгу мудрых мыслей.